

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

2001

7

2001

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

**ДО КОНЦА 2001-ГО И В 2002 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Диверсант (роман);

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть); Затеси;

Рассказы;

АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);

СЕРГЕЙ БОЧАРОВ. «Ты человечество презрел» (об одном классическом сюжете);

ЮРИЙ БУЙДА. Меконг (роман);

МИХАИЛ БУТОВ. Новая повесть;

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);

ДМИТРИЙ БЫКОВ. Орфография (роман);

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Зимняя рыбалка на озере Воже (повесть);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;

БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;

ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);

АНАТОЛИЙ КИМ. Остров Ионы (роман);

ИЛЬЯ КОЧЕРГИН. Помощник китайца (повесть);

МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);

БОРИС ЛЮБИМОВ. Очерк современной сцены и зрительских реакций;

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;

ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ. Физиология духа (роман в письмах);

АННА МАТВЕЕВА. Восьмая Марта (повесть);

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Любовь к отеческим гробам (роман);

ВЛ. НОВИКОВ. Высоцкий (главы из книги);

(См. на обороте)

ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ. Такая вот любовь (рассказы);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Новые рассказы;
ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Новый роман;
ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ — АНДРЕЙ ЗУБОВ. Переписка из двух кварталов;
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Очаровательное захолустье (повесть);
РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН. Облюбование Москвы (эссе);
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Призрак среди руин (повествование в рассказах);
МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман); Рандеву в конце миллениума (эссе);
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания;
ИРИНА СУРАТ. Пушкин и Мандельштам (параллели);
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сансаныч (повесть);
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Фрагменты книги «Музыкальный запас»: композиторы, проблемы, случаи;
ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. Лапландия (история одной болезни);
ВЛАДИМИР ЮЗБАШЕВ. Новый язык «нелинейной архитектуры»;

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, АНДРЕЯ ВОЛОСА, ДАНИИЛА ГРАНИНА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, АЛЕКСЕЯ СЛАПОВСКОГО, АНТОНА УТКИНА, СЕРГЕЯ ШАРГУНОВА;** стихи **ТАТЬЯНЫ БЕК, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ;** статьи, очерки, эссе **СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, ВЛАДИМИРА ОШЕРОВА, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, МАРИЭТТЫ ЧУДАКОВОЙ** и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2001 году: \$ 14,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 168.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.

E-mail: novy-mir@mtu-net.ru



Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 14).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2001». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на второе полугодие 2001 года — 270 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на 2001 год по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Паблликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ, выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

СОДЕРЖАНИЕ

ВИКТОР АСТАФЬЕВ — Связистка, рассказ.	Затеси	7
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — Долгое путешествие, стихи		35
АЛЕКСЕЙ ЗИКМУНД — Герберт, повесть		41
МАКСИМ ВОЛЧКЕВИЧ — Единство вещей, стихи		82
ЮЛИЯ ПЕСКОВА — Привет, красавица! Несколько летних дней		86
АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ — Выстуженный вокзал, стихи		111
ЛЕВ УСЫСКИН — Новая секретарша, рассказ		114

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

БОРИС ЕКИМОВ — Новое начало, или На колу мочало	122
---	-----

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ — Ислам, Россия и Запад	137
---	-----

ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА

ВЛАДИМИР ОШЕРОВ — Homeschooling и его уроки	158
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МАРИНА АДАМОВИЧ — Юдифь с головой Олоферна. Псевдоклассика в русской литературе 90-х	165
ГАРРИ ПОТТЕР НА МИРОВОЙ СЦЕНЕ — Владимир Александров. Кто придумал футбол, или Гарри Поттер в школе и дома; Владимир Губайловский. Чужое детство; Ирина Роднянская. Заключительная реплика	175

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Дмитрий Бак. Триста лет одиночества, или Вечность у реки	187
Владимир Губайловский. Воскресение Шарикова	190
Лиля Панн. Доказательство в образах	194
Алексей Смирнов. Таинственный человек	200
Евгения Свитнева. Рю де Флерюс, 27	202

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА ПАВЛА КРЮЧКОВА	205
КИНООБОЗРЕНИЕ ДМИТРИЯ БЫКОВА	212
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	217

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	223
Периодика (составитель Андрей Василевский)	226
SUMMARY	240

**23 ИЮНЯ (5 ИЮЛЯ) 2001 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 115 ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ**

**ВЯЧЕСЛАВА ПАВЛОВИЧА ПОЛОНСКОГО
(1886 — 1932),**

**ЛИТЕРАТУРНОГО КРИТИКА, ЖУРНАЛИСТА,
ВОЗГЛАВЛЯВШЕГО «НОВЫЙ МИР» В 1926 — 1931 ГОДАХ
И ФАКТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИВШЕГО ПАРАДИГМУ
ЕГО РАЗВИТИЯ КАК ЦЕНТРАЛЬНОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛА НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВПЕРЕД.**

**СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ПОЗДРАВЛЯЮТ
АНДРЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА ВАСИЛЕВСКОГО
С 25-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ В РЕДАКЦИИ!**

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»
ВЫДВИНУЛА НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ПРЕМИЮ SMIRNOFF-БУКЕР
РОМАНЫ «НЕДВИЖИМОСТЬ» АНДРЕЯ ВОЛОСА (2001, № 1—2)
И «ОПРАВДАНИЕ» ДМИТРИЯ БЫКОВА (2001, № 3—4).**

Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество» в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека» выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России 1700 экземпляров журнала «Новый мир».

Издание выходит при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

*

СВЯЗИСТКА

Рассказ

Никакое большое военное сражение не утихает разом. От него, словно от свалившейся в омут булыжины, еще долго расходятся по сторонам волны.

Танковый бой, произошедший в районе Крисановки, южным флангом раскатился аж до Буга, готов был и его перехлестнуть, но по правую сторону реки, на россыпи холмов, русское командование сосредоточило такое количество артиллерии, что она выхлестала и танки, и стрелковые соединения, и все, что шевелилось за рекою.

Остановив отступающие войска на Буге, наши части отбивались от шальных наскоков, налетов и сдерживали так называемую активную оборону противника. Попутно замысливалось не просто остановить, но и обуздать гитлеровцев. Удар на Крисановку они наносили двумя армиями — танковой и общевойсковой с приданными им моточастями, авиацией и всеми средствами, необходимыми для наступления. Крисановку все же немцы взяли на третий или четвертый день, узловой станцией овладели, но развить успех не смогли. И противостояние было уже организовано не так, как в сорок первом году, и непогода захоронила на просторах Украины все, что можно захоронить. Изнеможенные, усталые войска двух армий остались в мешке, заваленном метелью, скорее даже какой-то по-сибирски дикой снежной бурей.

А какие командиры, хоть советские, хоть немецкие, не возмечтают воспользоваться благоприятной обстановкой и отрезать, окружить противника, да и уничтожить! Но после Сталинграда немцы держали ухо востро, вот и стерегли, обороняли фланги изо всех имеющихся сил.

Сказать о Буге в этом месте «река» — язык не повернется. Предчувствие гор, так называемое Прикарпатье, всхолмило землю и задрало ее, отложив по оподолью серую луду, а по руслу реки в беспорядке вымытые камни разной величины. Под скатами берегов и шевелилась черная лента речки с неустойчивыми забережками, перехваченная кое-где бляшками льда, неохотно и как-то совсем вяло шевелясь на перекатах и в шиверах.

Здесь стояло, точнее, рассыпано было по холмам по обе стороны реки село, бесприютное, не по-украински сиротливо-нагое, безрадостное. Оно наполовину выгорело, и лишь по разложинам кое-где темнели кусты да возле остовов еще недавно белых хат там и сям темнели садовые деревца, чудом выжившие, но, может, и обгоревшие до черноты. Правая, более сохранившаяся сторона села смотрелась приветливей, хотя тоже большей частью была голой и зябко ежилась по холмам и пригоркам, выстроившись подобием улицы вдоль Буга. В середине села реку перехлестывал, скорее серой гусеницей переползал, мостик, шибко разбитый снарядами, ошетилившийся ломьем плах, нетолстых скрепов и кривых брусев из чуть отесанного леса. По мостику густо, разрозненно виднелись бугорки, прикрытые снегом, — это наши убитые солдаты, в основном связисты.

Бригада, в которой воевал связистом Федя Скворцов, поперед многих частей просквозила по тому мостику в ночное время, заняла оборону и утром уже бойко и дружно вела огонь по еще шевелящемуся в снегах немецкому войску. Пурга, снег, густо веявший, временами шлепущий, сугробы наметавший вдоль оград и по-за хатами, да еще пугающе обрывистый Буг помогли нашим частям затормозить противника, затем и остановить. Взвод управления дивизиона стададцатидвухмиллиметровых гаубиц, лучших на ту пору орудий на русском фронте, имел и вояк достойных. Ночью же управленцы хитро оборудовали наблюдательный пункт возле хаты со сгоревшей соломенной крышей, сплошь выбитыми окнами, сделав ход сообщения под стеной к бедному, нищенски на бугре скрючившемуся садику из десятка яблоневых, вишневых деревьев и стенкой терновника. Топили печь, сделанную из каменных плит вроде камина, ящиками из-под снарядов, ход сообщения под стенку и сразу к стереотрубе завесили плащ-палаткой, окна тоже загородили чем могли, и не ахти что, но все же маленько обогреться можно и горячей водой брюхо повеселить.

Командир отделения связи, большой дока в своем деле, еще за Днепр представленный к званию героя, и, если б не эта зимняя боевая и природная кутерьма, давно бы получил Звезду Героя, ночью же велел проложить две линии, запасную через мост, вторую, через Буг к батарее, выставленной на прямую наводку. «Промочимся же!» — заныли связисты. «А что лучше — мокрым быть или мертвым?» — взвился сержант, и по его вышло, на мосту набито народу вон сколько, да еще славяне, выбегающие на порыв, из линии вырезают куски, чтобы починить свою связь, и нитка через мост почти не работает, разве что в ночное время.

Федя и посеячас явственно помнил, как схватило в груди, когда он с безжильного кислого льда шагнул в воду и быстро, быстро, но чтоб, Боже упаси, не упасть, вовсе не вымочиться, семенил по жгущейся воде, ощущая ее стремительное тут течение икрами, перетянутыми обмотками, подошвами ботинок чутко нащупывая острые, пуше того — гладкие каменя.

Когда, буцкая мерзлыми ботинками, звеня льдом обросшими штанами и обмотками, они с напарником ворвались в хату с телефонами *эмпэ*, командир отделения товарищ сержант Ряжов помог им быстренько раздеться, бросил сухое обмундирование и, главное, нагретые валенки, выпить дал, пусть и понемножку. Потом и отдохнуть приказал. Федя с напарником, слепившись спинами, хорошо придавили на ящиках, сделанных вроде нар, с расплющенной на них соломой и сверху прикинутой палаткой.

И ни-чего, даже кашля не было, сопли только и текли, ну а как здесь, при сопливой зиме, да без всяких вовсе последствий существовать? Батарея за рекой, и не одна, крушила остатки крупного немецкого соединения, вся бригада из села поддерживала ее огнем и всем, чем могла. Снаряды и заряды возили, но чаще на себе таскали солдаты, хлеб, горячий харч — тоже, обратно волокни раненых и связь непрерывную, добрую связь держали с боевой батареей, которая несла большие потери: за трое суток в ней сменилось едва ли не по три расчета.

Сержант Ряжов, человек, конечно, боевой, но уж и беспокойный. Нитка связи через мост давно и безнадежно изорвана, надежда на ту лишь линию, что легла через Буг. И тут отделенный проявил дальнзоркость, повелев положить на дно речки не наш хиленький провод, который он нехорошо называл советским гондоном, но кусок трофейного провода, добытого в боях. У немцев провод давно уж в прочной оболочке, непромокаемой и жесткой, по нему слышимость что надо, а наш в сырости быстро вянет, промокает, шипенье по нему да всякий треск, как от льняной костры, и больше ничего.

Отделенный держал телефониста на наблюдательном пункте или сам садился к телефону, линейного же связиста гонял как сидорову козу по линии, чтоб батарея за рекой ни на минуту не оставалась без связи.

Метель уже унималась и бой утихал, когда Федя Скворцов вышел на линию. В селе там и сям догорали хаты, на пути к мосту дымили две подбитые машины, с них порскали горящим порохом артиллерийские гильзы. Тут же на спуске сиротливо темнел остов тридцатьчетверки, на которую и за которой намело снегу. Башня, сорванная рвавшимся боезапасом, лежала почти рядом с покалеченной машиной, до краев набитая снегом, и даже в дуле орудия ватной затычкой белелся снег. Феде Скворцову всегда почему-то было жалко, равно живое существо, наш подбитый и почти обезглавленный танк. Башня у него в глубоком пазу, ничем не закрепленная, способная вращаться и работать вкруговую. Оно, конечно, хорошо, вкруговую-то, но если б в танке во время боя сидели его творцы, то было б не только хорошо, но и справедливо.

Сержант Рязов человек, конечно, героический, но, как уже говорилось, очень беспокойный, и никому от него покоя нету. Вот гоняет и гоняет по линии солдат, а чего гоняет? Порыва ж нету. По его же приказанию линию, что проложена через реку, протянули в стороне от дороги, чтобы буксующие машины ненароком не смотали провод на колеса или танки или тягачи не изорвали ее; там, где все же вынуждены были перелестнуть линией заметенную снегом дорогу, провод глубоко закопали, ладом притоптали, сам товарищ сержант выходил на линию и проверял, хорошо ли закопали, плотно ль притоптали, но вот по работающей связи носись, подсоединяйся, делай проверку.

Оно, конечно, на войне береженого Бог бережет, а разинь смерть па-сет, но все же уж и в хате за ветром посидеть охота.

Так вот нехитро рассуждая, связист Скворцов катил по линии и на спуске к Бугу, в наметенном за каким-то хилым заборчиком сугробе увидел копошащегося своо брата связиста. При ближайшем рассмотрении связист оказался девкой. Она держала в руках оборванные провода и пыталась стянуть их вместе.

В рукавички и за ворот ее шинели набило снегу, в обувь, стало быть, в валенки, начерпано. Девушка, чуть подвывая, взнуздывала себя иль еще кого-то: «Н-ну, н-ну-у, ну!» Отдавленный снегом провод в порыве разошелся. Сугроб-то уж больно уютно и плотненько лежал за вкривь и вкось набитыми досками, палками, жердочками, поверху которых и в дырках темнела зябко дребезжащая колючка — от коз проклятых. Здесь, в предгорье, этой скотины было много, солдаты переловили коз, наварили мяса; скотины, которые попрытче, разбежались, а иных и хозяева с собой от войны угнали.

Федя свернул в сторону и сразу увяз в сугробе, но мужик же, воин же, быстро он выбил себя из снега, взял у девушки концы провода, потянул, крикнул: «Помогай!», и вдвоем они чуть даже стянули провода, но не соединили, и тогда Скворцов еще глубже попер в сугроб, рванул колючую проволоку с забора и стал ее ломать. Проволока не ломалась, рвала рукавицы, царапалась. Федя еще раз рванул уже со злом и оторвал одну нить, приступил ее ботинком, вертанул туда-сюда и, отделив конец метра в три, подал его девушке, коротко и властно приказав:

— Делай вставыш. Слышимость, конечно, будет не та, но все же. На обратном пути изладим все ладом, отроем провод.

— Ой, дяденька, у меня руки замерзли.

Пока они возились в снегу у рахитного забора, не сожженного в печке только потому, что здесь, на спуске к реке, много стреляли, разочка уж три в сугроб плюхались и подбрасывали снег мины, по-злomu скрипуче рвущиеся на холоду. Один раз, когда близко засвистело и разорвалось, Федя даже и на девушку упал, вдавил ее в снег, как бы героически прикрыв собою.

— Ну, действуй, я сейчас до моста слетаю, проверку сделаю, если обрыва нет, мигом вернусь.

— Ладно, хорошо, дяденька, — пискнула связистка, держа конец ржавой проволоки в рукавице и ничего, однако, не делая.

В это время опять над ними просвистели мины, и где-то поблизости хрястнуло по мерзлой земле иль грудой развалившейся хате.

— Давай! Давай! — уже на ходу крикнул Федя и ринулся со всех ног по склону.

На мосту валялись клубки изорванной связи, но запасная линия родного дивизиона была в порядке. Подключившись ненадолго, Федя сделал проверку и, зацепив ногой из-под снега оборвыш провода, ринулся назад. По мосту, выбивая щепки, шаркнул пулемет из-за реки, и это прибавило связисту резвости.

Девушка все же сделала вставыш, который Федя тут же отсоединил и бросил подальше, срóтив порыв подобранным на мосту концом провода, и только тут он подумал, куда же делась связистка-то? И увидел ее, распоясанную, открыто и как-то безвольно тащившуюся вверх по дороге, по-за нею тянулись темные извивы и, кляксами разбившиеся о дорогу пятна крови.

Он ее быстро настиг, подставился, она обняла его за шею, они ускорили ход. Глянув в раскид шинели, Федя увидел, что девушка пыталась перевязать себя, но лишь перехлестнула поверху гимнастерку своим индпаке-том, больше у нее ничего не было.

— Как же ты, а? Как же... — задышливо твердил Федя, почти на себе уже волоча связистку. — Неужто не слышала?

— Слышала, но порыв проклятый, — медленно выбивая из себя слова, плаксиво пожаловалась девушка.

— Порыв в порядке. Все я залатал. И счас. Счас вот тебя тоже обиходим, тоже, понимаешь...

Он заволок ее в подкопанную избу *эпэ*, согнал с лежанки ночью дежурившего, дрыхнувшего телефониста и осторожно опустил на солому девушку. Телефонист спросонья начал материться — мол, ногу чуть не оторвал, босяк, но, заметив раненую, буркнул: «Так бы и сказал, а то дергает, дергает», — и вальнулся в уголке на остаток пола из мелких, кривых половиц: здесь, в Прикарпатье, не как на остальной Украине, уже были деревянные, не земляные полы в селах.

— Где ее тебе Бог дал? — расстегивая сумку, угрюмо заворчал санинструктор Яшка. — Своих раненых не знаем, куда девать и чем перевязывать.

— Давай уж как-нибудь постарайся, — виновато потупился Федя, а девушка в поддержку ему прошелестела:

— Пош-жа-пош-жа...

Яшка начал раздевать ее, она, загоротившись слабой рукой, попросила:

— Бойцы... пу-пусть выйдут... бы-бы-цы...

— Ну, милая, тут не до деликатностей, тут работа идет, война...

Долго возился с раненой Яшка, она все пыталась загородить ладонями живот, Яшка отводил, один раз и отбросил раздраженно ее руки. Федя ко-чергой выдвинул из непрерывно топящейся печи чугунок с кипящей водой, налил для Яшки кипятку в рукомойник, кружку с горячей водой поднес к губам девушки. Они у нее были обветрены, шелушились остью, их успело когда-то обметать грязно-коричневым налетом. Жадно припав губами к кружке, девушка ожглась, но от кружки не отлепилась.

— Спа-си-бо! — отстраняясь и опадая на лежанку, слабо выдохнула раненая.

Федя оторвал кусочек бинта от Яшкой брошенного на стол белого свертка. Тот от рукомойника покосился на него, но ничего не сказал. Обмокнув кусочек бинта в кружку с горячей водой, Федя вытер губы связистки, стараясь мокрым клочком вычистить грязь из уголков ее аккуратненького рта, попутно и по лицу легонько прошелся, вроде как освежил его, и девушка еще раз, вроде чтобы никто не слышал, шепотом молвила:

— Спа-си-бо.

Приподняв палатку, из-под стены возник начальник штаба, заменивший днями раненного командира дивизиона. Был он в солдатских однопальных рукавицах, под телогрейкой рыжела кем-то, скорее всего сержантом Ряжовым, уделенная безрукавка, но все равно озяб, приморозил руки о железо стереотрубы и, подсунувшись к челу печи, почти сунул их в нагоревшие уголья.

— Это кто? — спросил он у Яшки, кивнув в сторону раненой.

— Да вот Скворцов на дороге напарницу себе подобрал.

— Откуда она?

— Не говорит. Военную тайну сохраняет. Но связисты, трепачи, давно уж подслушали: отдельная это спецчасть, обслуживает штаб танкового корпуса.

— Ну, которые обслуживают, те по линии не бегают, — скривил посиневшие от холода губы капитан. — Ты вот что, подготовь раненых, и ее тоже. Из тылов к нам пробивается колонна санитарных машин.

— Есть, товарищ капитан.

Яшка ушел, капитан, кашляя, налил себе кипятку в кружку, достал из кармана таблетку или кубик сахара, пил мелкими глотками и все время косился на Федора Скворцова, дежурившего у телефона, по всему было заметно, хотел к чему-нибудь придраться и кого-то распушить. Но связист в порядке и хитер, бродяга: пока капитан выпил кружку кипятку, раза три проверку сделал, выявляя радение, поругался со связистами на промежуточном пункте, к девушке же, тише мышки лежащей на соломе, не придерешься, телефониста, с ночи храпака задающего, никакой руганью не проймешь, и, высморкавшись в таз под рукомойником, капитан натянул рукавицы, на всякий случай приструнил свое воинство: «Ну, смотрите у меня тут!» — и опустил под стену, нарочно, видать, оставив ход приоткрытым, чтобы не одному ему мерзнуть.

Федя палатку над входом поправил, придавил ее с боков комками земли и катушкой со связью, про себя старчески ворча: «Иди уж, иди, ругай своих разведчиков, оне у тебя рожи поотъедали и от спанья опухли». После чего подвинулся вместе с ящиком телефона ближе к раненой девушке, деловито, как Яшка-санструктор, пощупал ее лоб ладонью и спросил на всякий случай:

— Ну как ты тут, болезная?

— Ни-ничего. Дайте еще кипяточку, если можно. — Девушка понимала, что на чужом она подворье находится, проявляла скромность в поведении.

Федя вспомнил, что в кармане шинели у него, завернутый в тряпочку, хранится кусочек сахара, он его развернул, обдул и, бросив в кружку, помешал в ней запасным заземлителем. Девушка попила с удовольствием, причмокивая, и даже чуть порозовела лицом, еще раз поблагодарила Федю и прижмурила глаза, начавшие плыть от поднимающегося жара.

— Слышала, санмашины к нам идут?

Девушка чуть внятно что-то ответила и стала впадать в забытье, чем напугала Федю, и, чтобы не дать ей забыться и, как казалось связисту, незаметно и тихо умереть, он начал тормошить ее разговорами:

— Тебя как зовут-то?

— Вика, — последовал едва слышный ответ.

— Это как?

— Ну, Виктория, — уже внятней и даже как бы сердито пояснила девушка.

— А-а, имя городское. Я тоже городской, но с окраины, с рабочей, Мотовилихой она зовется, пермяк я — солены уши.

— Как это? — в свою очередь спросила связистка.

— Ну, слышал я, что в древности ушами звались у нас грибы. А ты чё думала, людям, что ли, уши солили?

Девушка не ответила. Федя склонился над нею, она вся мелко дрожала, и из губ ее, неплотно закрытых, вместе с перекаленным воздухом вырвался птичий звук: «Фик-фик-фик».

Федя снова поднес кружку с уже теплой водой к этим пляшущим и свистящим губам, снова девушка отпила воды, на этот раз почти жадно. «Где этот Яшка, распаскудник, где те долбаные санмашины?» — затосковал Федя и на всякий случай решил проверить, слышит ли чего девушка и вообще какова ее жизнеспособность.

— Та-ак, — протянул он, — имя мы узнали, а фамилия у тебя какая будет?

— Си-си... фик-фик-фик... Синицына, — собравши силы, молвила девушка и, трудно приподняв руку, показала на нагрудный кармашек, заметно оттопыренный, — там у нее была красноармейская книжка, догадался Федя и нарочно громко воскликнул:

— Ну прямо птичник какой-то собрался, я-то ведь Скворцов. Ты Синицына, я Скворцов. Ну и молодцы мы с тобою, птахи небесные.

Наговаривая так, Федя стянул с себя шинель и, оставшись в телогрейке, бережно прикрыл раненую, заботливо подтыкав с боков, поискав еще бы чего теплое и содрал шинель со спящего на полу товарища, тот подогнул ноги почти до самого подбородка, пошарил рукою вокруг, невнятно сказал: «Топаз слушает», — и на этом угомонился.

И под двумя шинелями девушка не согрелась, все фикала, все выдувала изо рта жаркую, грудь давящую тяжесть. «Может, мне лечь к ней спиной? — подумал Федя. — От меня теплее». Но в это время в хату ворвался Яшка с двумя бойцами и закомандовал: «Быстро, орлы, быстро, аллюром!»

Связистку не очень бережно сгребли с лежанки, перекатили на носилки. Яшка вынул из кармана девушки красноармейскую книжку и заполнял какую-то бланку, меж делом прикрикивая на помощников:

— Ну чё стоите как пни! Ташите раненого в машину.

Федя, сделав предупреждение по линии, выбежал следом из хаты, помог водвинуть носилки на нижнюю подвеску и еще подумал, что холодно будет Синицыной от пола. Но машина была набита до маковки, по боковым железным скамейкам и на полу хохлились так и сяк сидящие иль полужележащие, второпях перевязанные раненые, сплошь в кровавых, где и в грязных бинтах. В машину запрыгнул Яшка, застегнул на девушке шинель и сунул под твердый от грязи отворот шинели заполненную бланку.

— Ну, с Богом, — сказал санинструктор, — тут обстреливают.

И они с Федей и двумя солдатами еще и подтолкнули сзади машину, пробуксовывающую в плохо прикатанной колее. Так вот, буксуя и вихляясь, машина поднялась на холм и, пуская густой дым, исчезла за высотой. Вослед ей припоздало полоснул пулемет. «И ведь видят же, как-то вот видят или слышат?» — недоумевая, сердился Федя и вслух спросил у Яшки:

— Ты-то чего не поехал с ними?

— Много работы, не велено отлучаться. Сопровождающий от санбата есть.

— Один на все машины?

— Да, один на пять машин. Ну ничего, вместе они скорее пробьются, а там уж... — Там уж, верили все бойцы и санинструктор тоже, там спасение и рай земной.

— А не выкинут?

— Чего?

— Девчонку раненые не выкинут из машины? Скажут, померла дорогой, и высвободят место, лежачее.

— Не должны, я предупредил, что проверю, и санбрату наказал, чтобы доглядывал. А вообще кто знает, не любят окопные землеройки фронтовичек. Пэпэже их зовут.

— Одна-две в части пэпэже, а страдать и отвечать всем, так, что ли?

— Все в руках Божьих, товарищ Скворцов, все в его милостивом веденье. Пойдем-ка чаю попьем и картошки порубаем, я ставил чугунок в печь, заваркой и сахарком у медбрата разжился. Они не чета нам, живут не тужат.

Картошка выкипела и уже начинала пригорать к стенкам чугуна. Высыпали ее на стол, размяли прикладом карабина крупную соль и только собрались поесть, еще и единой картошки не облупили, как на полу взнялся телефонист, широко зевая, с претензией, чего, мол, не будите, одни себе жрете. Картошка, почти непрожеванная, катилась горячим комом по нутру до самого до низу и уютно располагалась в брюхе. Хорошо!

А назавтра в этой самой хате, где располагался командный пункт, на той самой лежанке, с совсем уже расплющенной соломой лежал, дожидаясь санобоза, и Федя Скворцов. Ранило его на той самой запасной линии, что пролегалла по мосту и которую связисты неприязненно звали пожарной линией. Мост был избит, развален, перила его там и сям болтались и под ветром скрипели на гвоздях и скобах. Трупов за последние дни на мосту прибавилось, будто замерзшее болото в неровных кочках был тот мостик. Никто мертвых не убирал и не хоронил даже ночью. Некогда. Все делом заняты. И не уберут. Кинут на мирное население: коли кто-то сюда вернется, по весне вынужден будет вытаявшие, разбитые трупы закапывать.

И у боевой бригады артиллеристов вот-вот перемены наступят, новое движение начнется, на этот раз на юг. Военная тайна, конечно, великая штука, но от связистов никак ее не убережешь. Радист получил сообщение, что совсем и недалеко наши войска загнали в голостепье и зажали там вражескую группировку. С осени замешкались немцы на Днепре и начали отступление почти зимою и вот попали в ловушку. Войска сосредоточиваются вокруг котла добивать противника, и тут уж никак без гаубичной бригады *эргэка* не обойтись. А и хорошо оно, уйти надо с этого неприятного, заваленного трупами моста, который немцы прошивают днем и ночью длинными очередями иль дорубают его минами и снарядами. Сколько и сколько этот дежурный пулемет подавляли и докладывали, что все, капут, подавили, а он снова вдруг заявит о себе, прихватит парней на мосту, ладно, если на исходе его, тут мигом вались вниз, в сугроб, но коли на середке прихватит, тогда, куда деваться, ложись и молись, если Бога не забыл. А пулемет у немцев не наше горе, не таратайка на колесах со времен кинофильма «Чапаев» прославленная. У немцев пулемет на сошках, стволице в оглоблю, в ленте пятьсот патронов, и он как врежет очередь, так уж очередь получается, а не бабий пердёж врассыпаловку, что выдает прославленный «Максим» иль «Дегтярев» с диском в пятьдесят патронов. Из них, из наших пулеметов, хорошо стреляют — врага что траву косят — только в кино.

Вот так вот примерно размышлял Федя Скворцов, мчась по «пожарной» линии связи на очередной порыв, и прихватило его очередью аккурат посередь моста. Он видел, как шла эта очередь по мосту, всплескивая султанчиками белого снега синие огоньки, которые, будто с лесной герани, лепестками осыпались, если на пути пуль встречались скобы, гвозди, костыли и всякое крестьянину доступное железо, которым он постепенно облепляет старый мост, починяя и укрепляя его каждую весну, видел Федя, как из трупов, давно здесь покоящихся, выбивало серое лоскутье и что-то багрово-белое, мясо, должно быть, и косточки человецьи. «Господи! Спаси и помилуй!» — взмолился Федя и упал брюхом на бревешки, попытался вдавиться в пролом. Как ударило снарядом, так три бревешка проломались и просели на крестовины моста. Вот в этот пролом и вдавился тощим брюхом, головою, грудью связист Скворцов. Но ноги-то куда девать? Ноги и руки, нужные в деле, в работе, под пулями лишние — некуда их девать.

В ногу и попало Феде, слава Богу, пока в одну. Сперва его раза два дернуло за взгорбившуюся на спине шинель, в крошку разбило ящичек телефонного аппарата, съехавшего на спину же, потом вот и ногу дернуло. Феде поместилось, что кто-то из связистов, балуясь, накинул на ногу провод петлею и дернул его, шуткуя. Блажь, конечно, нелепость, но чего с испугу не войдет человеку в голову.

Федя Скворцов, боец опытный, битый — до этого два легких ранения получил, убитых и раненых навидался — не запаниковал, не задергался, хотя в ботинке начало жечь, нога перестала шевелиться и слышать себя. Он дождался, когда уймется пулемет. Вылез из своей нечаянной, ненадежной ухоронки и пополз, стараясь прижиматься ближе к бревенчатому брусу, под которым и которым скреплялся настил моста, но уж из бревешек потоньше. В одном месте уцелел пролет перил. Федя взнял себя, перебираясь руками, заспешил к своему берегу, да не больно спешилось, как-то неловко вывернулась и не шла, волоклась нога, оставляя за собой красную борозду.

Привыкший бегать по линии, а мост даже и пролетать, он долго сползал к дороге, какое-то время еще и по дороге полз. Как нарочно, никакой нигде твари нету, ни тебе несчастного, одинокого связиста, ни тебе посыльного или шалоги, всегда вроде бы пьяного разведчика. Он увидел под забором торчащий из сугроба кончик колючей проволоки. Былинку пустырной травы она напоминала с двумя острыми лепестками. Узнал это место Федя, заполз во двор разбитой хаты, потом и в хату влез, точнее, в корб стен, оставшийся от хаты.

Здесь велся народ, чей-то *энтэ* располагался, но чей — разузнавать времени не было. Он попросил молодого лейтенанта послать кого-нибудь к мосту, где под первым пролетом, настелив под задницу будылъев, на промежуточном пункте дежурили два связиста, пусть один прибежит и ему поможет. Ребята, тоже артиллеристы, но малокалиберные, на скорую руку перевязали Скворцова, дали глоток водки из фляжки глотнуть. Тут и связисты примчались. Оба. Радехоньки, что причина нашлась смыться хоть на время от гибельного моста и погреться возле печки, может, и пожрать чего-нито. Тем более, что они слышали, будто ночью к нашим пробился тягач, на нем хлеб, водка, концентраты пшеничные, ну все, чего душа ни пожелает.

Тягач в самом деле приходил с каким-то пакетом и попутно привез несколько мешков сухарей, ведро сахару и рюкзак махорки, насчет водки, концентратов, других всяческих разносолов и разговору не велось.

Яшка долго возился с Федей Скворцовым, укол от столбняка сделал, ботинок порезал, штаны до колена располосовал, со словами «больше не понадобятся» брезгливо бросил скомканные, грязные обмотки в печку. Связисты с промежуточной во всю силу, будто кони овес, хрумкали сухари, устройшись возле чела печки. Яшка принес в кружке горячего чаю, разломил напополам сухарь об колени и сказал Феде:

— Поешь и попей маленько. Тебе это необходимо.

Потом появился сержант Ряжов. Покачал головой:

— Совсем людей мало осталось. Опытных — единицы. — И попер связистов, швыркающих кипятком возле печи, на свою, на законную, точку. Затем капитан из-под стены возник, снова грел руки и косился на Федю Скворцова.

— На мосту? — спросил, чтоб хоть о чем-нибудь говорить.

— На мосту, товарищ капитан.

— Ах, этот проклятый мост, сожгли б его уж, что ли. — И обратился к Яшке, кивнув в сторону Скворцова: — Что у него?

— Да и ранение вроде бы невелико, но препакостное, перебито сухожилие, тронута лодыжка. Парень, считай, что выбыл от нас навсегда.

— Ну что за место клятое? И боев-то настоящих не было, а народу потеряли допална. Скоро санитарная-то будет?

- После обеда обещали, товарищ капитан.
- После обе-еда, они там все обедают и водку пьют.
- Нашу, — поддакнул сержант Рязов.

— Может, и нашу. Яков, всех раненых сопроводить, в целости доставить. — И подал руку Феде: — Ну, Скворцов, прощай, хорошим ты связистом и помощником был. — И, увидев, как бледный лицом раненый, недавно переживший потрясение, проливший кровь, заплакал и закрылся рукою, растерянно потоптался возле лежака: — Ну, ну, чего ж плакать-то? Не маленький и не из рая, а из ада выбываешь. — Хотел еще что-то добавить.

Феде показалось, капитан хотел покаяться за то, что крут бывал, орал, не подбирая выражений, разика два по голове трубкой бацкнул, один раз пинкаря под жопу дал. Горячий, еще молодой человек, а ответственность на нем какая — тут и заорешь, и запинаешься. Ничего более не сказал командир дивизиона, махнул рукой, натянул рукавицы и опал в подкоп, прошуршал плащ-палаткой и на этот раз не оставил вход полуоткрытым, тщательно прикрыл палатку. «Это чтобы мне, раненному, не дуло», — подумал Федя и снова заплакал от умиления и жалости к себе. Сержант Рязов приказал не раскисать, держаться и катнул на лежанку облупленную горячую картофелину, да еще самолично и посолил ее.

— Ох-хо-хооо, доля солдатская, — молвил он в пространство и какое-то время смотрел неотрывно вдаль, вроде бы как сквозь стену. В эту минуту полного отрешения своего командира Федя подумал, что сержанта скоро убьют, но впоследствии, на встрече ветеранов артбригады, узнал он, что сержант Рязов погиб не скоро, погиб уже в Германии при штурме Зееловских высот.

В санбате Федя Скворцов пробыл недолго и в каком-то отдалении от себя, как бы в полусне. Перед эвакуацией в тыл вдруг попросил сестричку, что ставила ему уколы и давала порошки, нельзя ли узнать что-нибудь про Вику, Викторину Сеницыну.

- Ой, тут такой поток раненых был, такой поток. А она кто тебе?
- Напарница по телефону.

Сестричка была сообразительна, просмотрела журнал с регистрацией умерших в санбате и похороненных поблизости.

— Среде умерших Сеницына не числится, а к эвакуации назначенных такие списки, такие бумажные дебри, что в них не вдруг и разберешься, но я постараюсь. Как ночное дежурство выпадет, так разузнаю.

Но поток раненых — поток! — слово-то какое жуткое, никто его и не осознает до конца — не прекращался. Санбат работал с большим напряжением и перегрузом. Мест не хватало. Связиста Скворцова метнули в ближайший госпиталек, тоже переполненный. Там ему сделали рассечение на ноге, обиходили, прибрали, костыль дали, чтобы сестрам его не таскать на носилках. К этому времени Федя совсем очнулся, вышел из какого-то вялого, полусонного состояния. Но, как погрузили в поезд, он под стук колес, качаемый будто в люльке, снова начал спать беспробудно. Нога «отходила», и весь он отходил и начал слышать боль не в чужом как будто теле, но в своем, родимом, ему велели поменьше шевелиться, ходить в туалет только по большой нужде, но скоро он ни по какой нужде не мог слезть с полки, шибко его, как и всех парней, угнетало, что девушки, сплошь ладные и красивые, вынуждены убирать из-под него. Будучи человеком стеснительным, он старался все свои неуклюжие дела справлять ночью.

А ехали долго, в настоящую заснеженную зиму въезжали, в глуть России двигались. Дорогой раненых распределяли по госпиталям, понемногу разгружались, и, когда подъехали к Уралу, Федя Скворцов набрался смелости на обходе, попросив врача:

- Меня, если можно, выгрузили бы на Урале, если, конечно, можно.
- А где именно на Урале-то?

— Хорошо бы в Перми, я оттудова родом, и все наши там живут: отец, мать, сестры.

Но с Пермью ничего не вышло, Федю на носилках перенесли в другой поезд, и оказался он в Соликамске, аж на севере области, зато на родном Урале, где и воздух, и виды природы, и даже дымящие трубы были привычны, целительно действовали на человека.

Приезжала в Соликамск мать, плохо одетая, с чернью металла, впившегося в руки, привезла скудные гостинцы.

Его оперировали, и не раз, но, видимо, дело не шло на поправку, и отвезли его все-таки в Пермь, большой город, где профессор в позолоченных очках осматривал Федю, больно давил беспощадной рукой раненую ногу и назначил его на операцию.

Уж тополя городские в лист пошли и под застрехой госпиталя суетились и щебетали ласточки-белобрюшки, творя потомство, когда профессор, Матвеев по фамилии, откровенно сказал раненому Скворцову:

— Все возможное мы сделали. Комиссуем тебя домой и на нашей госпитальной машине отвезем в родную твою Мотовилиху. Будешь какое-то время ходить с палкой, потом, даст Бог, и выбросишь ее.

Нет, не выбросил, то ли привык к своей опоре, то ли хромая нога так до конца и не излечилась, но и жил, как инвалид, и работал, как инвалид, в инструменталке военного завода, прыгая около стеллажей с разными необходимыми производству инструментами и железяками. Тут и женился на местной девушке, перешел жить в ее дом, от которого по пологой луговине в овраг спускался огород.

Ох, если б не этот огород, не баба крепкой рабочей кости и ее суровые, но дельные родители, пропадать бы пришлось и Феде, и двум его девчонкам, которые как-то сами собой изладились и выскочили на свет белый невесть откудова.

И везде: в санпоездах, в госпиталях, среди инвалидов, толкущихся в приемных разных комиссий, даже будучи в доме отдыха, в Краснокамске, — Федя Скворцов осторожно интересовался насчет Синицыной Вики. Очень ему хотелось узнать, жива ли она, и если жива, то как ее судьба сложилась. Один большой, много знающий человек надоумил Федю написать в Москву, в медицинские архивы, и оттудова пришел радостный ответ, что да, такая Синицына Вика, Виктория Александровна, излечена и проследовала на местожительство в Ярославль. «Вот и хорошо, вот и славно», — думал Федор Скворцов, и одно только сомнение было в нем, Яшка-санбрат говорил, что рана у Вики широкая, но не очень опасная, сбруснуло вместе с мясом кожу с ребер, задело живот, так вот, как она, бедная женщина, будет таить такие шрамы от жениха, не поморгует ли он, не отвернется ли, не обидит ли бедную женщину с таким красивым именем.

На этом и сошла с колес память о войне. Казалось, кто-то другой там был и действовал. Лишь в каком-то туманном полусне, опять же в отдалении, виделся ему иногда белый сугроб с полосами от пожара и пороха, девушка, роющаяся в снегу, и парень, молодой, бравый, хотя молодым он бывал, но бравым никогда, тем паче в тех изнурительных боях, но как виделся, так и виделся. Парень тот бравый с шутками-прибаутками помогал раскрасавице связистке починить линию, и она исцарапала все руки колючей проволокой, пока соединила порыв, а ведь у него приструненный к поясу под шинелью был конец провода, прихваченный на всякий случай. Отчего же он не отдал свой провод-то в беду попавшему человеку, тогда, глядишь, и не поувечило бы ее, и не мучилась бы она под чужими мужицкими глазами.

Вот этого Федор Сергеевич Скворцов, сколь ни тужился, ни понять, ни простить себе не мог.

ЗАТЕСИ

ЗАЦЕПКА

За Енисеем, напротив моего села, в каменной щеке, или по-здешнему Караульном быке, в самой середке его, словно бы огромным, могучим кулаком сделан вдавыш. Здесь вход в пещеру, мрачную и холодную, издавна подкопченную смоляным дымом.

Тут была стоянка древнего человека, и в пещере почти полтора десятка лет работала археологическая экспедиция Красноярского пединститута. Последние годы экспедицию никто не субсидировал, но она все равно каждую весну и до осени разбивала стан на каменистом прибрежном уголке под скалою и рылась там, упорно отыскивая следы житья прежнего, очень давнего человека.

Профессор Николай Иванович Дроздов показывает мне две коробки, вместившие то, что удалось раскопать в пещере, и я спрашиваю его — правда ли, что в пещере найдены приметы каннибализма, попросту говоря, людоедства; ученый молча, кивком головы грустно подтверждает это. А я ему рассказываю о том, как были у меня в гостях школьники из Иркутской области вместе с умной, начитанной и восторженно все в жизни воспринимающей учительницей.

Прогуливаясь по берегу Енисея, я показал на Караульный бык и мимоходом рассказал о том, что, по слухам, древние люди от лютого голода и холода спасались людоедством, и один резвый мальчик тут же весело подхватил:

— Бабу! Мужик бабу завалил и слопал!

Учительница заломила руки и чуть не свалилась в обморок, но тут же, утешая меня, сказала, что мальчик этот в общем-то неплохой, помогает родителям по дому, коров летом пасет и учится ничего, легко, но уж язык у него, язык!

Николай Иванович тихо посмеялся и разложил передо мной предметы быта и орудия добычи пропитания древних людей, попутно сообщая кое-какие подробности их жизни, а средняя продолжительность жизни в ту пору была предположительно восемнадцать лет.

Из камня вытесанные, из кости выпиленные наконечники палочек, скоро их назовут пиками и стрелами. Железного еще ничего нет, но огонь уже добыт. Что можно добыть этими игрушечными орудиями охоты и рыбной ловли? В раскопках много заячьих костей, уже действует что-то подобное петле из ивы, из козьих жил, которых удастся изредка добыть, и много, много мелких рыбьих костей.

В речку Караулку еще недавно, в детстве моем, заходили ленок и хариус на икромет, здесь же, в устье, ослабелую рыбу подкарауливал речной атман и прожора таймень, но его древним людям было поймать и добыть нечем, запруда еще не придумана, остроги нет, до плетения сетей еще века.

Но! Но зато есть рыболовный крючок. Это орудие лова интересовало меня всегда, и во всех музеях тех стран, где доводилось мне побывать, я обязательно смотрел, каков он, крючок-то? Надо сказать, давался человеку крючок не сразу и не просто. С появлением железа начали его ковать и отливать. Но загиб придуман почти всюду одинаково, хотя и форм он причудливых и хитрых, но вот то, что зовется засечкой, заусеницей, жагрой, зацепкой, деталь эта мелкая и очень нужная давалась человеку долго и трудно. Куда ее только, ту засечку, не прилаживали: и на наружный конец загиба, это чаще всего, и в середку изгиба, и длинную, и короткую — наконец припаяли, а потом и высекли чуть выше заостренного крючка, чтоб рыба, клюнув, не срывалась.

Крючок енисейских древлян сделан из кости, чаще всего заячьей и птичьей. Той самой, что человек играл в загадку: «бери да помни» — это

когда грудную косточку ломали двое, и тот, кому доставался уголок, истязал память соперника, подавая ложку, кусок хлеба, игрушку ли, говорил: «Бери!», и тот, кто брал, должен был сказать: «Помню», — и так могло продолжаться целый день, иногда и месяц; выигравший, то есть тот, который памятьвей, должен был предъявить припрятанную косточку и на спор получить то, что загадывал.

Смешные люди! Нынешние. Прежним было в жизни не до игры, не до развлечений. Енисейские древляне как-то сразу сообразили сделать на костяном крючке зацепку, и пусть крючок не очень прочен, не для большой рыбы, но уже свидетельствует о недюжинном уме древнего умельца, моего пр-пре-пра-а-а-отца.

А я все думал, откуда во мне так рано пробудилась смертная страсть к рыбалке и почтительное отношение к древнейшему изобретению — рыболовному крючку, на который конечно же я попадал не раз и губой, и пальцем и в одежду, чаще всего в штаны, его всаживал, и, ох, сколько проклятий было всажено в того, кто придумал эту самую засечку, из-за которой ну никак не вытаскивался крючок из штанов иль из руки.

Древен наш мир, древни дела земные, трудна, опасна и смысла полна жизнь человека, в том числе и того чалдона, который в темной и холодной пещере жался к огню и боялся будущего так же, как и мы боимся его ныне.

И не знал он, что будет вот здесь, напротив Караульного быка, стоять моя родная деревня и на берегу, слизывая мерзлую соленую соплю, поджав босые ноги, возле удочки колеть малый и так же нетерпеливо, трепетно ждать, когда клюнет рыба, и азартно поволокет ее на берег тем самым крючком, что придумал его древний собрат, только из прочного железа, и у него уж не сорвется, а коль все же сорвется, он будет так же, как тот да-аа-лекий парнишка, жалко и обиженно плакать, утирая слезы и сопلي грязным кулаком.

13 апреля 2000.

Академгородок.

МНОГООБРАЗИЕ ВОЙНЫ

В нашей Овсянской библиотеке работает милая, добрая женщина под названием Люба. Она была тринадцатым ребенком в семье, и отца ее, согласно закону, отпустили домой из армии во время войны.

Это первый случай, узанный мною за жизнь мою о той великой гуманности, о которой колоколили со всех сторон наши благодетели и отцы. Чаще приходилось сталкиваться и слышать об ужасных делах, творившихся во время войны. Как правило, обезглавливали семьи, забирали в армию и посылали на фронт кормильца, старших девчонок мобилизовывали на военные заводы и номерные предприятия, подростков — в ФЗУ, где они дозревали до призывного возраста.

Какой надлом, какая насада ложилась на плечи русских женщин, которые про себя потом пели: «Я и трактор, я и бык, я и баба, и мужик».

Даже немцы, прибегшие к тотальной мобилизации лишь в конце войны, поражались той жестокости, что свирепствовала повсеместно в стране Советов по отношению к своему народу.

И что оставалось делать мудрым вождям и полководцам, как спасать свои шкуры, когда они за одно лето провозовали половину страны и сдали в плен регулярную, на горе, бесхлебье и бесправье возвращенную армию.

Вот и воевали до упаду, до полного изнеможения. Часто — с марша в бой, с переброски орудий на прямую их наводку без рекогносцировки, привязки, где и с необорудованными огневыми позициями, танки с полузаправкой, с пятью, семью снарядами — в огонь, вперед, лишь бы час, день продержаться, хоть ненадолго врага остановить.

А где-то подростки, дети почти, старики и изможденные женщины точили на станках болванки, ковали, варили и собирали железные машины, сверлили стволы, валили лес, заготавливая древесину на приклады винтовок, которые чем дальше в войну, тем хуже становились, стволы не только снаружи, но и внутри плохо отшлифованы, прицельная планка отпадает и теряется, в зарядной коробке слабая пружина — тычь, солдат, пальцем патрон в патронник, в котором после выстрела останется железная жопка патрона, потому как с сорок третьего года стали к пулеметам и винтовкам делать комбинированные патроны, половина меди и половина железа. Но хоть такие винтовки и патроны были, и то слава Богу.

Михаил Дудин, царствие ему небесное, замечательный мужик и автор многих превосходных стихотворений и многих, многих едких и разящих эпиграмм, был морским пехотинцем и воевал в самых адских местах Ленинградского фронта, в том числе на гибельном «пятакке».

Так вот, Миша Дудин потряс меня рассказом о том, как воевали снятые с кораблей моряки. Где-то на Пулковских высотах или под ними довелось идти в атаку морякам, снятым с линкора. А что у них на линкоре за личное оружие? Офицерское — кортики да маузеры иль браунинги и винтовки *сэвтэ* у матросов, полуавтоматы наши, хваленые, годные для парадов, но не для боя в окопах, да еще на холоду, но и такие винтовки да пистолеты вахтового и парадного назначения были далеко не у всех моряков, патронов по обьеме, а задача поставлена четко и твердо: пойти на врага, достичь его окопов и отобрать оружие.

И морячки наши, сами себя вздрючившие похвалами о бесстрашии своем и несгибаемости, в песнях воспетые, в кино заснятые, народом до небес вздетые, комиссарами и отцами командирами вдохновенные, поскидывали с себя бушлаты и в одних тельняшках, с криком «полундра», которого немцы не понимали и не боялись, бросились на врага через поля и высотки, и — самое великое и страшное — часть их достигла фашистских окопов и отобрала у врага оружие. Но уже часть малая, остальная братва осталась лежать на земле, и до самых снегов пестрели поля и склоны высот тельняшками.

В одном месте моряки шли в атаку через большое поле, засаженное капустой, и, когда настали голодные времена в блокадном Ленинграде, полуголодные моряки ночью ползали на капустное поле, и иногда им удавалось принести вилочек-другой в окопы. Разумеется, поле капустное было пристреляно немцами, и тут они выложили еще много наших, воистину отважных ребят, которые раздвали убитых, снимали с них бушлаты, количество полосатых трупов добавлялось и добавлялось на поле брани.

Весной, когда морячки вытаяли, смотреть было невозможно на землю — вся она была полосата от тельняшек, мечты и радости многих и многих советских ребятшек.

«Вот ты, земляной человек и работник творческого труда, не вылазишь из тельняшки, как Гриша Поженян, тепло тебе в ней и мягко, а я не могу носить тельняшку с тех самых пор, — говорил Михаил Дудин, и, помолчав, глядя в сторону, неунывный этот человек горько добавил: — А потом их, морячков, хоронили, ты, окопный землерой, можешь себе представить, что и как там хоронили, их кости и тлелое мясо просто с клочьями тельняшек сгребли в земляные ямы, называемые красиво, одухотворенно — братскими могилами. О-о, прости нас, Господи, тайно верующих, к Богу подвигающихся коммунистов и всех страждущих, прости. Они не виноваты в том, что им выпало на долю жить мужественно и умереть героически. Перед Богом все мы мученики, и живые, и мертвые...»

Никогда больше, никогда веселый человек, шутник, хохмач Михаил Дудин не говорил со мною о войне, даже приближения к этому разговору избегал.

Трудно все-таки копаться в старых, кровоточащих ранах и не надо бы уж так громко хвастаться тем, как трудно жилось народу нашему в войну и какой ценой досталась нам победа.

Каждая следующая годовщина, парад и веселье по случаю Победы нашей уже ничего, кроме неловкости, горечи в памяти и боли в сердце, не вызывают.

22 сентября 2000.

с. Овсянка.

ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ

Срезали, сдолбили, сцарапали медные буквы с могильной плиты милой девочки, стюардессы, загородившей непрочной своей и святой грудью пассажиров от бандитского пистолета. Спилили, разрезали стелу — знак в пермской тайге, где приземлились космонавты Леонов и Беляев: Отъяли, выгрызли, срубили буквы с неуклюжего монумента, угнетенного дежурными громкими словами, воинам Отечественной войны. Каждая буква на монументе весила семь или восемь килограммов.

То-то радостная была добыча!

С неуклюжей жестяной пирамидки над могилой ребенка срезали латунную табличку в полкило весом. На табличке той были нацарапаны родителями или бабушкой простенькие слова: «Боже! Прими в лоно свое невинную душу нашего любимого Алешеньки...»

То-то весело было пропивать вам, долго в безбожье жившим пакостникам, этикие кладбищенские трофеи!..

В Вифлееме, где родился Христос, отгорожен загончик для овец — этакая древняя хрупкая декорация. И на том месте, где свет увидел и разомкнул в мучительном крике уста Сын Божий, лежит серебряная звезда. Вижу: на каждом луче по заклепке и в центре звезда дугой заклепкой укреплена. «Что такое? — спрашиваю. — Зачем заклепки, как в советской воровской сельхозартели, где даже кружка для питья на толстой собачьей цепи — чтоб не сперли...»

«И здесь заклепки на серебряной звезде для того, чтобы не украли, — отвечают мне. — Ту, древнюю, Христову звезду из серебра, ничем не прикрепленную к полу, украли давным-давно».

Так вот и видится ясно, как, спрятав под хламиду серебряную звезду, по узким ночным улицам Иерусалима крадется старовечный кат к скупщику цветного металла.

И нынешний брат его по божескому завету, сунув под телогрейку иль под куртку в молниях табличку с могилки дитя, трусливо крадется туда же, к современному скупщику с мерзлыми глазами, в его укромный воровской загон под названием «Пункт приема цветного металла».

В темные те века, поймавши кощунствующего вора с Христовой звездой за пазухой, миряне разорвали бы его на куски, ныне пакостника поjurят, может, оплеуху дадут иль оштрафуют — вот и вся разница, пролежшая во времени, из безграмотных веков пронзившаяся до времен просвещенных, милосердием отмеченных.

15 марта 2000.

Больница.

МЕЛОДИЯ ЧАЙКОВСКОГО

Почти неделю тянули ветры над землей Центральной Украины, стелило полог мокрого снега. Промокло всё, промокли все. В окопах, на огневых позициях, даже в солдатских ячейках и ровиках чавкает под обувью, ботинки вязнут в грязи, сознание вязнет и тускнеет в пространстве, заполненном зябкой, беспросветной мглой.

Я сижу на телефоне, две трубки виснут у меня по ушам на петлях, сделанных из бинта. Подвески мокры, телефонные трубки липнут к рукам, то и дело прочищаю клапан рукавом мокрой шинели, в мембране отсыревает порошок, его заедает, он не входит в гнездышко телефонной пазухи.

У меня прохудились ботинки, подошва на одном вовсе отстала. Я подвязал ее телефонным проводом. Ноги стынут, а когда стынут ноги, стынет все, весь ты насквозь смят, раздавлен, повержен холодом.

Меня бьет кашель, течет из носа, рукавом грязной шинели я растер под носом верхнюю губу до ожога. Усов у меня еще нет, еще не растут, палит, будто перцем, подносье и нос. Меня знобит, чувствую температуру, матерюсь по телефону с дежурными на батареях.

Пришел командир дивизиона, послушал, поморщился, посмотрел на мои обутики, влипшие в грязь ячейки, что вкопана в бок траншеи.

— Чего ж обувь-то не починишь?

— Некогда. И дратва не держится. Сопрела основа, подметки кожмитовые растащились и растрепались.

— Ну надо ж как-то выходить из положения...

Он уже звонил в тыл, ругался, просил хотя бы несколько пар обуви. Отказали. Скоро переобмундирование, сказали, выдадут всем и все новое.

— Как-то надо выходить из положения... — повторяет дивизионный в пространство, как бы и не мне вовсе, но так, чтобы я слышал и разумел, что к чему.

«Выходить из положения» — значит снимать обувь с мертвых. Преодолевая страх и отвращение, я уже проделал это, снял поношенные кирзовые сапоги с какого-то бедолаги лейтенанта, polegшего со взводом на склоне ничем не приметного холма с выгоревшей сивой травой. И хотя портянки я намотал и засунул в сапоги свои, моими ногами согретые, у меня сразу же начали стынуть ноги. Стыли они как-то отдаленно, словно бы отделены были от меня какой-то мною доселе не изведанной, но ясно ощутимой всем моим существом, молчаливой, хладной истомой. Мне показалось, помстилось, что это и есть земляной холод, его всепроникающее, неслышное, обволакивающее дыхание.

Я поскорее сменял те сапоги на ботинки. Они были уже крепко проношены, их полукирзовые-полупарусиновые «щеки» прорезало шнурками, пузырями раздувшиеся переда из свиной кожи не держали сырости, и вот словно бы пережженные, из пробки сделанные кожмитовые подметки изломались.

Иду на врага почти босиком по вязкой украинской грязи, и я не один, много нас таких идет, топает, тащится по позднеосенним хлябям вперед, на запад. В одном освобожденном нами селе вослед нам вздохнула женщина: «Боже! Боже, опять пленных везут». Скоро переобмундирование. Зимнее. Ни в коем случае не надо брать полушубок и валенки. Полушубок за месяц-два так забьет вшами, что брось его на снег — и он зашевелится, поползет, в валенках протащишь версту-две по пахоте — и вылезешь из них. Я видел дырки в размякшей пахоте, заполненные водой и темной жижей, это вновь прибывший пехотный полк вышагнул из валенок и рванул к шоссе босиком.

Трупы недавнего отступления развездило, размяло и растащило по булыжнику, покрытому серой жижей в разноцветных разводах нефти и бензина, вылившееся из подбитых танков и машин.

Вот здесь-то пехота и переобулась. Обувь и портянки, как правило, остаются почти в сохранности, не то что головы, хрустнувшие, будто арбузы, — смяты, размичканы до фанерной плоскости. Портянки, как знамена иль флаги просивших милости и пощады бойцов, белеются по всей дороге, да еще зубы, человеческие зубы; не дались колесам машин, гусеницам танков, бело просвечивают там и сям из расколотых камней и в булыжных щелях.

Что же это такое? Неужели ко всему этому можно привыкнуть? Можно. Но нужно ли?

Ах, как зябнут ноги! Трясет, мелко трясет всего, и под шинелью, под гимнастеркой и бельем тело покрывается влагой. Поднимается температура, хоть бы заболеть и...

Резко зазуммерил телефон, я нажал прилипающий к пальцам клапан и сказал:

— Ну какого кому надо?

А в ответ бодрый, звонкий голос, словно у пионера, рапортующего об окончании патриотической работы:

— Привет, красноярский идиот!

Павлуша. Кокоулин Павлуша, родом из алтайского села Каменный или Светлый Исток. Мы сошлись с ним в запасном полку, душевно сошлись: я звал его ласково «алтайский выблядок», а он меня еще ласковей — «красноярский идиот» — вот на таком уровне сердешной близости и даже любви изъяснялись мы.

На фронте Павлуша угодил в другой дивизион, но мы изредка виделись и при любой подходящей возможности перемолвливались словом-другим по телефону. Еще ранней осенью Павлушу определили в ближний тыл переучиваться с телефониста на радиста. Вот и явился Павлуша на передовую бодрый, отдохнувший от окопной маеты.

— Ну как жизнь молодая протекает?

— Жизнь-то? Молодая-то? — Я втянул носом мокро и, чуть не закусив по-собачьи, вылаял: — А дубнуло бы поскорее, вот бы хорошо было...

Павлуша смолк, не знает, чего сказать, чем меня приободрить, виноватым себя чувствует за то, что так благополучен, а мы вот подыхаем тут в грязи, во вшах, под гнилым, милости не знающим небом.

— Ну ты, это, елки-моталки, чего городишь-то? — уже не очень бодро, но все еще с энтузиазмом говорит Павлуша. Он, Павлуша, от природы румян, круглолиц и очень разговорчив. Умеет на гармошке и балалайке играть, музыку любит, а я конопат, скуласт, язвитель, играть ни на чем не умею. У Павлуши больше оснований жить и выжить на войне, чем у меня, Павлуша, может быть, более полезен и нужен обществу, я же осатанел, грудь вот кашлем рвет, ангина горло свела, даже слюну проглотить не дает.

Павлуша жил до самой до войны в красивом хлебном селе среди гор, покрытых по самым горбинам мохнатым кедром. Реки, где он рос, хариозные, тайменные, ореха, зверя, птицы в лесах тучи. Пусть и до зернышка выметет родная и любимая власть, все одно не пропадешь в алтайском селе, где по огородам арбузы растут, при впадении родной речки в Катунь острова пользительной ягодой облепихой заросли. Мое родное село тоже многого стоит, природа посуровой алтайской, землицы среди скал скудно освоено, но река, тайга под боком, да рано меня сорвало и вынесло из родного села, и понесло, и закружило в водовороте жизни.

Детство в нужде, страхе и ожидании обещанного счастья прошло, юность в борьбе за место на земле незаметно пролетела в общагах, бараках, каких-то зимовках, навозом, хомутами и гнилыми опилками пахнущих, теперь здесь вот в всеми дождями промываемых, всеми ветрами продуваемых окопах проходит молодость. Даже одежонку просушить негде и нечем, одно желание подступает все плотнее — пропасть, сдохнуть поскорее.

— Да ты чё? — почти возмущенно кричит Павлуша. — Нам по девятнадцать лет, нам еще жить да жить, елки-моталки...

— Вот и живи, раз охота.

Павлуша обезоруженно и обескураженно умолк. Иногда ему удавалось справиться со мной, на путь истинный меня наставить, довоспитать, но

сейчас он бессилён, совсем бессилён и далеко от меня, за этой непроглядной пеленой, полого и низко плывущей над землей.

— Слушай! — кричит Павлуша. — Вот слушай!

И я вдруг слышу музыку, с другого света, с другой планеты, с другого неба плывущую, прекрасную музыку, торжественную, разуму недоступную, поющую о другой какой-то жизни, мне неведомой, пробуждающейся под ясным небом, под светлыми звездами.

Павлуша включил рацию, нажал на клапан телефона, даёт мне послушать то удаляющуюся, то наплывающую на меня музыку. Я хочу спросить, откуда, чья эта музыка, но лицо мое грязное, шершавое от стыни заливают такие потоки слез, что я не успеваю их, затекающие в рот, солёные и горькие, проглатывать, и они текут, рушатся на шинель, глухо застегнутую на моей груди. На время куда-то пропал кашель, лишь, как на намазанных шестернях, скрипит, рвется дыхание в груди.

«Кто украл мое детство? Кто съел мою юность? Кто гробит и гложет мою молодость?» — захлебываясь слезами, спрашиваю я, неведомо к кому обращаясь. Мне жалко себя, своей жизни, а это уже пробуждение. Где-то ж она есть? Где-то ж она вот звучит? Где-то ж она живет? И значит, вместе с нею живут прекрасные люди прекрасной жизнью.

А музыку Павлуша нашел, нащупал для меня в пространстве, и он не знал, какую, чью, и я тогда тоже не знал, откуда, чья она?

Чайковского Петра Ильича была та музыка, впоследствии узнал я, финал первого действия «Лебединого озера». Приобретя пластинку, я заезжу до дыр то место, где про воскресение, про другой, прекрасный мир, светлым сиянием спускающийся с небес над родной землей, над всеми нами, все вытерпевшими и перестрадавшими.

30 марта 2000.

Больница.

ЗАМАТЕРЕЛОЕ ЗЛО

Жил да был на свете писатель Евгений Куренной. Он очень долго руководил Читинской писательской организацией, бился за ее сохранение, помогал чем мог своему немногочисленному, но провинциально вздорному коллективу. Был он человек добрый, к себе располагающий и, кроме того, слыл заядлым рыбаком, норовил зацепить на блесну непременно тайменя, частенько и залавливал.

Чистый лицом, с яблочным румянцем, телом плотный, с крепкими руками, способными не только писать, но и тяжелую работу делать, за себя постоять.

Должность его не велика, но суетная, времени много отнимающая. Поработать ему удавалось лишь в выходные дни.

И вот однажды, в пятницу, к вечеру, он приехал на свой участок, имеемый у нас всюду дачей. Домик со столом, с печкой, с лежанкой-топчаном. Словом, хоромы по достатку. Но в тихом на загляденье месте Забайкалья, вроде бы где и нет некрасивых-то мест. Приехавши на дачу, он загонял своего «жигуленка» в гараж; и машине, и гаражу было уже лет за двадцать — бегал транспорт и жив был только благодаря хорошему догляду. Я ездил с женой в отдаленный сильный совхоз и, хозяин нового тогда «жигуля», отец малого мальчика и молодой светловолосой жены, не мог налюбоваться на свою новую машину, скрыть гордость машиновладельца, все норовил он взлететь на своем боевом коне в гору, заехать в такие места, где и грузовику не пройти.

И вот загоняет он своего изношенного «жигуля» в гараж, а сзади него являются два солдата, протягивают консервную банку, просят бензина — завести какой-то дизель. Женя откликнулся на просьбу без раздумий и подозрений. Открыл багажник машины и только наклонился, чтобы взять

канистру, как сзади его ударили топором по голове. Он еще вскинулся, обернулся, и его рубанули второй раз.

Два солдата, два дезертира, подавшись в бега, жили на дачах — тут их не найдешь. Пожили они и в домике писателя Куренного, все тут приели, припили и решили овладеть машиной хозяина — раз уж писатель, то у него и машина должна быть соответствующая, не менее чем «хонда» или «фольксваген». Но их устроил и древний «жигуленок», на нем они отвезли труп в ближайший лес, неглубоко прикопали и поехали колесить по земле.

Глянешь на нашу дорогу, везде менты маячат пеше и омашиненно, палками машут, но на дороге вольно и безнадзорно. Убийцы проехали всю Читинскую область на всем тут известном «жигуленке», милиционеры тоже, видимо, думали, что писатель непременно должен ездить на иномарке.

Тем временем дома поднялась тревога, и сын Жени успокаивал мать: мол, папа у нас умеет постоять за себя и все умеет, что надо уметь мужику.

Но против подлости и сильный бессилён.

Поехали на дачу, в ней погром, и не простой погром, но с презрением ко всяким там интеллигентам, тем более писателям. На столе Жени лежала незавершенная рукопись, так два высокоумных, хорошо нашей злой действительностью подготовленных беглеца топили рукописью печку, брали с собой машинописные листы в туалет, подтирались ею, хотя там на веревочке и висел рулончик туалетной бумаги. Я вижу, явственно вижу, как они, ослабившись от удовольствия, зачитывали друг другу листы рукописи перед употреблением, шутовали небось: не каждому, мол, повезет литературным произведением задницу подтирать. Но они вот сподобились.

Их задержали уже в Иркутской области, в узком месте над Байкалом, возле туристической базы «Листвянка». Тут много бывает иностранных туристов, и, следовательно, милиция бдит, проверяет едущий народ более внимательно.

Женя, Евгений Евстафьевич Куренной, пролежал в земле полмесяца. Подонки сразу сознались во всем, указали место «захоронения». Но ни на суде, ни до суда ни в чем они не раскаялись, ничего особенного не переживали, угрызений совести не испытывали. Да и о чем переживать-то? Наоборот, внутреннее торжество испытывали — не кого-нибудь, но писателя угрожали, не каждому солдату так повезет.

Получая письма с угрозами выковырять мне последний зрячий глаз, уцелевший на войне, от злобствующего быдла и читая оголтелые статейки отставников в красноярской патриотической газете, самозвано поименованной народной, о том, что они, патриоты, как только вновь завладеют властью, всех неугодных им людей на лесоповал пошлют (редактор газеты — бездарный и подлый писака, оголтелый демагог — сулит лично меня наказать строго за строптивость и непочтение к нему и к коммунистам), — я ничему уже не удивляюсь. Да и как удивляться, если общество, пройдя лагерную выучку, а лагерем была вся страна, творит не просто преступления, но преступления изощренно-эстетического порядка.

Одновременно с известием о гибели забайкальского крепкого мужика и писателя Куренного пришло письмо из Ялты от моего сокурсника по Высшим литературным курсам, инвалида войны, поэта, и в письмо вложены вырезки о том, какой беспредел творится в Крыму, где много доступного по цене вина. Вином здесь, в знаменитой «Массандре», и зарплату давно уж выдают. Один обалдевший от запоев молодой человек отрубил матери голову, пришел с ней на дискотеку танцевать, второй — за то, что девушка, гулявшая с ним, не пошла за него замуж, убил ее зверски, сделал из черепа убиенной пепельницу и держал на столе для повседневной надобности.

Многие, наверное, видели по телевизору, как сочинскую красавицу Элю Кондратюк облил серной кислотой смеющийся себя называть человеком оглодыш за то, что девушка не согласилась стать его женой или лю-

бовницей. Он изуродовал ее прекрасное лицо, выжег глаза. Быть красивым и умным вообще сделалось опасно, невозможно жить на нашей земле — в разных концах России подобным образом изувечено уже пятнадцать девушек, чаще всего победительниц того или иного конкурса красоты, а газетенки профашистского толка подбавляют злобы, призывают к насилию.

Когда-то гений наш Гоголь Николай Васильевич от бездушия и безвыходности воскликнул: «Скучно жить на этом свете, господа!» Николай Васильевич и в дурном сне не мог представить, что на этом свете жить делается не скучно, а страшно — до того, что живые начинают завидовать мертвым.

23 — 24 мая 2000.

ХУДОСЛОВИЕ

Когда-то, уже давненько, занесенный прихотливыми творческими ветрами, я побывал в Петровском Заводе, в том самом, где с 1830 года отбывали ссылки декабристы и вместе с ними маялись их жены, Великие русские женщины.

Естественно, я попросился сводить меня на могилы декабристов, погребенных на высоком полуголом холме. И на кладбище я пережил одно из страшнейших потрясений в своей жизни, когда на могиле княгини, одной из первых ринувшейся в беспросветную Сибирь того времени, на могильной плите, прикрывавшей прах ее и маленькой дочки, прочел крупно, кричаще начертанное мелом слово «блядь».

Тогда же возникло у меня зудящее желание написать киносценарий по воспоминаниям Марии Волконской со всенепременным условием, чтобы кинодействие начиналось наездом камеры на древнюю могилу и во весь экран кричало бы это непристойное слово на святой могиле русской героини в незатрепанном при советской власти значении этого слова. Но в то время ругаться можно было только молча, даже любимую партию материть можно было только про себя.

Разумеется, ни одна целомудренная, соцреализмом овеванная киностудия, прежде всего периферийная, такой моей дерзости не восприняла, а иначе я не видел и не хотел начинать свою новаторскую затею, и дело мое, кинодебют мой во мне замерли и скончались.

Когда вышел на экраны кинофильм «Звезда пленительного счастья», я сначала смотрел его с какой-то долей ревности, и он мне не нравился, в первую голову название его, оно мне казалось и слишком красивым, и слишком выпенненным. Но вот недавно посмотрел я этот фильм в шестой раз уже по телевидению и почти весь фильм проплакал. Стар стал, слаб на слезу. Но кабы только это. Невольно я сравнивал людей прошлого с нами, и мне все более и более становилось жалко нас. Да, мы далеки от того времени, да, в кинодействии заняты наши замечательные артисты и прежде всего артистки, да, декабристы — это сливки прежнего общества, наиболее просвещенная и по-божески воспитанная его часть, и все же, все же...

Не покидало меня ощущение, как мы далеки не от времени, а от тех людей, как мы одичали в сравнении с ними!

Когда-то, будучи подростком и читая все, что попадало в руки, выбо-ру-то не было, я где-то прочел о том, что, увидев в руднике мужа, закованного в цепи, его жена Мария Волконская упала на колени и поцеловала эти грязные, ржавые, мокрые цепи. Для юноши, жившего в то время в гибельно-ссылных местах, это было не меньшим потрясением на всю жизнь, чем при прочтении поганого слова, нанесенного на могилу моим современником, скорее всего, тоже юным оболтусом, не понимающим, что он делает, чего творит.

И всякий раз, смотря фильм о декабристах, я с нетерпением, с нарастающим трепетом в сердце жду того момента, тех кадров, когда молодая женщина падет на колени в грязь рудника и прижмется губами к цепям. И с каждым разом постигает меня все большее разочарование. Нет, нет, ни режиссер, ни актриса, ни оператор, ни осветитель и никто, никто прочий в этом не виноваты. Просто прошло много лет, наступили другие времена, и я вместе с ними сделался другой. Нет уже пылкого воображения, погасла вспышка любви, боли и сострадания во мне, все улеглось на дно души, погрузилось в вязкую тину буден. И если б это было со мной одним, то и Бог с ним, со мною-то, нет, качественно изменилось не только население России, но и всего подоблачного мира. Не кино, не княгиня-артистка худо нам показывает вершинный взлет чувств, небесное парение духа и земного подвига, это мы, усталые от невзгод и гонений, от голода, войн, братоубийства, самопоедания, разучились ценить высокие чувства, видеть святость любви, мы, мы стали черствей, бесчувственной, хуже...

Вот хлюпают в кинозале мои современники, оплакивая славных людей с давно тоже погибшего «Титаника» и самоотверженно отдающего свою жизнь возлюбленной угловатого в неуклюжей и чистой любви своей юношу. И никто, никто из них не помнит, весь мир забыл, что подобная трагедия разыгралась всего год назад в Балтийском море, когда на пароме «Эстония» погибло восемьсот человек, отлетело к небу восемьсот рядом живших и жизни внимавших душ. Вся страна в боли и гнев поднялась, требуя ответа за гибель подводной лодки «Курск», но на дне океана лежит «Комсомолец» и еще несколько подлодок, в эти же дни утерялся вместе с людьми грузовой теплоход в Охотском море и в Чечне гибли солдаты, старики, дети, кто о них-то вспомнит и поплачет?

Неужто горе, преступность мира затопили нас, будто «Титаник» или «Эстонию»? Неужто мы так устали от горя и страданий, что уже не чувствуем его и оттого такие бездушные, такие невосприимчивые к чужой беде, к смертям, ко крови?

А что касается «Звезды пленительного счастья», то самая жалостная, самая меня в слезу вбивающая сцена — это когда отъезжает в ссылку первая партия декабристов и под какую-то сиротски-горькую мелодию бедный возок исчезает за голым холмом и долго не может исчезнуть, а когда исчезает, за ним остается этот выжженный, блеклый холм, и невольно вспоминаются заношенные на нашей казенной бумаге древние прекрасные слова: «О, Русская земля! Уже ты за холмом».

16 декабря 2000.

Академгородок.

ЦЕНА ИСКУССТВА

Вот опять где-то прохватило сквозняком, потекли сопли, разболелась голова, морозит. Но на столе лежал незаконченный рассказ, утром с трудом разломался, сел за стол, мокро на бумагу капает, однако минут через двадцать, когда я расписался, из носу течь перестало, и голова наладилась, и настроение подавленное куда-то подевалось...

И вспомнил я, как любимый мною Великий артист сидел на каком-то пленуме, посвященном советской культуре, и кособочился, гнул, морщился, слушая трескучую болтовню тех, кого хлебом не корми, дай на трибуне покрасоваться, да еще и на кремлевской.

Я поначалу думал, что товарищ мой, артист, и сник-то от этих речей, но пригляделся и уяснил, что у него что-то нестерпимо болит, поинтересовался что.

— Спина, — выстонал он, — проклятый остеохондроз.

— Так какого ж ляда ты тут сидишь и слушаешь всю эту хреновину, у тебя ж вечером спектакль.

— И в самом деле, — словно очнувшись, произнес он и метнулся к выходу, там кто-то его начал обнимать, по-мужички тиская, и я думал, совсем доломают доброжелатели моего артиста.

В театр на Бронной я все же пришел, не надеясь, что выездной спектакль состоится, но час в час, минута в минуту, волоча пыль по изопрелой сцене, раздвинулся занавес, и начали выяснять отношения Жозефина со своим мужем Наполеоном. И время, и люди беспокойные, горячие, чуть не до драки идет у них выяснение отношений. Наполеон гремит, куда-то наверх, на магазинные ящики лезет, из которых сооружена декорация. «О Господи, — молюсь я про себя, — хоть бы эти ящики не развалились, не хрустнули и мой любимый артист, в страшный раж вошедший, не сверзился бы вниз с больной-то спиной».

Нет, ничего, ящики джжат, император за саблю хватается, довела его семейка, в особенности баба, егзливая Жозефина, до ручки, да и эти разные Фуше и Талейраны за спиной интриги плетут, денежки вымогают и лестью исходят, ну точно нынешние помогайлы русского президента в Кремле.

Хороший, хотя и трагический спектакль, прекрасно сыгранный артистами, знающими себе цену и не боящимися подмостков. Ну аплодисменты, цветы, пусть немного, небогато, спектакль-то будничным, плановым.

Мы с моим артистом договорились встретиться после спектакля и пойти к нему домой, попить чаю. Я ждал его у служебного входа, над которым светила лампочка, какие, экономя деньги и энергию, ввертывали в переселенческих бараках во время ссылок из деревень.

Долго его не было, ну разгримироваться надо, хотя обычно он играет без грима — хоть великого маршала, хоть хромого пенсионера, хоть Стеньку Разина, но какой-то пакостью в виде порошка, добытого из гнилых пенев, все же лицо штукатурят, да дело-то было не в штукатурке.

— Поклонники! — извиняясь, произнес он, появившись на крыльчке уже последним из артистов. — Будь они неладны. — А самому, чую я, нравится, что поклонники, но больше поклонницы с программками спектакля рвутся за автографами. Ну ладно, слаб человек, даже и Великий артист не без этого, честолюбие, как известно, давно движет миром.

Он стал запахивать пальто, поправлять на шее теплый шарфик, и тут я заметил на его лбу горохом выступившие капли и забеспокоился:

— Да Бог с ним, с этим чаем, в другой раз. Сейчас я тебя провожу домой и сам на ночлег отправлюсь.

— Нет, нет, обязательно зайдем, а это все, — утираясь кончиком шарфа, добавил он, — это все пройдет, пока мы пройдемся до моего дома пешком.

Жил он и живет на улице Бронной, идти недалеко, и за короткий путь артист мой отошел, вытаял, только присмирел и говорил мало. Еще бы! Он за того императора так наорался и наговорился, что и устал, и выдохся, и всяческие значительные слова издержал, в наших же, обыденных, какой ему интерес.

Самый большой мужичкий сюрприз ждал меня дома. Жена и дочь артиста были на даче. «Чай» он налаживал сам и с сибирским размахом настраивался на пир горой — на столе стояло плотной кучей пять огромных бутылиц водки. Поскольку сам артист давным-давно уже не принимал никакой зелью, все это предназначалось мне. И поделом! Однажды, тоже после спектакля, под разговор я у него так надрался, что пришлось ему ночью, почти наутре доставлять меня в Переделкино, вот и решил человек, что за прошедшее время запросы мои увеличились, усовершенствовались, таланты выросли.

Ужинали вареной картошкой с жареными грибами, их он с базара привез. С больной-то спиной, да по базару с кошелкой таскался Великий артист. Э-эх, жизнь наша бекова, отделал бы ково, да некого!

Я выпил рюмку или две, хорошо, к душе, поел и, как ни противился хозяин, начал с ним прощаться.

— Да ты что торопишься-то? Я еще часа два-три буду отходить и усну не сразу, почитаю, уж под утро за меня вплотную возьмутся мои болячки. Да, что сделаешь, профессия такая...

Да, профессия творца. На старости лет и я познал все прелести ее, и могущество, и слабость, и счастье сотворения, и горечь поражений. Уже пятьдесят лет мучаю бумагу, а она меня.

15 декабря 2000.

Академгородок.

СКОТОУГОНЩИЦА

Внучка моя, Полина, маленькая шустря была и смекалиста не по возрасту. Всем соседкам и соседям, а это давние пенсионеры, она, как выйдет поутру, неизменно говорит: «ЗдлЯствуйте. Как ваше длягоценное здолёвье?» А об здоровье, да еще и драгоценном, никто наших стариков давным-давно не спрашивал, поклониться ж — спина переломится, они все повально млеют, всю девчущку поцелуями обмуслякают, печенюшку вынесут либо ягод в горстку насыпят, в гороховую грядку пастись запустят, она и жалуется окрестному населению: дедушка ее на реку не пускает и чуть чего орет «неряха», «грязнуля», а она хорошая девочка и к тому же ряха.

Старухи ко мне с претензиями:

— Чё уж ты, Виктор Петрович, со внучкой-то так строго обращаешься? Одна она у тебя и сирота к тому же.

Особенно возлюбила малая хитрованка ходить за Фокинскую речку, где под горой, возле огорода и речки, в маленькой избушке коротала свои последние годы моя одинокая, слепая тетка Августа. Вот с жалоб на одиночество и начиналась беседа старой да малой.

— Не ходят, Поленька, не проводят меня, одна вот только ты и навешашь. — Было это совершеннейшей напраслиной, и ходили, и навещали мы слепую старуху, и гостинцы ей нам доступные несли. Из этих гостинцев Августа, или тетя Гутя, как ее все звали, велела девчущке взять пряничек и конфеток.

— Мне неззя, — заявляла дипломатичная гостья.

— Да пошто же нельзя-то, маленькая ты моя?

— У меня аленьгия.

— Да как така аленьгия, что ты говоришь? В ранешные годы вот золотуха была, дак никто из наших ею не болел. Тятя мой здоров был и сотворял нас без всяких аленьгиев, более десятка сотворил. А мама, любимая бабушка твоего деда, Катерина Петровна, о которой он все пишет, и чего-то наплетет-наврет, где и правду скажет, мне тут вслух Капа, дочка, читала, дак я обхохоталась... Дак вот мама моя люблю хворь, а уж аленьгию-то запросто, бывало, заговорит, травкой вылечит. Все она травки знала, все-ее...

Так вот старая, радуясь собеседнице, толкует с нею, но той уж и след простыл, она уж в огороде, малину с кустов щиплет либо в горох заберется — огород садили и обихаживали сын Августы глухонемой Алеша и дочь Капитолина, которую я с детства зову Капалиной.

По-за огородом тетки, на лужку все лето пасся телок инвалида ВОВ, как он себя называл, Андрухи, живущего через дорогу от Августиного домишка. Польшка и с теленком побеседует, обнимет его, родимого, за шею, гладит по лбу с белой проточиной и говорит о том, что дед на нее орет, на Енисей одну не пускает, вечером же ставит в таз с горячей водой и моет царпкой-мочалкой, невзирая на ее аленьгию, она же так устает за день, что начинает дремать, еще стоя в тазу; дед мало-мало вымоет ее, хлопнет по мокрой заднице, самого бы так кто хлопал, и велит ложиться спать,

сам сядет рядом, придавит рукой и смеется потом, через минуту, говорит, мой вахтенный уже отчаливает и спит до утра не пошевелившись.

Однажды вот так душевно беседовала, беседовала малая с ласковой, безответной скотинкой, да и отвязала ее от колышка и к нашему домику привела, пасет теленка возле ворот, на нетронутой траве, Андрюха в панике мечется по соседям:

— Вот чё деется! Середь бела дня телка увели и на шашлыки, конечно же на шашлыки пустили.

— Да каки тебе шашлыки? — говорят все видящие, хоть и близорукие старухи. — Теленка твоего внучка Виктора Петровича по улице на веревочке вела.

Андрюха бегом к моему домишку и умильную картину зрит: пасет теленка сердобольный ребенок, дед ее в огороде под калиною газеты читает, ума набирается.

— Поля! Ты зачем же нашего телка-то увела?

— А деду. У вас и колёва, и теленок, и кулиси, и сябака с косью, а у деда нисево нету.

Кое-как мы вместе с Андрюхой объяснили малому человеку права на частную собственность, закрепленные всеми конституциями мира, кроме нашей, российской. Мудрость этих прав девчужка так и не постигла, со слезами выпустила поводок, зажатый в кулачишке, а мне через время насупленно заявила:

— Плястафиля ты, дед, так все бауьски говолят.

Андрюха по сю пору, как увидит меня, с улыбкой спрашивает, как там внучка-то моя поживает, скотоугонщица-то? Я говорю, что выросла и, как всякая нынешняя акселератка, прет под потолок, но прежних поползновений не оставляет, норовит к себе в квартиру привести телка на веревочке, желательно однокурсника, и побеседовать с ним за жизнь.

2 декабря 2000 года.

ВСЕЗРЯЩАЯ

Моя бабушка Катерина Петровна, царство ей небесное, рано стала понуждать меня вере в Бога. Встанет она в горнице перед иконостасом на колени и отбивает поклоны, нашептывая довольно громко и внятно молитвы, чтобы дед слышал — он как-то вяло и неактивно относился к молебствиям, а меня или еще какого-нибудь внука или внучку бабушка поставит сзади себя. Внуки и внучки ловко уклонялись от докучливого и канительного дела с молебствиями, мне же деваться некуда, я всегда под рукой.

Все повторяя за бабушкой по ее строгому велению, кладу кресты, бормочу молитвы, бухаюсь лбом об пол. Когда мне надоедает все это дело, а надоедает быстро, я начинаю придумывать разного рода уловки и развлечения, особенно если есть зритель рядом, смешу его, и ему, зрителю, прыснувшему во время молитвы, нет-нет да и достаётся оплеуха от бабушки. Тогда мне уж не только смешно, но и радостно.

Чаще и лучше других фокусов мне удавался зевок; шепчу, шепчу, кланяюсь, кланяюсь, и вот растянет мой рот до ушей, а у бабушки словно бы глаза на затылке. «Какая тебя немочь давит? Ты чего зеваешь по-коровьи? Чего косоротиться, как Авдейка-дурочок с бирюсинской заимки?» — шипит она, но чаще всего, не прерываясь и не оборачиваясь, как только я начинаю ее передразнивать и всякие разные штуки за ее спиной выделять, шабаркнет меня по уху так, что я и с колен долой. Свалюсь на пол, недоумеваю, как это бабушка все видит сзади, не иначе как Бог делает ее всезрящей.

И близок был я к отгадке истины, совсем близок — в середине иконостаса над лампадой, занеся изящную руку для благословения, красовался какой-то угодник, не иначе как Николай. Был он помещен под стекло,

которое бабушка часто протирала мокрой тряпкой от пыли и мух, на святые праздники окатывала из ковша над тазом. И вот в этом-то стекле, будто в зеркале, я и отражался, да догадался об этом не вдруг, уж во зрелости лет, но все равно до сих пор считаю бабушку всезрящей и признал-таки, признал силы небесные в облике ее любимого угодника, завсегда ей помогавшего в борьбе с богохульниками, с застарелыми нарушителями всякой божественной дисциплины и молитвенного благолепия. Бабушка зря по уху не давала.

3 апреля 2000.
Больница.

ЖЕНИЛКА

Выдавая дочерей замуж, бабушка непременно давала каждой швейную машину. Уж как они с дедом изворачивались, где какую копейку наживали и копили, мне неизвестно, но машинка под названием «Зингер» у каждой замужней дочери была. Скорее всего, сами же дочери, нанимаясь в няньки и поденщицы, на подрядах, работая в лесу и на пашнях, на пилке дров и сторожке, случайным заработком деньжонки прирабатывали и тасили их в семью, бабушка завязывала денежки в узелок и до поры до времени запирали их, прятала в недрах своего знатного сундука.

И вот одна машинка вернулась в дом — мамина. И всякий раз, садясь за нее, бабушка начинала причитать: «Да, Лидинька, да, страдалица ты моя, твою вот машинку сплатирую, свою-то пришлось променять на хлеб в тридцать третьем, голодном годе, ты уж меня, грешницу, не осуждай, безвыходно было положение, примерли бы и Витьку уморили бы, прости, доченька, прости...»

И роняла слезы на машинку, на колесо ее блескучее, на материю, которую строчила иль чинила чего. Но хуже дело было, когда бабушка садилась за машинку молча и молча плакала, темнея лицом, и гнала меня вон, хотя и знала, как я люблю смотреть и слушать, когда машинка стрекочет и шьет.

Слава Богу, в силу любвеобильного характера и говорливого ее языка, такое случалось редко. Она любила работать, рассуждая с собою самой, коль слушательница попадалась — еще лучше.

— Вот скажи ты мне, девка, чё это тако? На одного человека шьешь, все время нитка рвется, узелкам берется, машинка уросит, иголки ломат, то и дело мажь ее, а иголки ныне в городе и масло копеечку стоят немалую. — И бабушка тут же начистоту перечисляла всех ей в деревне известных граждан, на которых трудно шить и лучше имя отказать, на заказ не зариться.

Уж какие там были заказы от деревенского люда — наволочку для подушки прострочить иль занавеску-задержушку, детское платьишко, кофтенку, рденько штаны иль рубахи, но этих ответственных заказов бабушка избегала.

— Кака из меня швея-портниха! Самоуком до чего дошла, то и по руке. А ну как спорчу, чево не так и не туда пришью, чем рассчитывать за порчу? Не-ет, девка, машинка все знат и всякий характер выявит. Вот Витька у нас, уж вертопрах вертопрахом, пеерьвый коммунист после Ганьки Болтухина, а шьется на ево, мошеника, лехко. Вот тут и возьми за рыбу деньги! Серчишко-то под кожей разбойника бьется мамино, видать, добро, добро, вот машинка-то и жалет его — сироту. Штаны махом ему сшила и не перешивала ничево, не распарывала. А штаны мужицки шить, ето, девка, грамота больша нужна, ето сооружение сложно... Ну, вот я и думаю про себя-то, может, и на него, каторжанца, кака страдалица снайдется вроде Лидиньки, обладит его, огладит, приберет, человека из ево сделает...

— Я не буду жениться, говорил тебе, — тут же бросался я не первый раз перечить бабушке.

— Дак все так, батюшко, говорят, а придет пора, женилка вырастет, и побежишь, как Шарик наш, хвост дудкой задрамши, след нюхать. Иё искать.

— Ково иё-то?

- Известно ково, невесту, свою суженую.
- Не буду я искать! И кака это женилка? Где она вырастет?
- Как вырастет, я велю, штобы твой любимый дедушко тебе показал.
- А ты?
- Мужско это дело, батюшко, женилки показывать, мужско.
- Ага, ага, — продолжал я интересный разговор, — а Шарика кобели

вертят.

— И тебя будут вертеть, как без этого. И насшивают тебе, и синяков наставят. Видал, воробьи во дворе как пластаются и петухи, даже быки бо-даются.

— А зачем это они делают-то?

— Кто знат? Так создателем велено, штабы кровь горячилась, штабы закалились в борьбе, как Танька наша коммунистка говорит. Отроду так повелось, батюшко. Ты вон к бобровским девкам ластишься, особливо к Лидке, думаешь, здра?

Я думал долго и озадаченно:

— И деда дрался?

— Дрался, батюшко, дрался. Да ишшо как. Он си-ыльной был, как кому даст, тот и с копыт долой. Ну, я, штабы он всех не перебил, скорее за него замуж и вышла.

— Врешь ты все, меня просмеиваешь.

— Вот тебе и врешь! Поди да у деда свово любимого и спроси, как у имях, у парней-то, было. Может, он ишшо помнит.

Я отправлялся к деду и приставал к нему с расспросами, правда ли, что он всех парней в деревне валил одним ударом и как бы мне тоже научиться так же делать.

— Наболтала ведь, наплела, — сердился дедушка, — забиват робенку голову чем попало.

Я приставал к деду, чтоб он посмотрел, не выросла ли у меня еще женилка. Он, мимоходом глянув, огорчал меня:

— Не-е, ишшо токо-токо прочикивается, намечатца токо, — серьезно отвечал дед, — да ты не торопись, в срок свой все будет на месте, честь честью. И твоя доля тебе не обижит.

Но я и без деда с бабой самоуком дошел, от добрых людей узнал и про женилку, и про долю, только никогда деду с бабой не говорил про это, стыдился своей догадливости и осведомленности своей до самого последу, недолго, правда, сопротивлялся и твердил себе: «Не буду жениться!» Ан никуда от этой напасти не денешься, отросла женилка, и побег я след нюхать, и заухажерил, и запел, и допелся до того, что сам не заметил, как сделался женатым, да и детей нечаянно сотворил инструментом под древним названием «женилка».

КЕТСКИЙ СОН

Озеро Кетское находится в двадцати верстах от Игарки. Помню, как, еще в детстве, возле центрального универсама, опустив головы, стояли олени с закуржавелыми мордами, запряженные в нарты, с гладко обструганными хореями, брошенными на какие-то шкуры и манатки. Когда узкоглазых парней или широколицых женщин спрашивали, откуда они, а те, опустив почему-то глаза, тоненько и застенчиво отвечали: «С Хетского озера, бойе, с Хетского озера», — нам казалось Кетское озеро такой запредельной далью, будто с того света явились люди в сокуях с пришитыми к ним меховыми рукавицами. И как только живьем добрались?!

И вот много, много лет спустя на вертолете летим мы компанией на Кетское это озеро. Не успели обседеться, железное или пластиковое место обогреть, услышать информацию о том, что давно на этом озере не стоят кето и нганасаны куда-то делись, рыбацкая залетная бригада работает здесь второе лето, до этого был запрет на десять годов.

— Сон тут, кетский сон, — прокричал начальник рыбокооп.

Вертолет наш тем временем сделал круг над Игаркой, когда-то молодым, бойким городом, который напоминал мне сейчас селение, подвергшееся многим свирепым бомбардировкам. Винтокрылая машина скользнула тенью по песчаному острову в исходе Губенской протоки над желтыми опечками, шляпками грибов выступившими из воды, над лепехами рыжих плешин в болотном прибрежье и начала правиться в сторону от Енисея. Сразу во всей красе увядания расстелилась понизу осенняя смиренная тундра, всегда мне напоминающая молодую солдатскую вдову, только-только вкусившую ласкового любовного тепла, радости цветения, порой, даже и не отплодоносив, вынужденную увядать, попрощаться с добрым теплом и ласковым летом.

Еще и румянец цветет на взгорках меж стариц и проток, перехваченных зеленеющим поясом обережья, сплошь заросшие озерины, убаяканные толщей плотно сплетающейся водяной травы, не оголились до мертво синеющего дна, еще и березки, и осины не оголились до боязливой наготы, не пригнули стыдливо колен, не упрятали в снега свой в вечность уходящий юношеский возраст, еще и любовно, оплеснутые их живительной водой, багряно горят голубичником холмики, сплошь похожие на молодые женские груди, в середине ярко горящие сосцами, налитые рубиновым соком рябин, еще топорщится по всем болотинам яростный багульник, меж ним там и сям осклизло стекает на белый мох запоздалая морошка и только-только с одного боку покрасневшая брусника и клюква, но лету конец.

Конец, конец — напоминают низко проплывающие, пока еще разрозненные облака; конец, конец — извещают птицы, ворохами взмывающие с кормных озер, и кто-то, увидев лебедей и гусей, крикнул об этом; конец, конец — нашептывает застрявший в углах и заостровках большого озера туман, так и не успевший пасть до полудни, лишь легкой кисеей или зябким бусом приникший к берегам.

А озеро-то, большое, разветвленное, и есть Кетское. Мы проходим низко над зарослями кустов и осокой осененным берегом, устремляемся к другому берегу, серыми песками обрамленному, плюхаемся на обмысок, как бы золой осыпанный от давних еще, кетских, нганасанских, отгоревших очагов.

Нас встречают дружелюбно лающие собаки, щенки, откуда-то, из каких-то недр выкатившиеся, восторженно визжа, прыгают на нас, от радости мочат сапоги.

Из старого, почерневшего до угольной теми строения выходят два заspanных мужика, жмут наши руки. Строение это, скорее берлога, осталось тут от когда-то живших северных инородцев. Здесь издавна заведено со всеми гостями непременно обмениваться рукопожатиями.

Хозяева спрашивают, варить ли уху иль гости обойдутся солениной? И скоро на столе, вкопанном в берег, нарезают нам соленого чира, гости, естественно, достают бутылку. От дальнего, в туман вдавившегося берега летит к нам лодка, и кажется, взбирается она на водяной бугор, стеля на стороны два белых крыла.

Бригадир был на ставных сетях, не успел их все вытрясти, но и то, что он привез, внушало: на подтоварнике лодки горою и вразброс лежали дородные белые чирьи, основная ценность Кетского озера, ползали по лодке, били хвостами огромные щуки со сплошь канавами провалившимися животами.

— А жрать-то имя нечего, — пояснил бригадир. — За десять-то лет они выели, что могли. Сороги почти нет, ззя тут сроду не бывало, окунь стаями ходит, в речных притоках прячется. Хищник тут своего брата рубает, оттого и тощ. Окунь-то с травки чего ухватит иль со дна подымет, щуке горе, как лагерник тюремный, чего сопрет, ухватит, то и слопают.

Бригадир же сказал мне, разматавшему удочки и наладившему спиннинг, что едва ли я чего изловлю — три дня бил озеро шторм, рыбешка, годная для ужения, вся отошла вглубь, попряталась в траве и в горловинах речек, но вообще-то окунь тут здоровущий и жадный, может, какой и возьмется.

С неразговорчивым, в странствиях потасканным рыбаком я поплавал по озеру, в устья глубоких и непроточных речек заходили, нигде ни гугу. Тогда я попросил рыбака заглушить мотор, и пусть ветерком нас несет к становищу.

Где-то высоко и далеко взошло солнце, уже устало, сморенно пригревая эту неласковую, но до щемящей боли любимую северную землю, и это озеро, в себе виновато притихшее после шторма, и эти как бы золой осыпанные берега, до глади волной промытые пески. Невысокие, кудлатые от мхов, ягодников и багульников, подбитые волной берега, с которых, искрясь мокром, свисает радостный красный брусничник.

И тишина, тишина. Боже, как, оказывается, человек истощился от шума, гама и лязга городского, как сердце его усталое радуется первозданной тишине, еще умеет радоваться.

На отмелях, в траве и песках роются утки, поплавками заданных задов усеяв побережье. Серухи, шилохвости, связы совсем не боятся лодки. Отплывая нехотя в сторону, ворчат: «И чего плавают? Чего есть не дают? Штормина три дня был, брюхо подвело, а они тут расплавились!..»

Лодку нашу нанесло на густую заросль осоки, из нее на гладь брызнули и по воде побежали гоголята, аж мать обогнали. Эти поздние птицы еще только-только встают на крыло, им и поразмяться в радость, бегут, ныряют, пугая друг дружку, мать их на ум наставляет: «Так, дети, так!»

Возле стана женщины угостили нас ягодами, мы с сыном зашли в помещение погреться. Сын вообще плохо себе представлял рыбацкий стан, тем более северный, тем более жилище, чуть упочиненное после того, как оно десять лет пустовало. В жилище и пола-то почти нет, весь он врос в землю, стены — рухлядь, их прикрывают шкуры, в основном оленьи и собачьи, стена, что к яру, и вовсе в землю вросла. Постели из старых общежитских матрацев и тлелых одеял. Необходимо живут мужики, зато топят жарко. В гнилом, прелью пахнущем жилище дышать нечем. Дрова сюда доставляются вертолетом. Уж чего-чего, а дров дармовых в Игарке всегда было полно, сейчас тем более, пустеет, гниет город, жгут его со всех сторон, когда за рыбой летят на озеро, забивают вертолет дровами да продуктами.

— Н-ну и бичевник! Как в нем люди-то живут?

— Ничего, живут себе и живут. Тепло, почти сухо. А представь себе, вот эти три штормовых дня коротать у костра иль в шалаше? То-то, парень.

На обратном пути шли мы низко и с озера подняли лебедей, гусей, мошкой роящихся уток, и я подумал: «Птицы вы мои милые, скоро отлет вам, и вас только в Красноярске ждет сто тысяч зарегистрировавшихся охотников и тучи незарегистрированных, диких стрелков по всей Руси, да и по всему, вам враждебному, миру. Кормитесь, милые, гуляйте, летайте. Здесь, где еще царит кетский сон и земная благодать».

Когда мы уплывали из Игарки, огибая мыс Полярного острова, в ту сторону, где за короткие дни почти отплыли леса, где еще пространственной покоился северный простор, глубже и глубже погружаемый в печальную тишину осени, я подумал: «Прощай, Кетское озеро! Прощай, кетский сон. Суждено ли мне еще раз внять тишине этого прекрасного мироздания?»

25 мая 2000.

НА СОН ГРЯДУЩИЙ

Над рекой и над горными хребтами туман. Космато, растеребленно поднимается вверх. Быть и быть еще дождю. «Унылая пора, очей очарованье...» Лучше нашего гения не скажешь, точнее его состояние души не выразишь.

Я один в деревенском доме. Натоплена печь, сварена каша, делать ничего не хочется. Грустные воспоминания подтачивают сердце, и все они там, в прошлом. Война уже давно не снится и редко вспоминается. А если и всплывет в памяти, то как бы где-то в другой жизни, и все, что было

там, происходило с другим человеком. Прекрасное свойство человеческой памяти — забывать плохое и приближать, помнить хорошее, душу грустно успокаивающее...

Что же самое хорошее было в моей жизни? Лес, тайга, бесчисленные хождения по ней. Конечно же с ружьем. Я был плохой стрелок, и меня «кормили» ноги. Чтобы что-то добыть, я должен был много, много бродить по тайге. После войны я «боялся» большой крови, и самым сподручным зверем был для меня рябчик, редко тетеря и еще реже утка.

Я стеснялся неуклюжести в стрельбе с левого плеча, зрение правого глаза я потерял на войне и потому предпочитал бродить по тайге один. Там, в тайге, и сочинительство начал. Уж очень много видел и пережил в тайге такого, о чем хотелось поведать другим людям, раз они этого видеть и пережить не могут.

Рябчик — птичка боровая, он выше леса не летает и на зиму остается дома, только окрасится перед зимою в рябовато-стальной цвет, «наденет штаны» и уединится в уреме. Зимою я добыл всего несколько рябцов, в основном я на них охотничал осенью, зимою рябчик прячется в еловых крепях, спать стайкою падает в снег и вылетает на кормежку, пощипать березовых почек иль растеребить ольховые сережки, в ясный день, перед закатом чуть греющего солнца.

Осенью рябчик сперва держится возле покосов, полян и лесных кулижек иль на ягодниках брусники, рябины, иногда счастливой паре повезет уродиться возле деревенских хлебных полей, но здесь выжить любопытной птахе тяжело — собачонки, ребяшня, старые охотники то яйца вытопчут, то птенцов сведут, то и самого «жеребца», как зовут рябчика в Енисейском районе, завалят возле поскотины.

Его, рябца, любимая обитель — старые просеки, забытые дороги, покинутые вырубки. Идешь сентябрем по просеке, где прежде проходила телефонная линия на лесоучасток, по обе ее стороны рядами алеют кустарники, и ярче всех горит рябинник, идешь, будто по улице во время праздничной демонстрации, обочь тебя и впереди — все красно. Я бывал в странах, где круглый год лето и все зелено, и уяснил, что те земли мне не полюбить, не прижиться в них. Одно ожидание вечной весны для русского человека чего стоит! Да если еще живешь в Сибири, где зима так длинна и люта, если весь истоскуешься по теплу и зеленой траве...

Ценно то, что редко дается и долго ждется.

Я люблю весну с босоногого детства, с игр в бабки, в лапту на поляне, но вспоминается чаще и шемливей в сердце все же осень с ее пестрым празднеством и грустным расставанием с летом и теплом...

Когда трудно засыпается, а с годами это становится навязчивой и почти больной привычкой, я воскрещаю в себе прошлые видения. Вот неторопливо иду я по лесу, чутко вслушиваясь и всматриваясь в глубь его, замечая всякое в нем движение, взлет, вскрик, наутре лесной птичий базар. Всякий выход в лес, есть погода или нету, праздник, ожидание чуда лесного, удачи, обновления души, которая только тут, в глуби, в отдалении от современного шума и гама, обретает полный, глубокий покой. Иду, иду — и сердце мое изношенное, больное тоже, успокаивается, гуще лес, тише даль, наплывает сон.

О тайга, о вечный русский лес и все времена года, на земле русской происходящие, что может быть и есть прекрасней вас? Спасибо Господу, что пылинкой высеял меня на эту землю, спасибо судьбе за то, что она сделала меня лесным бродягой и подарила въяве столь чудес, которые краше всякой сказки.

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

*

ДОЛГОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Ящерка

У губчатой соты заглохшей кавказской осы
над сонной артерией береговой полосы

лукавый глазок, а под ним допотопный оскал
сверкнули, мелькнули и юркнули в скальный прогал.

В пещере сочатся прозрачные кварца сосцы.
Халвою крошатся слоистого камня резцы.

...Напомнила ящерка нам про грядущие дни,
когда по теснинам зависнут скрипучие пни,

когда ее мышцы оденутся плотью сполна
и хищные лапы смиренно омоет волна.

Фирюза

В опальной зелени Туркмении
гранаты бурые поспели.
Рассохлись хижины в селении,
как глиняные колыбели.

Сонливо ослики сутулятся
услужливые у чинары,
когда мелькают в пекле улицы
пугливо яркие шальвары,

скрываясь за ковровым пологом
во тьме шалмана ли, духана,
откуда тянет пряным порохом
просыпанного там шафрана.

Пятнадцать лет, поди, красавице,
в гарем какого-нибудь шаха
ей скоро предстоит отправиться.
От ожидания и страха

Кублановский Юрий Михайлович родился в Рыбинске в 1947 году. Окончил искусствоведческое отделение истфака МГУ. С 1982 по 1990 год — в эмиграции. Автор лирических сборников, вышедших в США, Франции и России. На страницах периодики выступает также как эссеист, публицист и критик. Живет в Переделкине.

в ее глазницах виноградины
 свернулись в черные кровинки.
 И греют маленькие гадины
 свои серебряные спинки.

На заставе

1

По теснинам ежевичник
 переспел; и вот
 загорелый пограничник
 скалит черный рот.

За узду привязан к вышке
 азиат-скакун.
 Горизонт подобен вспышке
 сладострастных струн.

В знак восточных наслаждений,
 словно дынный сок,
 по колючкам заграждений
 пробегает ток.

Притаился где-то, ибо
 взял успешно след
 ваххабита и талиба,
 хитрый моджахед.

Всё звенят ветра-скитальцы
 в руслах древних рек.
 И не в силах тронуть пальцы
 воспаленных век.

...Рядовой подвержен сплину,
 зад провис что куль.
 Но рванись с холма в ложину —
 цокнет вслед
 и пустит в спину
 ленту жгучих пуль!

2

Драпировки темной тверди.
 Жухлая трава.
 Дуновенье сонной смерти,
 значит, смерть — жива.

Веси знойного тумана.
 Бежевая синь.
 Вместо воздуха дурманнный
 запах спелых дынь.

Где-то, спрятавшись за глыбу,
 противостоит
 моджахеду и талибу
 хмурый ваххабит.

Это их во время оно,
выйдя на крыльцо,
рядовой с погранзаслона
опознал в лицо.

И тотчас его сморили
миллионы лет,
и шепотью желтой пыли
стал его скелет,

с пряным запахом шафрана,
через блокпосты
уносимой

до Афгана,
где темна одежд сметана
и пески пусты...

В пустыне

Гигантский козырек скалы опущен низко
над цветущей чащей тамариска
с мелькнувшей ящеркой, уснувшей на ходу,
как будто близок срок, когда к тебе приду,
осевшим голосом поведать не умея
про бледный тамариск и маленького змея.

Холмы и впадины слабеющей пустыни
с боков потрескались подобно коркам дыни.
Колючки крошечной жесток укус в пятю.
Соленый суховея на веках и во рту,
где высохший язык устал просить поблажки,
но нечем окропить его из мятой фляжки.

Над дремлющей землей приподнимая полог,
на миллионы лет здесь счет ведет геолог.
Но так белёс зенит и неизменен час,
что, кажется, хитрец обсчитывает нас,
спортивной кепочкой прикрыв нагое темя,
тасуя бытие и подгоняя время.

Сумерки в сентябре

Н. К.

Сумерки в сентябре
долго не зажились:
с астрами во дворе
по существу слились.

Наглухо застегни
пуговицы плаща.
Вон по шоссе огни
бегают, трепеща

перед постом ГАИ.
 Но — тишина окрест.
 Вслушиваюсь в твои
 хроники здешних мест

и по обрывкам вновь
 жадно воссоздаю
 сбивчивую любовь
 истовую твою.

Не то чтобы я хотел
 скулить о минувших днях
 с видением ваших тел,
 сближающихся впотьмах,

но разве тебя одну
 без навыка и снастей
 отпустишь на глубину
 нахлынувших вдруг страстей?

При играх теней на дне,
 пугливом огне свечей
 там каждый, как рыба, не
 хозяин своих речей...

То-то березы над
 мокрой дорогой той
 к дому через посад
 вянут и шевелят
 проседью золотой.

Живем на казенный кошт
 судьбы; в мировой пыли
 Медведицы тусклый ковш
 вот-вот зачерпнет земли.

Старые книги

1

Зимнего грунт окна
 с оттисками соцветий —
 то-то же не видна
 смена тысячелетий.
 Словно на полюсах
 срезаны эдельвейсы.
 В тряских автобусах
 междугородних рейсы.

Скинешь, в пути устав,
 с косм капюшон в передней.
 Сходство твое с Пиаф
 станет еще заметней.
 Зимние дни темны,
 темные, мимолетны.
 Сбивчивы птичьи сны
 и высокочастотны.

2

В толщу теперь окон
с уймой рубцов, насечек
заживо вмерз планктон
здешних проточных речек.
Стало быть, после вьюг
с крыши сойдя, лавина
снежная рухнет вдруг
прямо на куст жасмина.

Оползням старых книг
что-то тесно́ на полке —
эпос не для барыг,
а о беде и долге.
Чтения букварей
наших былинных дедов,
словно любви — скорей
не оборвать, отведав.

Пробуждение

Как-то проснулись утром зимой
словно в алмазном фонде с тобой.

И в кристаллической блестящей росе
чащи бурьяна белые все.

Словно живем — без загляда за дверь —
до революции, а не теперь.

И по-леонтьевски все подморожено
в нашем отечестве, как и положено.

Скоро ты станешь, открыв косметичку
с темной помадой, похожа на птичку.

Я же, один оставаясь в дому,
в руки разбухшую книгу возьму:

старый роман про семейный обман
и стационарный дымный туман,

что маскирует въезд в города
в двадцатиградусные холода.

Так что в родном мезозое, вестимо,
всё, что рассудком пока не вместимо —

наших касаний беззвучную речь
можно, казалось бы, и уберечь.

Но ничего не останется — кроме
днесь твоего неприсутствия в доме,

ревности к прежнему, гари свечной
и простоватой рубашки ночной.

12.XII.2000.

Ночь в Ярославле

Громады лип завороженные
на набережных и откосах.

Дороги не освобожденные
от многосуточных заносов.

Ну, разве проскрипит топтыгинский
возок опального Бирона

да просвистит далекий рыбинский
состав в минуту перегона.

В наполовину обесточенной
стране при общей задаче

живу, как шмель на заколоченной,
ему принадлежащей даче.

И спят окрестные безбрежные,
непроходимые от дома

в алмазной крошке дюны снежные
вплоть до щетинки окоема.

Но суждено как заведенному
сюда по жизни возвращаться,

парами воздуха студеного
на волжской стрелке задыхаться.

Где залпы красной артиллерии
выкашивали богоносца

после падения империи,
теперь лишь звездочки морозца

подбадривают полузримые,
когда держу тебя под локоть

и наша жизнь необратимая
покуда не земля, не копать...

Не надо вслед за обновленцами
нам перекрещиваться снова.

Мы остаемся ополченцами
не всеми преданного Слова.

3.1.2001.



АЛЕКСЕЙ ЗИКМУНД



ГЕРБЕРТ

Повесть

Герберт сильно уставал от разговоров с родными. Когда бабушка начала рассказывать об отце, становилось ужасно скучно оттого, что все это он уже слышал не раз. Остановить бабушку было просто невозможно. Например, нужно было закашляться, притвориться, что у тебя спазмы, или уронить этажерку, или что-то разбить — чашку, тарелку, — совершить поступок из ряда вон выходящий — свистнуть в комнате, например. Герберту очень не нравилась сугубая конкретность событий, вращающихся вокруг него, не нравилась уютная чистота кухни — от нее веяло пустотой. Он любил старые карты, дуэльные пистолеты и тонкие рапиры, — все это когда-то принадлежало дедушке Герберта — тот был адмиралом.

Если бы мы имели возможность посмотреть на Герберта со стороны, скажем, через окно или через шелку в двери, то, верно, сочли бы странным нахождение этого хрупкого мальчика в комнате старого адмирала. На вид Герберту можно было дать лет десять — двенадцать, на самом же деле ему было почти четырнадцать. Матери он почти не помнил, но знал, что она была не дворянского рода и по национальности мадьярка, да к тому же еще и актриса оперетты. Бабушка не могла погасить свою неодолимую ненависть к невестке — она называла ее ветреной. Герберту еще трудно было найти конкретное определение этому слову, но он чувствовал, что это нехорошее слово.

Бабушка — высокая худая старуха с длинным лицом и сухими руками, сплошь покрытыми густой сеткой морщин. В кабинет деда Герберт, как правило, заходил поздно вечером; он смотрел в черный проем окна, глядел медные и бронзовые предметы, стоящие на столе; ему казалось, что эти вещи, созданные на рубеже веков, отдают ему свое тепло, накопленное за долгие годы. Медные чернильницы, тяжелые каменные стаканы для карандашей, неуклюжий квадратный пресс с головой орла были бастионом на поле условных сражений с сутью реального.

До десяти лет он занимался только с учителем, затем был зачислен в третий класс гимназии. С упоением вспоминалось лето перед началом учебы, такое пасмурное и холодное, но такое счастливое. Герберт катался на маленьком пони в поместье фон Зайца, в то время как старый Зайц, друг деда, рассматривал перелетных птиц в большую подзорную трубу, поставленную на треногу. Фон Зайц содержал целый выводок маленьких пони, к концу лета они очень привыкли к мальчику, и если Герберт ехал на каком-то одном, остальные табунчиком ходили за ним. На территории по-

Зикмунд Алексей Константинович родился в 1959 году в Москве. Окончил исторический факультет МГУ. Автор нескольких книг прозы.

«На сегодняшний день, — отозвался Милан Кундера о прозе А. Зикмунда, — состояние европейской литературы таково, что о большинстве авторов и писать не хочется. О Зикмунде хочется написать, но лучше о нем не писать. Лучше его прочесть».

местья была расположена молочная ферма. Так что к концу лета Герберт сильно поправился и стал напоминать портрет юноши времен средневековья. От матери он унаследовал смуглость и большие зеленые глаза. По вечерам, когда исчезало солнце, а синие сумерки разворачивали бесконечную, с каждой минутой темнеющую ткань, он вместе с хозяином поместья рассматривал старинные гравюры: лица китайок и мандаринов расцветали при электрическом свете, приобретая черты потусторонние, словно то были персонажи из волшебного мира мертвых.

На ферме Герберт вставал рано. В комнате, где он жил, вовсе не было занавесок, и солнце всегда одинаково будило его: сначала только легкий блик света трогал угол подушки, а через несколько секунд золотая солнечная шпага ударяла в переносицу и ослепляла. Перед его приездом фон Зайц специально снял занавески в мансарде, чтобы молодой гость подолгу не залеживался в постели. Утром Герберт спускался вниз и шел в хозяйственную часть фермы, где под навесом механик Франц уже возился с трехколесным «катерпиллером».

Через некоторое время Франц садился в металлическое кресло, Герберт устраивался рядом, и маленький трактор, кряхтя и фыркая, выкатывался в поле. Солнце уже почти взошло. Трактор катит по полю, а из большого веерообразного репродуктора, укрепленного на крыше флигеля, несетя веселая тирольская мелодия. Герберт жмурится от солнечных лучей, стоя на подножке трактора и опираясь рукой о мускулистое плечо механика. Устав стоять на подножке, Герберт соскакивает на пашню и идет следом за трактором, утопая в рыхлой земле. Но несмотря на это косвенное единение с природой, в общем-то Герберт был далек от реальности — ему не нравилась полувоенная ситуация в стране, хотя большинство подrostков было от нее в восторге.

8 июня 1936 года Герберт лежал на большой деревянной кровати в спальне отца и накручивал на указательный палец бахрому покрывала. Было позднее утро, и сегодня Герберту исполнилось четырнадцать лет. Раньше, когда в доме жил отец и была прислуга, потяни за широкий матерчатый пояс, висящий над кроватью, — и кто-нибудь приходит. От этой мысли избалованному вниманием Герберту почему-то сделалось грустно. Он привык шутя оперировать настроениями многих не связанных друг с другом людей, успокаивать или раздражать их, и в своем сознании он, как всякая свободная точка вселенной, одновременно являлся и ее центром. Было ему грустно еще и оттого, что отец находился далеко. Письма из Швейцарии в светло-синих курортных конвертах приходили редко. Герберт, жертва камерного воспитания, окруженный взрослыми людьми, души которых давно перегорели, не находил себе места. Германия крепла вне его сознания: яростные штурмовики с засученными рукавами, и в коротких штанах, и в длинных, загорелые и бледные от работы в плохо проветриваемых помещениях люди с высокими лбами — вся эта разная правда настойчиво стучала в двери посольских особняков. Вечерами зловещая черная масса, окруженная факелами, ползала по улицам древнего города.

Герберт встал с кровати, подошел к окну и распахнул его; он стоял у окна и, как казалось, ни о чем не думал, потом сел в соломенную качалку, взял с ломберного столика маникюрные ножницы и стал подрезать заусенцы. Тихое, неуместное для посторонних занятие тайно, по каким-то непонятным человеческим связям, сопрягалось в его голове с воспоминаниями. Падали на пол заусенцы, а в голове оживала панорама детской железной дороги. Заводной паровозик вез четыре пассажирских вагончика. Состав кружил по запутанным коммуникациям, которые Герберт и его друг Франц строили на полу в течение целого часа. На подножке последнего вагона стояла деревянная фигурка проводника с красным флажком в руке. Почему игрушечный проводник не выпадает из игрушечного вагона? — подумал Герберт, сидя у открытого окна, и эта мысль взбудоражила

его. Он отбросил ножницы, встал и прошелся по комнате. Мальчик Франц, с которым они четыре года назад играли в большом зале фон Штралей, уже два года как жил с семьей в Нью-Йорке, и хотя, когда он уезжал, они договаривались, что будут переписываться, тем не менее два коротких письма, посланные Гербертом, остались без ответа.

Герберт не замечал, как Германия превращается в Третий рейх. Часы, стоявшие рядом с кроватью, сквозь стеклянный колпак показывали половину двенадцатого. Ярко светившее солнце ушло с подоконника. Герберт выглянул в окно: навалившиеся на Берлин серо-стеклянные тучи заволокли все обозримое пространство вплоть до самого горизонта. Герберт вздохнул полной грудью и тут же почувствовал, как в глубине его существа сорвалось с оси и покатилося маленькое золотое колесико, — такое случилось всякий раз, когда ему что-либо не нравилось. От громко звучащей музыки сводило в горле, и колесико выходило из-под контроля — от громких голосов оно тоже выходило из-под контроля. Когда бабушка убирала его комнату, он начинал нервничать; если же в комнате убирала служанка, то колесико начинало вращаться прямо-таки с отчаянием. Внутри бегущего и невидимого времени произошли тайные изменения, и, вероятно, не только у Герберта, но и еще у нескольких десятков людей в Германии в эту секунду изменилось настроение. На низком столике, рядом с кроватью, еще с вечера стоял высокий стакан с молоком; Герберт поднял его, понюхал и сделал несколько глотков. Он вспомнил, как когда-то отец приходил к нему в комнату с персиком или пирожным, садился на край кровати и смотрел, как сын ест. Смотрел и гладил его по руке, и Герберту была непонятна взволнованность отца. Теперь-то ему стало ясно, что это был взгляд прощания — ведь вскоре отец уехал.

Подойдя к письменному столу, мальчик выдвинул ящик и достал оттуда прямоугольный конверт, затем вынул письмо и развернул его. «Любимый Герберт, я уже три месяца как без вас, а все никак не могу привыкнуть». Герберт знал, что отец поехал лечиться, и рассчитывал навесить его в осенние каникулы, благо ехать было всего одну ночь. А сам он совсем не скучал. Отец чем-то отпугивал Герберта. Он был человеком замкнутым, и в редкие минуты общения, когда оба оказывались за одним столом, некоторая неловкость все время проскальзывала между ними. Герберту же очень нравились военные фотографии отца, нравилась фотография матери, висевшая у него в спальне. Он все время пытался вспомнить ее живой, однако образ метался, лицо ее с трудом удерживалось в памяти. «Мать твоя — фарфоровая кукла», — сказала однажды бабушка, и ему стало обидно за маму, которую он видел всего два или три раза. Он помнил, как, подлетая к Кёльну, самолет бросало в воздушные ямы; квадратный фюзеляж двенадцатиместного «юнкерса», казалось, был готов распасться, и когда шасси заскользили по долгожданной полосе, он, очень пугавшийся болтанки и не проронивший за время полета ни слова, выдавил слезу. В деревянном флигеле аэропорта он увидел женщину, вовсе не показавшуюся ему знакомой. Тем не менее она подбежала и обняла его. Герберт же застеснялся и вытянул руки по швам. «Обними маму», — сказал отец, и мальчик, преодолевая неловкость, обхватил рукой шею незнакомой женщины. «Я твоя мама», — говорила она, словно жалея о чем-то. Сейчас, после пяти лет разлуки, у него в голове с трудом удерживалось то обстоятельство, что та женщина все же была его матерью. Под глазом у него тревожно задергался нерв. Открыв дверь комнаты, Герберт увидел бабушку: в одной руке она держала щетку, в другой — эмалированное ведро с горячей водой; над ведром клубился пар.

— Пойди ко мне в комнату и получи подарок — он на столе, а я пока уберу у тебя. И потом, Герберт, кого бы ты хотел видеть у себя в гостях?

— Никого, бабушка, абсолютно никого.

— Но я все же кое-кого пригласила.

Герберт хорошо знал весь состав приглашенных. Старый фон Зайц, если будет хорошо себя чувствовать; директор писчебумажного магазина, еще две постоянно улыбающиеся старушки, древние приятельницы бабушки, они принесут домашний пирог, и за весь вечер к нему никто не приронется, а потом этот пирог отдадут Цезарю. Больше, наверное, никто и не придет, а я позову Бербель, последний раз мы стояли и разговаривали целых десять минут. Видимо, она мне нравится. Да, скорее всего, она нравится мне, подумал Герберт.

Было уже начало двенадцатого, когда он вышел на улицу. За десять минут он дошел до ее дома, по рассеянности чуть было не попав под машину, которая неожиданно вывернула из переулка. Он стоял у подъезда и раздумывал: в последнюю встречу он записал номер ее телефона, но из дома позвонить не догадался, а рядом с ее домом не нашлось автоматной будки. Герберт стоял, прислонившись к стене, и разглядывал мостовую. Сколько ног, сколько колес прошло и проехало по этой мостовой, сколько признаний откровенных и лживых слышали эти камни... Герберт ходил около подъезда — три шага вперед, три назад; на него стали обращать внимание: он был красивым мальчиком в хорошей одежде, а это почти всегда привлекает внимание. Эх, Герберт, в свой день рождения ты не хотел праздника, радость была для тебя заключена в разговоре и встрече с девушкой.

Он пересек улицу, повернул за угол и направился к телефонной будке, которую занимала высокая крупная женщина, одетая в черное платье. Дверь будки оставалась открытой, и он слышал, как женщина рассказывала кому-то о кроликах, о том, как их лучше содержать и чем кормить. Она поминутно переключала телефонную трубку из правой руки в левую. Распущенные по плечам волосы создавали впечатление, что за ними скрывается грубоватое лицо — под стать всей фигуре. Однако, зайдя с другой стороны, Герберт увидел сморщенную вытянутую мордочку, сильно напоминающую лисью, и вовсе не грубую, а, пожалуй, даже жалкую. Но вот женщина снова повернулась спиной к Герберту, и жалости как не было. Она показала из будки и пошла, покачивая бедрами. После нее остался запах едких духов. Герберт набрал номер девушки, записанный на конфетном фантике. Послышался щелчок, затем гудок; трубку наконец сняли, и хриплый голос сказал:

— Але.

Герберт замешкался.

— Але, — снова спросила трубка.

— Можно пригласить Бербель?

— Какую Бербель? — в свою очередь спросили на другом конце. — У нас нет Бербель, у нас только Катарина и Магда.

— Ну как же, — Герберт закашлялся, — Бербель Бауэр.

— Ах, Бауэр. Это она вам дала телефон?

— Да, она.

— Ну так вот, я ее тетя. А телефон у нее совсем другой, и я не знаю, хочет ли она, чтобы вы ей звонили.

— Извините.

Герберт снова вернулся к ее дому и снова посмотрел на ее окна. Неожиданно ему показалось, что штора чуть колыхнется. В это время к подъезду подъехал черный «опель», из него вылез шофер, открыл заднюю дверцу и достал огромную корзину цветов. Герберт проводил глазами шофера и корзину и вслед за ними вошел в подъезд. Кабина лифта медленно поползла вниз. Герберт открыл дверь, пропустив вперед посланца с цветами. Тот поставил корзину на пол и внимательно поглядел на Герберта, словно спрашивая его: а что дальше?

— Вам на какой этаж? — спросил Герберт, повернувшись спиной к зеркалу, и посмотрел на ряд кнопок.

— Четвертый, — ответил шофер. Голос у него оказался очень тонким, почти женским.

На этаже две квартиры, он либо в соседнюю, либо к ней — даже интересно будет. Лифт бесшумно остановился. Шофер подошел к квартире Бербель и надавил кнопку звонка. Внутри Герберта загудела какая-то струнка, а еще через несколько мгновений он вздрогнул от голоса девушки, который послышался из-за двери.

— Госпожа Бауэр здесь проживает? — спросил шофер, и Герберт сделал усилие, чтобы не оглянуться, но как только шофер покинул квартиру, он подошел к двери и позвонил.

Бербель открыла и отступила вглубь прихожей. У нее были голубые глаза и каштановые волосы.

— Какие изумительные цветы прислали тебе, я видел корзину.

— Это поклонники.

И было об этом сказано так легко, как будто она в свои четырнадцать лет только и делала, что принимала подарки. Маленькая женщина глядела на него с вызовом и обаянием первой юности.

— Садись, — предложила она, и он опустился в глубокое кресло.

— Сегодня у меня день рождения, ты приходи, — сказал он. — Кстати, какой у тебя телефон? Твоя тетя была очень недовольна, когда я позвонил, ведь ты дала ее номер.

— Неужели ее? — воскликнула Бербель, ничуть не смутившись. — Я в самом деле перепутала цифры? — Глаза у нее сверкали, а полуоткрывшийся рот был похож на маленькую раковинку. Подбежав к Герберту, она запустила руки в его волосы, чем страшно смутила его.

Легкий жест, легкость фразы о поклонниках. Вот как рано все у них начинается. Смог бы я у себя дома забраться к ней в волосы? Вероятно, нет — а она может. Интересно, что она чувствует ко мне? Вполне вероятно, что я ей нравлюсь и ей приятно погрузить руки именно в мои волосы.

— А хочешь, пойдем погуляем? — спросила она и стала поправлять растрепавшуюся прическу. Затем она схватила красную ленту и повязала ее вокруг головы.

Герберт сидел на стуле и чувствовал себя неудобно: уж больно она была красива, больно красиво было все вокруг. И кофейник на подносе источал одурманивающий запах, ему даже показалось, что предметы поплыли перед глазами.

Бербель села на край дивана и закинула ногу на ногу. Герберт увидел, как белая полоска кожи мелькнула между складками платья. Неожиданно он понял, что в нем кроме чувства неловкости начинает просыпаться растерянность мысли, переходящая в почти физическую усталость. Мысли кружили в голове, как ватные шарики, и ни на что определенное не намекали. Струйка черного кофе ударилась о дно белой как снег чашки, и Герберт решил, что чашка может растаять. Он испуганно ухватился за фарфоровую ручку, но, почувствовав твердость, уже уверенно поднес чашку к губам. Кофе ему не понравился: он был слишком сладким и густым, но за этой густотой скрывалась пустота, потому как в Рейхе уже целый год в кофе докладывали ячмень, и только в дорогих ресторанах он еще был настоящим — таким, каким пил его весь цивилизованный мир.

— Послушай, Бербель, а как в гимназии вас учат относиться к лицам противоположного пола?

Бербель вскинула голову и, сощурив голубые глаза, с усмешкой посмотрела на юношу, но ничего не сказала. Герберт взял со скатерти одну ложку и положил ее поверх кофейной чашки, затем взял другую и тоже положил поверх чашки.

— Ты себя вести не умеешь. — По лицу Бербель пробежала тень удовольствия. — Тебе весело? — спросила девушка, глядя на хмурое лицо гостя.

— Мне всегда весело, если не грустно, — ответил тот, покраснев. Потом он скрипнул зубами — ему показалось, что во рту у него песок.

На улице шел дождь. Завеса воды, падающая сквозь солнце, была похожа на легкую стеклянную паутинку. Герберт подошел к окну и посмотрел на мостовую с редкими пешеходами и редкими автомобилями. Все старые улицы чем-то похожи, подумал он, вспомнив вид на улицу из кабинета отца. Герберт задумывался гораздо чаще, чем это было нужно. Порой он удивлялся, чувствуя в своем голосе женские интонации. Герберт стеснялся своего ломающегося голоса.

Незаметно в комнате оказался огромный рыжий сенбернар, он подошел к девушке и положил к ней на колени свою огромную голову. Бербель запустила руку в густую шерсть собаки и замерла. Герберту показалось, что это фотография. Глаза собаки смотрели на хозяйку с грустью и влюбленностью. Уже много лет собаке снился один и тот же сон, будто она и девочка живут вдалеке от города, в степи, в глубокой и теплой яме, и каждый раз, когда приходит время заснуть, девушка кладет свою кудрявую голову на лапу собаке. Но в реальной жизни все было наоборот, и собака скучала по снам. Герберт допил кофе и поставил чашку.

— Ну пойдем, что ли?

Бербель посмотрела на него, и он увидел, что ее глаза смотрят в разные стороны, рассеянность безумия сквозила в лице гимназистки Бауэр.

— Собаку брать не будем? — спросила Бербель и посмотрела на сенбернара.

— В кафе с собакой не пускают, — сказал Герберт и погладил пса.

Когда они вышли на улицу, дождь уже перестал. Они брели вдоль мокрых улиц, и вслед им смотрели удивленные окна домов. Несмотря на раннее время, слово «Кафе» уже светилось электричеством. Около входа стояли два молодых человека в почти одинаковых пиджаках с подложенными плечами, губы у них были покрашены, и сами они напоминали манекены, которые должны войти в какую-либо из ближайших витрин; взгляды их были неподвижны и очень сосредоточены — казалось, они разглядывают какую-то одну только им известную точку.

Попав в темное помещение, мальчик и девочка растерялись: они не заметили, как из глубины продолговатого зала, словно воздушный шар, выкатился толстый метрдотель. Он устало махнул в сторону далекого столика с маленькой лампочкой. Над столом висело хорошо сделанное чучело орла: в когтях птица держала расплывшуюся на четыре стороны света свастику. Они опустились на низкие стулья. На золотой картонке тоже была выбита свастика; Герберт открыл меню, а Бербель вытащила из соломенной сумочки пачку сигарет и маленькую черную зажигалку с золотым колесиком. Закурив, она выпустила дым и поставила пачку так, как это нужно для того, чтобы увидеть, что на ней изображено. На сигаретной пачке была нарисована светловолосая девушка: она сидела на стуле, одна нога была закинута на другую, в уголке рта у нее дымилась длинная сигарета, в руке она держала огромную черную свастику. В голубых глазах Бербель отпечатались задумчивость. Она совсем не понимала, зачем существуют люди. Почему, зачем, отчего легкий дым над столами и приглушенные голоса тут и там? И Герберт подумал, что неплохо было бы еще заказать вино. Здорово было бы пить его и смотреть на растрепанные волосы Бербель и думать о силе человеческой печали, о силе мысли, о ее головокружительности.

Но когда пришел официант, Герберт вина не заказал, он вспомнил фразу отца: «Поднимать настроение вином ниже возможностей личности». От близости нравящегося лица Герберт и так чувствовал нарастающую тревожность.

Рядом сидели подвыпившие военные, они хлопали друг друга по плечам и пели патриотическую песню; лица у них были красные, а волосы

мокрые: было душновато. Герберт заказал пирожные, сок и орешки и пощупал карман на груди, в котором лежали свернутые в трубочку деньги. Пирожные, несмотря на свою внешнюю красоту, оказались невкусными, сок горчил, по-настоящему понравились только орешки. Герберт не знал, что их присылали из Испании, где шла война и где люди убивали друг друга, как маятники часов убивают бесконечное время. Он отправлял в рот маленькие продолговатые орешки и, хрустя ими, окидывал глазами зал. В самом конце кафе сидели двое в почти одинаковых пиджаках, с намазанными ресницами и подкрашенными губами. К ним подошли еще двое, с лицами более мужественными, однако тоже с какой-то двойственностью. Они молчали. Руки более мужественных и руки накрашенных переплелись, накрашенные захлопали ресницами и опустили головы — они стеснялись.

Герберт гладил худенькую руку девушки и смотрел на стол, за которым четверо мужчин вели себя непонятно и вовсе не по-мужски.

— Знаешь, Бербель, я давно хотел сказать тебе... — Он закашлялся и поднес ладонь к губам. — Я давно уже хотел сказать тебе...

— Что? — спросила девушка. — Что ты мне хотел сказать?

— Я хочу проводить с тобой время, потому что друзей у меня нет. Вот. — Герберт закончил фразу весь красный. От дыма у него зашекетало в носу. Он отпил сок, который горчил, и заглянул ей в глаза — они снова смотрели в разные стороны.

— Я бы тоже дружила с тобой, только между девушкой и юношей какая дружба.

— Ты хочешь сказать, что еще бывает любовь?

— Именно любовь, Герберт. Именно она впечатляет и вдохновляет женщину. — Бербель закашлялась, она смотрела куда-то мимо него, в безответную пустоту, в долину желтых плафонов и отсвечивающих свастик, в желто-черную даль событий, которым только суждено произойти.

Бербель была чрезвычайно мила, щеки у нее были матовые, а ресницы длинные-длинные. Раньше Герберт и не представлял, что ресницы могут быть такими большими. Военные, певшие патриотическую песню, встали, послышался скрежет металла, будто штыком рассекали стекло, в воздухе запахло паленым.

— Грядут перемены, — сказала Бербель и взглянула на толстого метрдотеля, который остановился у их столика — он кого-то подзывал: у стены освобождались места.

Послышался громкий стук обуви, сильно запахло потом. «А здорово мы им дали». — Голос говорящего был густой и громкий. «Здорово, — ответил ему другой, более низкий и тихий. — Вот начнется Олимпиада, уж мы этим америкашкам покажем, где раки зимуют». Это были спортсмены в футболках, белых брюках и белых спортивных тапках, лица у них были загорелые и выражали неукоснительный оптимизм. От бессознательной силы, исходящей от этих, видимо, простых людей, Герберту вновь сделалось не по себе. Тонкие гармоничные настроения он пытался отыскать в собственной душе — и не мог найти, не мог укрыться от звуков реальности, от тысяч ревуших голов, над которыми распростерлась на четыре стороны света всеядная свастика.

Приближалась Олимпиада, интересы спорта плотно переплетались с национальными. Спортсмены тоже стали петь песню: что-то про сильную нацию. Под конец песни они все стали и громко прокричали: «Хайль Гитлер!» И здорово у них это получилось, так здорово, что Герберту даже почудилось, будто птица со свастикой попыталась взлететь. И верно — орел уже было качнул крыльями, но в последний момент передумал, только знак сжал в когтях еще сильнее. От дыма, от возгласов, от плохих пирожных, от горького сока Герберта стало тошнить.

— Пойдем на воздух, я больше не могу, — попросил он Бербель, и та встала, от движения стула произошел неприятный скрип ножек об пол.

Герберту стало совсем плохо, и, чтобы не упасть, он оперся руками о стол.

— Послушай, — он выдохнул воздух, — я сейчас умру. — Это было сказано почти шепотом. — Деньги возьми в левом кармане.

Герберт увидел, как ловкие дамские — это в четырнадцать-то лет — пальчики вытаскивали у него из кармана трубочку банкнот. Герберт стоял красный, пиджак и рубашка мучили его, он хотел на воздух, на волю, которой уже не было вокруг. На улице ему стало лучше, он обрадованно вдохнул свежий после дождя воздух и посмотрел на яркое солнце, которое после дождя тоже казалось мокрым. Видимо, над Лондоном стоит такое же солнце, и дождь, может быть, тоже был в Лондоне. Герберт вспомнил фотографию в немецком альбоме: часы «Биг-Бен», а сверху — черные пласты разнокалиберных туч. Называлась она «Английская погода». Фотография не нравилась Герберту — в ней не было мысли, — однако он почему-то вспомнил ее. А ведь и вправду над Лондоном в то лето тридцать шестого года светило солнце, точно такое же, как над Берлином в эту секунду; Герберт почувствовал себя ясновидящим. А через мгновение он уже думал о другом. Бербель задумчиво качнула головой, и они пошли по мокрому камням мостовой.

Вечером того же дня в доме у Герберта собралось разномастное общество. Два старых полковника, подрагивая усами, ели жесткие пережаренные бифштексы; старушки, обычно приносившие пирог из липкого теста, на этот раз испекли нечто другое, по форме напоминающее цеппелин, и это нечто горделиво и одиноко возвышалось на краю стола. Большая собака ждала подачек и от гостей не отходила. Священник, с которым бабушка очень дружила, все время протирал не очень чистой салфеткой свои очки; он сидел напротив Бербель. Герберту казалось, что он это делал от смущения. Хорошо, что бабушка меня не трогает, — он очень сильно уставал от разговоров с ней, бабушка говорила на языке прошлого века, а за собой Герберт чувствовал будущее. Усатый фон Зайц и второй усатый полковник шумно пережевывали пищу. Оба они были в красивых кайзеровских мундирах времен Первой войны, усы их топорщились в разные стороны, и они напоминали Герберту двух старых беркутов. Птицы методично клевали жесткое мясо и рассуждали о войне.

— Дорогой фон Алоф, а помните ли вы нашу удачную атаку на Марне? Когда мы пропустили вперед пушки и англичане посыпались, как кегли? Еще Фридрих Великий считал, что пушки должны скрываться в массе атакующих войск. И все равно это было удивительно, — говорил фон Зайц. — Я в бинокль рассматривал шотландских стрелков. На них были такие шикарные наряды: клетчатые юбки, гольфы...

Сидевшие за столом старушки тихо перешептывались: их речь не была похожа на человеческую, она напоминала плескание воды в банке. Герберт видел только Бербель, на которую к тому же смотрел и священник; от смущения она все время отворачивала лицо. Священник смотрел на нее изучающим взглядом — вполне возможно, он видел в ней новую прихожанку. Бабушка очень сильно напоминала Герберту существо древнего мира, причем существо беззащитное: вытянутая шейка, вся морщинистая, тонкая, очки в медной оправе и руки сухие, приплясывающие, как будто их трогает ветер. Она разговаривала с Бербель.

— Вы первая девушка, которую внук привел в этот дом.

Вероятно, она хотела, чтобы от этих слов по лицу Бербель поплыла густая краска. Однако Бербель не покраснела, а побледнела и стала похожа на напудренную куклу. Герберт сел в кресло, щелкнул кнопкой торшера и взял с журнального столика толстую книгу, завернутую в папиросную

бумагу и перевязанную розовой лентой. Это был труд Вейнингера — автора, популярного до Первой мировой войны. Книга была выпущена в 1912 году. На кожаном переплете были оттиснуты два маленьких сердца, пронзенных стрелой. Герберт открыл книгу, попытался читать и не заметил, как страницы замелькали у него под руками. Он втянулся, читать было сложно, но приятно. Некоторых оборотов он не понимал и тогда читал через строчку, но тем не менее женское начало в человеческих существах было описано так ярко и разнообразно, что он, отвлекшись от книги, невольно залюбовался девушкой. Руку с бокалом, в котором плескалось немного вина, она держала у самой груди. Щеки ее уже не были бледными, по ним побежал румянец.

И Герберт вдруг снова понял, что перед ним фотография, застывшее мгновение жизни. Она уже никогда не будет сидеть так, смотреть так, свет уже никогда не будет падать так ровно; она никогда не будет так привлекательна, как сейчас. Она, конечно, будет привлекательна — но не так, не так, как сейчас.

Священник бросил протирать стекла очков, но по-прежнему очень внимательно смотрел на девушку, может даже, он хотел предложить ей покаяться — во всяком случае, вид у него был такой. А Герберт вглядывался в лицо Бербель сквозь осознание прочитанных страниц, и смешанное чувство восторга и брезгливости гнездились в его груди. Маленький мальчик, еще не нюхавший женского белья, закутавшийся в восторги, ребенок, читавший книгу для взрослых, он скрежетал зубами от негодования и восхищения.

Оторвавшись от книги, Герберт бросил взгляд на священника.

— Отец, Бербель — живая девушка, а не глиняная статуя в нише вашего храма, — сказал Герберт и продолжил чтение.

После этого замечания священник встал и вышел из гостиной.

— А что, собственно, произошло? — Герберт окинул взглядом присутствующих. — Отец Штольц ушел, потому как я его обескуражил. Пусть не смотрит так на моих знакомых.

Фон Алоф и фон Зайц — оба в зеленых мундирах, оба с аксельбантами и оба напоминающие птиц — переглянулись. Герберт смотрел, как отликает золотом шишечка торшера, и на глаза ему навертывались слезы; едва расцвеченная звуками, вздыхающая за спиной тишина была невыносима. Еще было рано, еще и солнце не исчезло из виду, а немногочисленные гости стали собираться. Уход Штольца вызвал всеобщую неловкость, и никакими силами не удавалось погасить нехорошее настроение.

Шумно покидали особняк полковники Первой мировой войны, они долго и тщательно застегивали френчи и пушили усы. Незаметно исчезли старушки. Подарки беспорядочной грудой громоздились на журнальном столике. Герберт и Бербель остались одни; он смотрел на ее волосы, и ему показалось, что над ними вздымается легкий отсвет пожара, — на мгновение он зажмурился.

— Грустно, что все так вышло, — сказала девушка.

— Не стоит расстраиваться, Бербель, я всегда знал, что говорю много лишнего, и тем не менее ничего не могу с собой поделать. Мне безразлично, что подумают обо мне.

— Но ведь ты не один, Герберт, разве тебе не приходится считаться с этим?

Герберт наклонил голову и засопел — он не любил морализаторских разговоров. Однако у него была живая душа, она трепетала, как заяц в силке, и ее еще предстояло испытывать долгие годы и дни.

Девушка взяла со стола десертный ножик и стала водить им по скатерти. Герберт как замороженный смотрел на этот столовый прибор. Сверкало лезвие, шелестела скатерть, а он никак не мог оторвать взгляд от тоненькой ручки ножа, зажатого между двумя еще более тонкими пальцами

девушки. Взгляд его остекленел — с ним такое бывало всегда, лишь только он начинал глядеть в одну точку.

— Что с тобой? — Бербель положила нож и испуганно откинулась на спинку стула.

Он встал, подошел к выключателю и погасил верхний свет. Тени от посуды замысловато наклонились над скатертью. Девушка взяла со стола квадратный графин и долила свой бокал до краев. Она держала бокал двумя руками, медленно потягивая вино, тень размышления отражалась у нее на лице. Бербель подняла глаза, и Герберт увидел, что они у нее изумрудные, а ресницы длинные-длинные, и он представил, что кусочки изумруда закутаны в черный полупрозрачный шелк. Герберт поднялся из-за стола, обошел его и остановился рядом с девушкой. Он стоял рядом с ее стулом, как соляной столп из старинных сказок. Полутьма создавала ощущение завораживающей безвременности. Проемы окон за его спиной были окутаны ночью. Мелкие летние бабочки летали под колпаком торшера. Ощущение вечности пронзило два этих юных существа, уже глядящих на окружающий мир слегка прищуренными глазами.

— Можно, я тебя поцелую? — еле слышно попросил мальчик.

— Можно, — еле слышно ответила девочка.

Герберт нагнулся над ней, но в последний момент поскользнулся на кусочке пищи, и поцелуй не получился. Он поцеловал ее так, как можно поцеловать стену.

— Вот черт, — выругался он; под его ногами лежала раздавленная горошина — виновница его первой любовной неудачи.

Взгляд у Бербель был внимательный и совсем не влюбленный, а ему хотелось, чтобы она смотрела на него с восторгом обожания, но в глазах ее не было теплоты и проникновенности. Какая теплота, какая нежность: ей дарят корзины цветов и, может быть, взрослые люди дерутся из-за нее на дуэли, а тебе она приносит безопасную бритву, словно в насмешку над возрастом.

Бербель была доброй девушкой, хотя и несколько ироничной, она была рождена под знаком Льва и унаследовала смелость, свойственную этому знаку. После такого неловкого поцелуя она решила исправить его ошибку: она положила ему на плечи нежные свои руки и со всей смелостью поцеловала его прямо в губы. Герберт почувствовал незнакомый привкус ланолина. Она села и посмотрела на него снизу вверх, и ей показалось, что он вот-вот упадет, тогда она снова встала и прижалась к нему, она почувствовала теплую дрожь, наводящую на мысль о какой-то другой, более грандиозной близости, с которой она еще не знакома. Но тут и Герберт очнулся: он словно стряхнул с себя пыль, налетевшую на него со всего дня рождения. Неожиданно для себя он стал очень смелым — он схватил Бербель и стал ее целовать куда попало: в лоб, в щеки, в нос, в губы — это был целый вихрь поцелуев. Бербель, ошеломленная таким поворотом, смотрела на него широко открытыми глазами, в которых перекатывались маленькие изумруды, формируя голубовато-зеленый фон зрачка.

— Уже поздно, мне пора, — сказала она, отстраняясь от мальчика. Она подошла к креслу и сняла со спинки малиновую сумочку, усыпанную синими точками.

Герберт и Бербель вышли через парадную дверь. Они миновали палисадник и по каменной лесенке спустились в маленький и кривой переулок. Кое-где в домах светились желтым, красным и синим занавешенные окна.

Еще не пришла полночь, и кое-где слышался отрывистый стук каблучков. В конце улицы, на повороте, горел один-единственный фонарь, горел, наклонившись над мостовой, и Герберт загал, что, когда они спустятся к этому фонарю, то хотя бы постоят рядом. Желто-белый свет так красиво ложился на мостовую. Итак, день рождения миновал, думал он, поддерживая девушку под локоть.

Вдалеке послышались голоса, показались люди — их было человек двадцать: двое катили перед собой тележку, чем-то нагруженную; это были штурмовики, одеты они были в коричневые рубашки с узкими черными галстуками, кожаные или вельветовые штанишки и гольфы; средний их возраст не превышал шестнадцати лет. Впереди процессии шел молодой мужчина лет двадцати пяти, на руке у него была повязка со свастикой. Герберт и Бербель отступили на тротуар. Прыщавое лицо предводителя было совсем рядом, луна и звезды освещали его сверху, снизу оно слегка подсвечивалось двумя карманными фонариками, которые несли юные штурмовики. Качающийся свет этих маленьких фар произвольно раздвигал уличную темноту. У предводителя был длинный и острый нос, на кончике которого находились очки в металлической оправе. Он вопросительно посмотрел на двоих прохожих, повернулся лицом к тележке и как крыльями взмахнул тонкими руками в коричневой рубашке. Штурмовики везли тележку, заваленную книгами. Луч, скользнувший по ним, высветил один корешок. На нем крупной готикой было написано: «Томас Манн». А Герберт, еще только создающий мнение о себе, подумал: «Сколько же я еще не знаю, как много предстоит узнать, прежде чем я начну до конца осознавать себя в этом мире». Какие еще Манны и Вейнингеры встретятся у него на пути.

Книги везли для сожжения: костер решили приурочить ко дню рождения какого-то фюрера. Но ни Бербель, ни Герберт еще ничего об этом не знали. Именинник остановил девушку у фонаря и попытался обнять ее, но она вильнула:

— Знаешь, я кое-что хочу сказать тебе.

— Что?

— А ты нагнись.

Герберт нагнулся, и она еле слышно прошептала:

— Я наполовину еврейка.

Бербель выпрямилась, как бы стараясь рассмотреть эффект, произведенный ее же словами. Фраза эта со свистом пронеслась мимо него и растаяла где-то во тьме. И хотя она была сказана еле слышно, тем не менее Герберт ощутил всю ее будто бы материализовавшуюся значимость.

— А какое это имеет значение? — спросил он, немного подумав.

— Разве ты не гражданин своей страны? — В этом ее вопросе был вызов, и она поглядела на него так, как смотрит генерал на провинившегося солдата.

— А что такое гражданин?

— Ну, гражданин — это тот, кто выполняет то, что делают все.

— Да какая разница, гражданин я или не очень! Какое это имеет отношение к тебе и ко мне! Я пригласил тебя к себе, ты подарила мне бритву. Я смотрю на тебя и взрослою, с каждой минутой меня делается все больше и больше. Я уже не думаю, что сказать тебе. Все происходит само собой, и тебе это нравится.

— Не всегда.

— Это почему же?

— Ты очень юн, Герберт, а мне нравятся мужчины постарше, умеющие молчать. Ты же молчать не можешь.

— Я самоутверждаюсь.

— Ладно, будь попроще.

— Да куда уж проще.

— Ты очень милый мальчик, очень милый и очень хороший.

— Не очень это меня утешает. Внутри меня живет повеса и негодяй, просто случай еще не представился.

— Ну, еще представится.

— Ты думаешь?

— Думаю, да.

И тем не менее Герберту было ясно, что она с ним не откровенна. Бербель надулась и нервно тряхнула волосами. Посмотрев на свет, она сощурила глаза так, что они стали похожими на щелки. Герберт тоже сощурил глаза, и они у него тоже сделались похожими на щелки, сквозь эти щелки он и увидел длинные и пристальные дуги света. Эти дуги составили в голове его световой каркас, в который было заключено ее лицо с развевающимися красными волосами. Она что-то говорила ему, губы ее выразительно извивались. Но тут он совсем закрыл глаза, и светящийся каркас исчез.

Следующая улица, до которой они пошли, вся сплошь была залита ярким электричеством, и ему показалось, что они проходят сквозь грандиозный пожар. Окна в квартире Бербель были погашены, но он не стал проситься к ней в гости, так как решил, что они и так провели вместе много времени. Когда он возвращался, ему попалось трое пьяных: они были одеты в черное, и один из них протянул ему черный металлический значок-свастику с белыми прожилками. Когда пьяные ушли, он огляделся по сторонам и бросил значок в клумбу.

Несколько дней Герберт жил как под гипнозом — он стыдился своей влюбленности. Однажды утром его разбудил длинный звонок в парадную дверь, и он резко откинул одеяло, так, что Вейнингер, лежащий сверху, упал на пол. Упавший Вейнингер лишил его последних остатков сна. Он спустился вниз по вздыхающей на каждом шагу лестнице и открыл дверь. Почтальон протянул ему желтую кожаную книжку, в которой он расписался химическим карандашом. Телеграмма была от отца, и звучала она следующим образом: «Герберт, мне очень плохо, приезжай». Тон ее был загадочным, а словарный запас — ничтожным. Телеграмма произвела на Герберта сильное впечатление. Он еще долго топтался перед закрытой дверью, сжимая в руке шершавый четырехугольник. Бабушка стояла в дверях и смотрела на него стеклянными глазами. В отличие от глаз Бербель, к которым Герберт всегда присматривался и которые находились в постоянном движении, у бабушки зрачок всегда оставался неизменен: он не сужался и не расширялся — взгляд ее существовал как бы отдельно от тела.

— Я, видимо, поеду к отцу.

— Поезжай, если сможешь, но ты неважно выглядишь, Герберт.

— Какое это имеет значение, мне надоело находиться здесь.

— А разве я держу тебя?

— Нет, но ты говоришь о моей внешности. Кстати, что во мне тебе не нравится?

— Все, Герберт: твой вид, образ твоих мыслей, небрежность. Ты совсем не замечаешь, что я тоже живая.

— Неправда, я вижу, ты действительно живая, ведь ты разговариваешь и дышишь.

— О Господи! — Бабушка вздохнула и пошла сквозь комнаты.

Уже давно он ловил себя на мысли, что мыслей как таковых у него не осталось, что существование его движется вперед вопреки всякой логике, и только одно обстоятельство радовало его: вызревание в нем самом какой-то безусловной единицы искренности.

— Учти, сейчас сложно с отъездом, — сказала бабушка, высунувшись из дверного проема.

Разрешение на выезд из Германии Герберту выдали довольно легко. Чиновник в отутюженном френче со свастикой вместо галстука и в скрипящих сапогах долго рассматривал его.

— Вы член гитлерюгенда? — спросил он.

— Нет, — ответил Герберт и покраснел, опустив голову на грудь.

— А почему? Почему нет? — Чиновник встал за спинку стула и стал раскачиваться с пятки на мысок, отчего Герберт решил, что его сейчас ударят в затылок или в спину, и втянул голову в плечи, ожидая удара. Скрипящие шаги разминались у него за спиной. Неожиданно нацист заговорил: — Ваш отец лечил мою мать; такие, как он, — гордость Германии.

Герберт еще глубже вжал голову в плечи.

— Видимо, я не вступил в гитлерюгенд потому, что учился в частном пансионе, — еле слышно произнес он и посмотрел снизу вверх на худощавое, морщинистое лицо нациста со щетками черных усов. Желтые глаза того выражали затаенное внимание. Чиновник протянул Герберту листок бумаги, по которому расплзлись коричневые водяные знаки-свастики. Герберт прочел свое имя, рядом с ним стояла жирная черная печать.

— Не потеряйте, — предупредил нацист, — второй такой бумажки вы здесь не получите.

На улице Герберт столкнулся с похоронной процессией. Бело-золотой катафалк с черными пушистыми кистями медленно двигался по мостовой. Перед катафалком шли певчие: один из них держал на уровне лица деревянный крест, покрытый серебряной краской; Христос на нем символизировал бесконечное страдание. На Альбертштрассе людей было мало; пожилая и плохо одетая цветочница продавала белые и темные розы. Время от времени она набирала в рот воды из кружки, стоящей рядом с цветами, и опрыскивала их. Капли весело играли на красных и белых лепестках. Герберт был несколько озадачен своим визитом к чиновнику, — я неправильно живу, вероятно, любовь к Бербель в конечном счете просто обязана перерасти в любовь к Фатерлянду.

Несколько дней он провел как во сне. В день отъезда он позвонил ей, и она сказала, что придет провожать его на вокзал. В соломенной шляпке с тесемкой на подбородке она была похожа на маленькую киноактрису. Оба выглядели крайне несовременно.

— Добрый вечер, — сказал он и наклонил голову.

Паровоз уже был пристегнут к составу, над трубой его развевался бледный, как туман, дым. Разнообразные запахи начинающегося путешествия еще не сумели до конца овладеть его душой — они только подбирались к тайникам его сознания. Бербель надвинула на глаза шляпку, и та закрыла от него искрящийся взгляд юной особы. Крадущееся напряжение отъезда динамичной судорогой опутало вокзал. Из-под вагонов на щиколотки поддувало теплым ветерком. Платформа была низкая, и Герберт видел промасленные четырехугольники букс, электрические черные ящики под вагонами и выкрашенные темно-синей краской углубления в блестящих колесах. До отхода поезда оставалось пятнадцать минут. Впереди состава красивый черный, сверкающий медными деталями паровоз легонько и хрипловато посвистывал. Углубления в его огромных колесах были выкрашены в красный цвет. Из окна выглядывало усатое лицо машиниста в австрийской кепочке с козырьком. Паровоз был таким огромным, таким красивым и могучим, что Герберт и Бербель невольно им залюбовались. Машинист, видя, что на его детище обращают такое явное внимание, ухмыльнулся, потянул за кольцо, и из-под колес выскочило облако, — белый пар имел запах подгоревшего асфальта. Когда Бербель и Герберт вышли из плена опутывающих их облаков, они увидели на торце продолговатого паровозного цилиндра расплзшийся на четыре стороны света знак. Через мгновение прозвенел звонок: поезд готовился к отправлению, чемодан Герберта был уже поставлен в купе. Ярко горели номера вагонов. Считанные минуты оставались до отхода. Бербель протянула руку, ухватилась за поручень и очутилась на площадке, он поднялся за ней. Пройдя в купе, она потрогала красный шелк обивки, затем взяла стакан и наполнила его водой из графина, который стоял на столике. Отпив глоток, она осмотрелась.

— Уютно, — сказала Бербель и поморщилась — можно подумать, что в стакане было настоящее виски, а не обычная вода. — Ужасно, что ты едешь, а я остаюсь.

— Ничего ужасного в этом нет, я же вернусь назад.

— Конечно, вернешься, но мне бы хотелось поехать с тобой.

— Правда?

— Правда, Герберт, здесь вокруг все до боли известно.

Свисток паровоза заставил его вздрогнуть и посмотреть на часы. До отправления оставались секунды. Бербель замешкалась, тронула его за плечо и заспешила к выходу; только она сошла на перрон, как поезд тронулся. Хорошо, что он не поцеловал меня, думала она, испытывая легкое сожаление оттого, что он все-таки этого не сделал. Бербель стояла на перроне и смотрела на убегающий состав. Паровоз набирал скорость, проводники складывали лесенки подножек. Герберт снова взглянул в окно — она все еще стояла на перроне вокзала, еще поезд не вышел из-под купола, и фонари еще освещали ее соломенную шляпку, заброшенную на затылок, и развевающиеся светло-рыжие волосы. Перрон кончился, началось железнодорожное полотно, состав как бы с трудом нащупывал нужную колею.

Поезд переходил из одних скрещений в другие, тихонько стучали на стыках колеса, и так же тихонько хлюпали буфера — какофония путешествия разворачивала свои сугубо транспортные миры. Механическое существо, управляемое железной рукой машиниста, бежало вперед, на встречу с полосатыми столбиками границы. Купол вокзала был уже еле виден, а Герберту казалось, что перед ним стоит Бербель и смотрит на хвост исчезающего состава. В купе было душно, и Герберт открыл окно; он сел на диванчик и устался на ромбовидный графин с водой, стоящий на столике. Но сосредоточенность его разрушили голоса, идущие из коридора. Дверь распахнулась, и на пороге показалось существо в светлой рубашке с закатанными рукавами и в широченных штанах с лампасами. Существо имело красную физиономию, очень добродушную и немного обиженную.

— Вы представляете, сел не в тот вагон, — говорило существо, смеясь.

Он заполнил собою все купе, и Герберту пришлось спрятать колени под стол. Человек этот легко забросил багаж на глубокую антресоль, взглянул в окно и, обдуваемый ветром, загудел: «У-у-у». Он явно радовался путешествию. Герберт улыбнулся. Он видел, что это подражание несколько наигранно и, может, предназначается для него одного, однако большой человек был так безобиден, что все параллельные мысли отступали на второй план.

— Ну, давайте знакомиться, — сказал попутчик и протянул Герберту широкую ладонь. — Меня зовут Франц. — В произношении его было что-то непривычное. — Я очень рад, что еду домой. — Он подмигнул и покопился на полуоткрытую дверь. — Вы тоже боитесь? — спросил он полушепотом.

Герберт кивнул, еще не зная, кого ему предстоит бояться, однако веселая тревога, сквозящая в глазах незнакомца, наталкивала на мысль о необходимости разговора сейчас, в эту минуту, в этом купе.

— Вы швейцарец? — любопытствовал сосед.

— Нет, эльзасец, — отвечал Герберт.

Голова попугчика была окутана красным шелком, шелк напалзал на переносицу и почти закрывал глаза.

— Все-таки эльзасцем быть лучше, чем немцем. — При этом красный шелк на голове толстяка сверкнул, как красная тряпка корриды. — Кстати, меня зовут Франц, — повторил он и протянул пухлую руку с короткими пальцами. — Я каждый год в течение двадцати последних лет ездю в эту страну. На торговле с Германией я сколотил себе состояние, однако никогда не было так тяжело, как теперь.

— А что же теперь? — поинтересовался Герберт.

— Теперь я ликвидировал филиал.

— А позвольте спросить, что же производил этот ваш филиал?

— Презервативы, разные противозачаточные средства. Германия хочет погружаться в первобытное состояние, она будет калечить судьбы и души своих подданных, ей нужны солдаты для будущих войн и девушки, способные рожать этих солдат, — сказал Франц.

В это мгновение Герберт подумал о Бербель — в его сознании она и была той самой девушкой, которая способна родить солдата. А в словах толстяка чувствовалось раздражение: события явно развивались не в его пользу — свернутое производство тяжелым камнем лежало у него на душе.

— А еще в каких странах у вас филиалы?

— Да в разных. В Дании, например. Во Франции. В Америке у меня ничего нет, потому как у них и так мощнейшее производство всех этих штуквин. У чехов нет никаких филиалов, но они покупают у меня сорок тысяч штук в год.

— Чего сорок тысяч? — Герберт состроил вопрошающее лицо.

— Презервативов, конечно.

— И покупают? — Герберт наклонился над маленьким столиком, внимательно глядяваясь в собеседника.

— Покупают, — ответил Франц.

Герберту нравилось мягкое произношение толстяка и легкое его отношение к такой странной профессии. Как зарождаются дети, Герберт приблизительно представлял.

— Хотите, образчик покажу? — предложил толстяк.

И хотя Герберт замахал руками от неожиданности, тем не менее владелец противозачаточной фирмы уже ринулся к антресолям, на которых покоился его огромный кожаный саквояж.

— Как хорошо, что я не успел сдать его в багаж, — говорил он, снимая саквояж с антреселей.

Проворные толстые пальцы швейцарца скользили по желтым ремням, а Герберт думал о том, что всякая профессия должна иметь аргументы, защищающие ее. Тем временем швейцарец раскладывал на маленьком столике разные сверкающие и отливающие матовым предметы. Горка презервативов в разноцветных упаковках с целомудренным красным крестиком была, пожалуй, самой безобидной из того, что находилось в саквояже швейцарца: какие-то хромированные ящички неправильной изогнутой формы, резиновые трубки, воронки разной величины, самая маленькая из которых не больше наперстка. Наряду с железом и резиной швейцарец выставил на стол множество коробочек с латинскими надписями.

— Здесь все, что нужно для здоровой половой жизни: препараты против воспалений, против разных грибков и даже против самого сифилиса. — Говоря это, он поднял в воздух указательный палец; лицо его отличало мечтательностью. Затем он вытащил из саквояжа два шприца разной величины: один очень маленький — с женский мизинчик, а другой — очень большой, рассчитанный чуть ли не на слона. — Есть у меня средство от импотенции. — Последнее слово он произнес по слогам.

На внешней стороне коробки был нарисован улыбающийся мужчина в ковбойской рубашке и стетсоновской шляпе, лицо его выражало восторг, он смотрел на свое причинное место, которое, хотя на коробке изображено не было, представлялось крайне отчетливо. Нагромоздив гору чудовищных приспособлений, Франц как бы перевел дух.

— И вот последнее, — промолвил он с чувством глубокой удовлетворенности от всего происходящего. Из саквояжа выплыла плоская бутылочка с коньяком, кусок сыра, ножик и два красных яблока. — Угощайтесь, — предложил он и подвинул к Герберту яблоко и маленький консервный ножик. — Я вам сейчас коньяку налью.

В своей жизни Герберт несколько раз пил вино, но коньяк он не пробовал никогда. Толстый попутчик долил оба стакана до самых краев.

Коньяк был очень мягким и растекался по гортани щекочущим огненным эликсиром. Герберт вспомнил о своем обещании не пить вина, но ведь — совсем немножко, только чуть-чуть. Герберт выпил полстакана, и ему стало хорошо, он не был пьян, но тревога уходила из его сердца, комната купе виделась сквозь прозрачно-матовую занавесь покоя.

— В Цюрихе у меня есть дочь, — говорил Франц, надкусывая яблоко, — она вдвое старше вас, и у нее уже двое детей. — Франц поправил ворот рубашки.

Они стали смотреть на звезды, сопровождающие состав. Из черного пространства окна на них глядела всегда великая ночь, недопитый коньяк плавно раскачивался в стаканах.

— Вот альфа Центавра, вот Водолей, вот Близнецы, — говорил коммерсант, перечисляя созвездия; некоторых звезд они не видели, так как они находились по другую сторону вагона.

Францу было совершенно безразлично, о чем говорить, главное, чтобы он был замечен, чтобы на него обращали внимание, — он старался изо всех сил. Иногда он называл Герберта на «ты», а иногда и на «вы». Скажем, когда интересы обоих замыкались на звездах, Франц говорил ему «ты», если же он рассуждал о противозачаточных средствах и других препаратах, то обращался к нему на «вы». В последнем случае сказывался нешуточный упор на серьезное отношение к собственному занятию: хорошие мягкие вагоны, четырехзвездочные отели — все это было в его распоряжении.

Франц снова налил коньяку, Герберт выпил его и совершенно потерял контроль над собой. Пелена звуков и запахов окутала его. Герберт почувствовал, как становится стеклянным, как не слушаются его руки, как стакан, ударяясь о графин с водой, издает глухие звуки, и вся комната, словно сделанная из красного стекла с вкрапленным в ее интерьер стеклянным попутчиком, тихонько раскачивается, и кажется, что вместе с ней раскачиваются тысячи стеклянных подвесок, спрятанных где-то внутри вагона. Герберт почти не слушал разошедшегося коммерсанта, так легко перескакивающего с разговора о различных медицинских препаратах на разговор о звездах и семье. Тем не менее какая-то часть сознания, еще не затуманенная алкоголем, оставалась открытой, и брошенные попутчиком слова с язвительной настойчивостью продолжали ввинчиваться в сознание Герберта. И само движение уже не имело возможности оторвать его от сфер заоблачных. Он видел себя в голубом вагоне, легко скользящем под облаками; вагон был крылатым, он летел над уставшей от страдания землей, и яркое солнце отражалось в его перламутровых окнах; вагон рвался к воздушной границе, за которой начинался свободный эфир. Нервы Герберта отдыхали. В опьяненном воображении девушка Бербель помолодела — она обрела образ ангела. Ангел сидел на туче, хлопал длинными ресницами и смотрел синими глазами на голубой вагон, летящий по небу. И, в сущности, не был Герберт уж так чудовишно пьян, чтобы смешалось у него в сознании все, — он только приближался к тому особенному состоянию, когда реальность и нереальность не имеют явно обозначенных границ.

Всматриваясь в попутчика, Герберт понимал, что не в силах концентрировать свое внимание на резиновых шлангах и блестящих воронках, на плоском алюминиевом насосе, который должен помогать откачивать плод на ранней стадии беременности. Рокочущий голос попутчика напоминал океанский прилив, сил подняться у Герберта не было, и он, как кролик, тупо смотрел перед собой, стараясь уловить ход событий, которые почему-то продолжали стоять на месте. Наконец вагон качнулся, и Герберт плавно, словно тряпичная кукла, коснулся медной чашечки рефлектора. Холод попал в мозг и как бы разбежался по членам.

С большим трудом Герберт оторвался от диванчика купе и вышел в коридор. К горлу подкрадывалась тошнота, вагон плавно подрагивал; он

выглянул в открытое окно коридора. Звезды по-прежнему вели свой ночной хоровод, бежали вперед красные огоньки паровоза, и сильный прожектор резал темноту, как рыцарский меч — сарацина. Герберт посмотрел в зеркало и будто не себя увидел в нем. Неужели я так быстро напиваюсь? Пошел подъем, поезд замедлил ход, почувствовалась отчетливость движения. В коридоре он увидел проводника с фашистским значком.

— Где у вас ресторан? — спросил Герберт и получил ответ, что ресторан — дальше.

По дороге он встретил даму в страусовых перьях — она была тонкая, как игла, в ушах у нее висели бриллиантовые змейки, на длинной шее тоже что-то сверкало, ноги были в черных чулках и серебряных туфельках на высоких каблуках; это странное существо курило черную сигарету через белый мундштук. И Герберт решил, что мундштук у нее из слоновой кости. Вагон, в котором ехала дама, состоял всего из двух купе. Затем Герберт увидел толстого генерала, который без посторонней помощи вряд ли смог бы протиснуться в дверь. Генерал имел маленькие бегемотовые глазки и толстый нос, напоминающий какой-то овощ; грудь у него была так густо завешана орденами, что, попади в нее пуля, он не был бы убит. Перед входом в ресторан висели темно-красные шторы, Герберт отогнул их и попал в полумрак. Настенные плафоны были зелеными, а лампочки в них — красными, отчего по потолку плыл розовато-зеленый туман.

Постепенно Герберт приходил в себя. Он пил холодную воду со льдом, когда в ресторан вошел попутчик Франц; за то время, пока Герберт был один, лицо попутчика еще больше покраснело — видимо, он допил коньяк до конца.

— Вот вы где, — сказал он и не спрашивая сел за стол. — Можно, я угощу вас?

— Можно, можно. — Герберт слегка улыбнулся.

Они пили красное вино и ели красную икру. В зал ресторана входили хорошо одетые люди и не спеша рассаживались за столики. Франц тоже не спеша раскрыл пачку «Галуаз».

— Желаете? — предложил он, и Герберт взял сигарету. Он затянулся и закашлялся — сигарета была очень крепкой, он таких никогда не курил.

Ужасно нравилось чувствовать себя взрослым: он сам наливал себе вино, сам брал масло, свернутое трубочками в вазе со льдом. Этот поезд везет меня в незнакомый мир чужих повадок, в мир чужой веры в себя, там я буду пришельцем, случайным гостем.

Герберт доедал бутерброд с икрой, когда в ресторан вошла дама со страусовыми перьями на голове. Она прошла между столиками, качая бедрами. Маленькая ее головка с двумя заложенными за уши крылышками волос держалась неподвижно, взгляд ее, минуя живых, был направлен в безотчетную пустоту. Официант включил большой черный радиоприемник, из которого вырвался штраусовский вальс. Вальсы в Германии не запрещались: все «духовно безопасное», не могущее выработать дополнительную концепцию вместо имперской, поощрялось. Например, вся музыка девятнадцатого века, за исключением некоторых композиторов, была разрешена. Также нравилось власти, если ее подданные посвящали свое свободное время чтению рыцарских романов и летописей о всяких там рыцарях — это должно было развивать национальное сознание. Власть не любила импрессионизм — как свой, так и превознесенный французский; на Париж смотрели как на собрание мерзостей. Герберт снова стал наполняться алкоголем: он, казалось бы, и пил мало, а пьянел.

Из репродуктора продолжал выливаться вальс. Высокая худая женщина, сидящая напротив, как будто перестала смотреть мимо — теперь она разглядывала его. И попутчик Франц, крупный специалист по противозачаточным средствам, заметил это. Герберт старался прятать глаза, но они сами помимо его воли смотрели на хорошенькую головку в загадочных

перьях. Он перестал есть и, скомкав салфетку, оглянулся по сторонам. Красный как рак попутчик пережевывал мясо. Вальсы кончились, из репродуктора раздавался приятный женский голосок, пересказывающий прогноз погоды. Официант стал вертеть колесико приемника, отыскивая музыку. Динамик издал предсмертный хрип, затем послышалось вступление, которое было невозможно спутать с чем-либо другим: «Вен ди зольдатен дурх дер штадт марширен»¹.

Периодически Герберта осеняли острые мысли: судя по ним, посторонний мог бы заключить, что мальчик развит не по годам. Да только некому было сказать это — настолько все были посторонними, просто до ужаса посторонними. Он вновь оглянулся и, увидев, что проход пустой, встал и вышел из ресторана.

Он шел по вагонам против движения, найдя свой, сделал серьезное лицо и постучался к проводнику. Тот долго возился с замком, за дверью раздавалось сопение, наконец она распахнулась — тихий свет ночника озарил физиономию, испещренную морщинами разных пороков: лицо проводника напоминало карту железных дорог.

— Господин проводник, не могли бы вы дать мне на некоторое время ваш значок? — спросил Герберт.

— Какой значок? — не понял тот и поскреб взлохмаченные виски.

Герберт не знал, как лучше выразить свою мысль, и все время путался.

— Дело в том, видите ли, — он чувствовал, что краснеет, — дело в том, что у вас на френче значок. — Он показал на стул.

Сон проводника мгновенно прошел, глаза его сверкнули вниманием.

— А зачем он вам? — в свою очередь поинтересовался он.

— Я член гитлерюгенда и свой забыл дома.

— Это плохо, — сказал проводник, — такие значки нельзя забывать.

Проводник был старым фашистом, видать, с большим стажем. Может, я еще под стол ходил, думал Герберт, а он уже выбрасывал руку, приветствуя своих друзей.

— Значок я вам дам, мне даже приятно, что вы попросили его у меня, но ведь такие значки могут носить только члены партии.

— Ну, считайте меня будущим членом, — сказал Герберт и чуть улыбнулся.

Значок оказался тяжелым.

— Я сам вам его прикреплю. — Видимо, он еще не знал, как относиться к Герберту, а тот понял, что в этот момент проводник вкладывал в это занятие всю свою душу.

Обращали на себя внимание руки — это были руки человека, привыкшего к физической работе, руки с тупыми плоскими ногтями. Наверно, он и проводником работал недавно, а до этого, может быть, рыл каналы или сплетал канаты. Партия помогла ему устроиться на эту несложную работу с частыми выездами за границу.

Больше они не сказали друг другу ни слова. Должно быть, он эту свою партию очень любит, если с таким почтением относится к какому-то паршивому значку, решил Герберт.

Когда он вновь вошел в ресторан, то из приемника звучала уже совсем другая музыка. На лице его зажглась ослепительная улыбка, правое плечо инстинктивно выдвинулось вперед, — значок нес себя как плакат.

— Прошу сдавать деньги в фонд гитлерюгенда.

Это был вызов — впереди еще была граница. Ресторан оцепенел: за столами сидело много иностранцев, и они совсем не желали отдавать Гитлеру свои гульдены, фунты и франки. Однако немцы охотно полезли во внутренние карманы, видимо чувствуя в вызывающем фокусе печать судьбы.

¹ Когда солдаты маршируют по городу (нем.).

Концы пожертвованных банкнот выглядывали из нагрудного кармана Герберта как пожухлые листья. Ему вдруг стало очень понятно выражение «стричь купоны».

Собрав деньги, он уселся за стол и стал их считать. Всего было семьсот семьдесят пять марок, сумма большая, — такой он еще никогда и в руках не держал. На губах его играла довольная полуулыбка — все доверчиво расставались со своими деньгами, и никто не потребовал от него каких-либо подтверждений. Худая красавица, отдавшая двадцать марок, смотрела на него иронически.

— Здорово у тебя это получается, — сказал Франц и толкнул его локтем.

— Я старался, — ответил Герберт, усмехнувшись.

— Шампанского, — прохрипел попутчик и, искоса посмотрев на мальчика, заговорщицки ему подмигнул.

— Я сейчас ничего заказывать не буду, мы еще в Рейхе, у всех ума хватит, чтобы понять, что я разгулялся на те деньги, которые насобирал.

Франц хлопнул его по плечу и стал есть бифштекс. Одно опьянение переходило в другое. За окном пронеслась чернота ночи с редкими огоньками, которые выстраивались в струнку, исчезали, появлялись вновь, а светящийся поезд тоже в свою очередь подмигивал им, как будто огоньки передавали друг другу какие-то важные известия.

Ресторан пустел, плафоны погасли, поезд совершал подъем.

— Сейчас самое время брать шампанское — все, кто сдавал деньги на партию, уже ушли, — прошептал Герберт.

В ресторане была еще одна пара, но ее можно было не опасаться — они пришли после сбора. Франц почему-то шепотом подозвал долговязого официанта и долго объяснял ему, как и что поднести и во что это лучше заворачивать.

Назад они шли по коридорам, держа в руках пакеты с шампанским, апельсинами и шоколадом. Женщина с маленькой головкой стояла и курила в коридоре. Когда они поравнялись с ней, она сделала жест рукой, приглашая их в купе:

— Прошу ко мне — отпраздновать удачный сбор средств в фонд партии национал-социалистов.

Герберт и Франц переглянулись. Женщина предупредительно открыла перед ними дверь, и они молча вошли к ней. Ее купе оказалось куда более просторным, чем то, в котором ехали они. По-немецки женщина говорила с акцентом, когда же она села, то стало заметно, как она косоглаза. Франц и Герберт раскачивались на двух миниатюрных креслицах. Под тяжелым попутчиком кресло скрипело так, словно готовилось испустить дух.

— Меня зовут Хельга, — сказала она и протянула длинную сухую руку сначала Францу, а потом Герберту.

В какое-то мгновение Герберту показалось, что он пожимает не руку, а длинную хищную змейку, но вот змейка выскользнула у него из ладони и превратилась в изящную женскую руку. Мысли уносили его в заоблачные дали — туда, где красноватое отчаяние сомкнуло над любимым городом яйцевидный купол. Город этот назывался Берлином. В этом городе жила светловолосая девушка Бербель. Оглупленное выпивкой сознание то возвращало его к реальности, то вновь опускало в мир воспоминаний.

— Давайте споем песню, — неожиданно предложила женщина и, не спрашивая их согласия, стала тихонько напевать «Майн либер Августин», слова она произносила особо — проглатывая окончания. Вдруг она замолчала и, оторвав взгляд от бронзового светильника, словно очнувшись, огляделась. — Я шведка, мой муж дипломат, — сказала она, вставляя в мундштук сигарету, взгляд ее был затуманен.

Попутчик Франц сразу определил в ней опытную развратницу.

— Кстати, какую жатву вы собрали с испуганных и нацистов? — спросил он у Герберта.

— Я тоже кое-что дала. — Она подвинулась к юноше, тем самым смутив его. — Может быть, я еще что-нибудь спою вам?

— Давайте лучше откроем шампанское, — предложил пьяный попутчик, в голосе которого едва угадывалось человеческое достоинство.

Герберт лихим жестом гусара вытащил бутылку и стал открывать ее. Глухо стукнула пробка, розовая пена ударила из бутылки и брызнула на значок Герберта, приколотый к куртке, — пузырьки мягкой шапкой ложились на белую рубашку и быстро лопались.

— Кровь, — произнесла Хельга, показывая на рубашку, по которой растеклось большое пятно.

— Да ну что вы, это всего лишь вино, — успокаивал Франц впечатлительную шведку.

А она вдруг перешла на родной язык, слова булькали у нее в горле, словно пытаясь освободиться.

Непонятное состояние женщины передавалось, как магнитное поле. Перед Гербертом возник портрет девушки, занимавшей его воображение, краски его были смазаны, одурманенное выпивкой сознание растворяло себя в безотчетных глубинах внутреннего «я». После шведского приступа Хельга наклонила голову и как бы забылась. Пьяный Франц встал, посмотрел вокруг ничего не видящими глазами, толкнул дверь и вышел в коридор. Оставшись со шведкой, Герберт почувствовал себя неуютно. Она смотрела ему в глаза, а он отводил их в сторону.

Странноватая игра начиналась между ними. Наконец ему это надоело, он прищурился и заулыбался.

— Вы нравитесь мне, — сказала шведка, — вы себя так свободно ведете, словно вам уже двадцать лет.

— Мне только четырнадцать, — тихо сказал он.

— А что вы будете делать с этими деньгами? Сознайтесь, никакая партия не давала вам такого поручения. — Шведка явно требовала утвердительного ответа и очень внимательно изучала мальчика.

— Ну вот, скажем, так я вырастаю из детских штанишек, а вы хотите, чтобы я перед вами оправдывался.

Неожиданно она встала, подошла к мальчику и положила ему одну руку на плечо, а другую на голову. Она гладила его по волосам и постепенно опускалась на колени.

Через несколько часов он очнулся. Неяркий ночник освещал спящую с ним рядом темноволосую женщину. Во сне лицо ее слегка подергивалось, рот был полуоткрыт, а над верхней губой лежала тонкая и пушистая змейка. Змейка показалась ему несколько странной, и он нагнулся над спящей. Женщина пошевелилась и закинула руку за голову, отчего у Герберта побежали по шее мурашки. Он сел на кровати, надел брюки и посмотрел на золотой брегет, лежащий на столике. Циферблат часов состоял из разнообразных животных. Вместо цифры двенадцать была нарисована сова, вместо часа — волк с оскаленной пастью, на двух — тигр, на трех — орел. Было три часа сорок пять минут. Большая стрелка приближалась к кабану, нарисованному вместо четвертого часа; в голове у мальчика бушевал шум миновавшего опьянения. Шведка что-то шептала во сне. Одевшись, он открыл дверь купе, огляделся по сторонам, затем вернулся, выключил лампочку над головой спящей, собираясь уйти совсем. Тут шведка проснулась.

— Кто здесь? — спросила она по-немецки, еще не понимая, куда же исчез свет, так ровно и ласково баюкающий ее.

Но Герберт уже отступил в полутемный коридор и, не ответив ей, закрыл за собой дверь. Поезд чуть сбросил скорость — происходил подъем. Герберт толкнул дверь своего купе и погрузился в полнейший мрак: черная штора окна была опущена до конца; рядом постепенно глаза привыкали к темноте, он нащупал диванчик и лег, рядом раздавалось похрапывание Франца.

Растянувшись, Герберт закрыл глаза и как будто взмыл в воздух — ощущение легкости и звонкости, необычайное по остроте, подвижное как ртуть и вместе с тем постоянное, заполняло все его тело. Это не была еще радость любви, это была лишь обескураживающая ее предтеча. Сто тысячелетий назад млели от этого в первобытных пещерах и продолжают млеть сейчас в комфортабельных пульманах.

Герберт лежал под простыней: в купе было очень душно; он потянул кожаный шнурок у изголовья, и на потолке заработал вентилятор, стало свежее. Мысли разметались в голове его, они опутывали сознание, как обрывки серпантина опутывают балкон после новогоднего бала. Наряду с легкостью и звонкостью грусть стучалась в душу молодого человека — он вертел в руках волшебную трубу, а кусочки стекла никак не складывались в стройную картинку. Вот это и есть измена, думал он, закутываясь в простыню. Мысль, путаясь и ломаясь, беспорядочно объезжала непривычные для нее представления о вере в чувствах и ощущениях. До поры знания Герберт пребывал в прекраснородушной прострации. Информация о реальности поступала к нему только из книг и кинофильмов. Он лежал в крошечной темноте, натянув простыню до самого подбородка, и не чувствовал пространства и времени; он вообще уже ничего не чувствовал — тело, наполненное легкостью и оцепенением, совершенно выключилось из реального мира.

Паровоз сбросил пары — поезд подходил к границе. Герберт скинул с себя простыню и подошел к окну. Поезд стоял. Он поднял шторку — через щель брызнули яркие лучи станционных фонарей. Это была граница; жирная белая полоса, разделяющая перрон на две равные части, была ярко освещена. Герберт увидел швейцарского пограничника в сине-зеленой шинели и в конфедератке, он был стянут как корсетом белыми ремнями портупей.

Швейцарцы начали проверку паспортов с первого вагона, немцы с хвоста. Через полчаса хлопанье дверей и шорох шагов в коридоре достигли апогея. Герберт посчитал нужным зажечь ночник. Желтый электрический свет расплзался по стене в форме латинской буквы «V». Где-то рядом слышались голоса таможенников. Осторожно постучали в дверь. Герберт надел тапочки, толкнул попутчика и открыл ее. Торговец противозачаточным материалом спешно заелозил по столику — искал очки. В купе вошли два швейцарца: один офицер, видимо лейтенант, другой — чином пониже. Офицер был совсем молоденький: он весьма невнимательно просмотрел паспорта и вернул их, при этом Франц запутался в своем пиджаке, отчего выглядел очень смешно, из какого-то кармана у него выпало несколько порнографических карточек, и он, опустившись на колени, стал лихорадочно собирать их. Поднявшись с красной физиономией, он встретился глазами с Гербертом и тут же опустил взгляд, однако тому, познавшему последнее таинство перед тем, как стать искушенным или даже испорченным, по сути, было глубоко наплевать на фотографии голых.

— Можно это? — Офицер протянул руку, и попутчик услужливо вложил в нее паспорт. — Нет, не это. — Он кивком указал на фотографии.

Франц подал их, а Герберт встал и заглянул через плечо офицера, но тот пригнул к себе руку, и Герберт ничего не увидел.

— Некрасиво заглядывать через плечо, — сказал пограничник, отдавая фотографии Францу.

Снимки не были порнографическими, каждая женщина демонстрировала какой-нибудь препарат.

— Фотографии покажите, — попросил Герберт, когда пограничники козырнули и вышли в коридор.

— Не покажу, — огрызнулся Франц, внутри которого бродило похмелье.

Герберт налил себе стакан воды и залпом выпил ее. Неожиданно дверь за его спиной открылась, и в нее протиснулись два толстых немца. Если

после прихода швейцарцев Герберт уловил запах духов да, может быть, крепкого табака, то с немцами вошел запах тревоги, самоуверенной и грубой, как набат большого колокола. Соотечественники были мясисты и кривоноги и при этом очень похожи друг на друга: у обоих головы напоминали большие каучуковые шары, руки — тоже большие, свисавшие вдоль тела, как бесформенные куски глины, — видимо, Бог создавал этих людей не по своему подобию. Вошедшие в купе были неприятны. Он силится вспомнить одежду двух пожилых военных на своем дне рождения. Киттели участников схватки на Марне и под Верденом расплывались в одно зеленовато-белое пятно, тем не менее богатая перевязь погон, красные и золотые строчки, дорогие аксельбанты на груди — все это говорило о том, что на его дне рождения присутствовала военная элита. Резкий запах дешевого одеколona моментальной заразой растекся по всему пространству купе. Соотечественники очень внимательно разглядывали паспорта; их маленькие рысьи глазки лихорадочно перебежали с буквы на букву, они смотрели бумаги на свет и, кажется, даже нюхали их. Когда они взяли документы Франца, тот стал сжиматься и разжиматься, как тесто. На пограничниках были короткие черные сапоги, и вышли они как две большие черные крысы.

Как только дверь за ними закрылась, Герберт подбежал к окну и, ломая ногти, поднял вверх раму. Струя прохладного ночного воздуха выдула остатки посторонних запахов. Попутчик шмыгал носом, вновь устраиваясь на постели. Герберт же спать не мог, он включил ночник, выдвинул красный фильтр и под красным этим светом стал листать толстый иллюстрированный журнал, в котором была спрятана красивая жизнь: англичанки и американки подсаживались в роскошные лимузины к не менее роскошным спутникам, лица мужчин улыбались, женщины изображали приятное удивление. Герберту даже показалось, что авто срессорило и послышался мягкий щелчок замка, «ройсы» и «даймлеры», «бьюики» и «шевроле» проносились перед его глазами. Чаще всего начало капота украшал какой-нибудь устремленный в пространство предмет: серебряный индеец, торпеда, птица, вымершая пять миллионов лет назад. В общем, автомобильные дизайнеры изошрялись в украшательстве своих творений. На других страницах журнала находились брильянтовые кольца, кольца и браслеты, которые рекламировали красавицы в длинных и узких платьях, с вытянутыми лицами. Красавицы были гибкими, как змеи, и когда Герберт переворачивал страницы, то казалось, что они извиваются.

— Скоро приедем. — Попутчик Франц приподнялся на локте и заглянул в темноту за окном.

Герберт тоже поглядел в темноту и остался ею недоволен. Журнал перестал интересовать его.

— Франц!

— А, — откликнулся тот хриплым от сна голосом.

— Скажите, — продолжал Герберт, — а почему вы не дали мне карточек с голыми?

— А ты еще мал.

— Я сегодня уже спал с женщиной.

— Как это спал, с кем это спал? — От полноты чувств попутчик даже приподнялся на подушке, рубаха его белела в полной темноте. С натянутым на голову одеялом Герберт не мог видеть лица говорившего, но по звуку голоса понял, что попутчик взволнован. — Ты спал со шведкой?

— Да, — ответил Герберт и не узнал своего голоса.

— Ты ее уговаривал?

— Нет.

— А как же все это вышло?

— Франц, я вам все расскажу, только несколько позже.

Поезд шел тихо-тихо, чавкали буфера, в окна прокрадывался рассвет. Герберт прильнул к окну и поразился совершенству окружившей его красоты. Обильная летняя флора тянулась вдоль железнодорожной насыпи, существуя как бы сама по себе. Тонкие сосны сначала редко, а потом все гуще и гуще охватывали подножия гор. Лес доходил до середины горы, вторая половина была голая, там росли редкие кусты, а на вершине, неровно свесившись вниз, лежал снег. Герберт встал и вышел в коридор, из которого открывалась панорама пологих зеленых холмов. Красноватая солнечная корона, скользящая по вершинам холмов, обозначила начало нового дня. Герберт постучал к проводнику и торжественно вручил ему взятый напрокат значок.

— Он помог мне понять мое предназначение. — Герберт был в халате, нарисованные на нем драконы улыбались.

— Скоро Цюрих, — сообщил проводник. — Ночью мы проезжали Рейн — это наша национальная гордость.

Это неверно, подумал Герберт, природа не может быть национальной гордостью, ею может быть только духовный потенциал общества. Вот я упал в развратную пропасть, да еще просил посмотреть карточки с голыми, мой духовный потенциал находится на весьма низком уровне и уж тем более никакой национальной гордости из себя представлять не может.

— Сегодня я видел горы, — сказал Герберт.

— Когда? — спросил проводник.

— Не далее как час назад. Видимо, горы — тоже национальная гордость, — добавил он.

— У Швейцарии нет гордости, эта страна продается за жирные американские куски.

— Да, да, как это верно, — сочувственно пролепетал Герберт, — вы абсолютно правы, герр проводник.

На столе у проводника была разложена колбаса и куски вареного картофеля, на сложенной вчетверо «Фелькишер Беобахтер» стоял стакан с молоком. За окном пролетали предместья Цюриха, беспечные, как и сто лет назад.

— Швейцария — это свободная зона Германии, — сказал проводник, и эти его слова впечатались в сознание, как расплавленные капли воска в холодную руку.

Было утро. Герберт бездумно шел через состав — он соскучился по твердой земле. Для него поезд был парходом, скользящим по синим волнам. Дойдя до купе, в котором помещалась соблазнившая его шведка, он без стука отворил дверь, но, увидев, что женщина спит, снова закрыл ее. В пустом ресторане Герберт купил пачку сигарет и выпил чашку крепкого кофе. Официант, присутствовавший при сборе денег на партию, усмехнулся — Герберт достал из кармана халата толстую пачку банкнот.

Вернувшись к себе, он увидел, что попутчик складывает вещи. И следа не осталось от той дружелюбности и благорасположенности, которая сближала их накануне. Он наблюдал за тем, как Франц аккуратно собирает образцы — так он называл принадлежности, с которыми общался по долгу профессии. На вокзале в Цюрихе поезд стоял двадцать минут. Прощаясь, Франц сказал: «Вы были не самым плохим попутчиком». Герберт помахал ему в окно. Он видел, как носильщик подхватил чемоданы Франца, и оба скрылись в павильоне вокзала.

Мысль позвонить в Берлин мелькнула неожиданно. Через витрину вокзала Герберт увидел телефонную будку. В павильоне под вывеской «Национальный банк» выстроилось несколько человек. Из кармана штанов он вытащил толстую пачку и стал ее пересчитывать, вокруг слышалась знакомая немецкая речь, только более мягкая и отчетливая.

Тоненькая телефонистка с глазами навывкате объяснила, что разговор может состояться в течение получаса, а до отправления поезда оставалось

десять минут. Тем не менее он сделал заказ и оплатил три минуты. Берлин дали в тот момент, как прозвонил гонг и поезд тронулся.

— Я в Цюрихе! — крикнул он в микрофон. — Видимо, пробуду здесь какое-то время — секунд тридцать, — после этого двинусь дальше.

Бербель не отвечала, было слышно ее дыхание, но она молчала.

— Ты слышишь меня, Бербель? — спросил он, но она по-прежнему молчала.

Она молчала, а поезд набирал скорость. Герберт повесил трубку и бросился за составом.

До Альтдорфа надо было ехать еще несколько часов. Позавтракал он в ресторане и, расплачиваясь, ощутил приятное тепло, идущее от плотной бумаги и незнакомого вида купюр. После завтрака ему мучительно захотелось спать, и он проспал до самого Альтдорфа, ни разу не проснувшись.

На городском вокзале через окно он увидел отца — на голове у того была зеленая охотничья шляпа с маленьким перышком. Саквояж Герберт не разбирал, поэтому только сунул туда халат и вышел на перрон. Отец медленно двинулся к нему; Герберт сделал навстречу несколько таких же нерешительных шагов и остановился. После некоторой паузы они так же медленно стали сходитьсь; дуэль взглядов была прекращена протянутой вперед рукою отца, они обнялись. У вокзала их ожидала красная спортивная машина, в которой сидел толстый шофер с пушистыми усами.

Аккуратно размеченное белым пунктиром шоссе петляло между редкими соснами, красные крыши небольших уютных домиков от солнца стали еще более праздничными. Асфальтированные съезды с шоссе и идущие параллельно им пешеходные дорожки, посыпанные красным песком, убежали к низким зеленым заборчикам. Навстречу двигался открытый автобус, им управлял лысый негр; публика в автобусе пела песню, похожую на гимн, и размахивала в такт мелодии бумажными американскими флажками. Герберт посмотрел вслед удаляющимся туристам — двое из них помахали ему флажками; он улыбнулся, рассеянное счастье блуждало у него на лице. Чем-то Швейцария напоминала ему родные края, только воздух был другим. Дорога поднималась вверх, деревьев становилось все больше и больше, сильно пахло хвоей. Постепенно красные крыши исчезли, солнце спряталось.

Пансионат, в котором жил его отец, находился в десяти километрах от Альтдорфа, это было старое имение — деревянное, но очень хорошо сохранившееся. Вновь появившееся солнце высветило цветные витражи мансарды, оно плескалось на деревянных панелях и замирало между сосен. В машине Герберта укачало, видимо, сказывалась нервозность проведенной в поезде ночи.

— Ну, вот мы и приехали, — сказал отец, помогая ему выйти из машины.

Напротив дома у фонтана, который окружал цветник, сидело несколько ветхих старух: они качали головами в чепцах то ли от слабости, то ли от ветра, цветы тоже качали головками. Нежные души растений и души ветхих старух общались напротив пансионата на самой короткой ноге. Старухи не желали умирать, их родственники и опекуны перенесли слабые старушечьи тела из самых разных участков земли в богатую воздухом Швейцарию. Глаза старух казались подслеповатыми, но на самом деле были внимательны.

В холле их встретила хозяйка пансионата — тучная женщина средних лет с маленькой головкой в ужасно старомодном платье.

Отец занимал две большие комнаты в углу пансионата: одна смотрела в сосновый бор, окна другой выходили в парк; между ними был холл с обогревателем в виде длинной никелированной трубы на коротеньких ножках. Шнур обогревателя напомнил Герберту тонкую серую змейку, свернувшуюся в клубок. Отец отвел его в комнату с видом на сосновый бор и посадил в кресло напротив чучела огромной совы на фигурной чу-

гунной подставке, рядом с совой стояла банкетка красного дерева, обтянутая потертым шелком с удивительными по яркости красками, типичный лубочный сюжет: белокурая пастушка обнимает белокурого пастушка под сенью раскидистого дуба. Как же все-таки бывает приятно смотреть на милые бессмысленные мордашки! Герберт опять задремал, предметы снова поплыли у него перед глазами, и, когда отец вкатил в комнату тележку с дымящимся ужином, он спал, положив голову на валик дивана.

Поев, он решил оглядеть окрестности и вышел из комнаты, отметив на часах половину пятого. Отец что-то писал.

С одной стороны, это мой отец, думал Герберт, а с другой — я испытываю к нему незнакомое чувство. От отца исходит опасность, я почти боюсь его, думал он, вспоминая прогулки и теплые беседы с родителем. Отец всегда его чему-нибудь учил. Скажем, когда Герберт строил из кубиков крепости, отец не позволял ему разрушать их. Он говорил, что кубикам больно, что ничего нельзя бросать на пол, ни на что нельзя наступать, кроме пола. Он считал, что нельзя наступать на муравьев, что давить гусениц тоже нельзя — все живое создано для того, чтобы жить, и жить достойно, сообразно со своей природой — маленькой ли, большой ли, не важно, ведь маленькое существо не осознает, что оно живет по законам маленького мира. По мнению великана, человеческий мир — то же самое, что для людей мир бабочек и жуков. Герберт опасно обходил гусениц и давал дорогу жукам, ему бы и в голову не пришло раздавить какую-нибудь тварь.

Если у всех был бы один и тот же вкус, то человечество бы скорее всего самоуничтожилось. Эту фразу он услышал от отца несколько лет назад, но по-настоящему осознать и почувствовать ее глубину смог только здесь, в Швейцарии.

Фразу он понял будто сквозь сон, но тут сон как рукой смахнуло. Мысль лихорадило. Обе страны говорят на одном языке, пасут на своих полях до ужаса похожих друг на друга пятнистых коров, а тем не менее разница была, и разница довольно заметная. Она была заключена в атмосфере. В Германии лица людей были если не злыми, то куда более напряженными, а здесь даже воздух был другой, более ароматный и легкий. Его военизированная родина создавала символы страха — эти символы должны были держаться на вере, а вера должна была исходить от людей.

Попав в Швейцарию, Герберт почувствовал, как у него отстраеют крылья. Сначала незаметно, затем все больше и больше, и наконец крылья выросли до весьма внушительных размеров — он бы и взмахнуть ими смог, если бы захотел. Жизнь интересней исследовать на основании полного незнания предмета. У Герберта не было печального опыта уважения мысли, в своих суждениях он опирался только на собственную уверенность. Скажем, он мог и ошибиться, но ведь редкий человек признаёт свою ошибку уже в момент ее свершения. Абсолютная его самоуверенность проистекала от незнания, а незнание и нежелание знать опирались на вполне гарантированное существование.

Недалеко от пансионата Герберт обнаружил пруд, или даже не пруд, а элементарную лужу с обвалившимися краями; в яме плавала старая облезлая утка с подрезанными крыльями — улететь она не могла и не умирала только потому, что была очень старой. Не крашенная с девятнадцатого века беседка наклонилась к самой земле. Герберт вошел в нее, и пол за скрипел у него под ногами; он сел на скамейку и стал смотреть на старую утку, плавающую кругами. Он не заметил, как зашло солнце, как ярко-белое и золотое сменилось радужным и листья покрылись загаром вечера, только тоненькие тени стволов говорили, что день уже кончился.

В это время его отец слушал радиоприемник и писал письма; он машинально надписывал на конвертах голландские и австрийские адреса.

Ближе к ночи Герберт попал в кино и познакомился с американцем. Американец был тучным, от него страшно воняло табаком. Все от него отсели, один Герберт остался рядом. Американец попробовал закурить прямо в зале, но больные стали возмущаться, и сигарету пришлось потушить. Стул под ним был готов развалиться — толстяк раскачивался, как маленький ребенок, несмотря на вес и возраст. Было уже темно, бодро хлопали двери — пансионат готовился ко сну. Американец жил на одном этаже с Гербертом. С виду он был настоящий немец — самодовольный, толстый и бесцеремонный.

— А что вы здесь делаете? — спросил он у Герберта, отчего тот покраснел и, заикаясь, объяснил, что приехал к отцу.

— Да, к отцу, — повторил мальчик и опустил глаза, ему было не слишком приятно сознаваться в том, что он не такой взрослый. Вот если бы он был принцем и мог бы самостоятельно посещать дорогие курорты Ниццы или Сан-Марино, то конечно же ни у кого не могло возникнуть вопроса, откуда он, все бы просто знали, что он принц, и все.

Сон не шел. Герберт лежал в темноте, месяц вползал в комнату, смешивая темно-синий цвет с серебристым. Сквозь красные треугольники стеклышек, вставленных в дверной витраж, светилась зеленым лампа в комнате отца. Герберт вдруг вспомнил, что не сказал «спокойной ночи», как это было принято дома. Постучав в дверь, за которой скрывался отец, он, не дожидаясь ответа, толкнул ее.

— Ну что, не спится? — Отец снял очки и положил их на край стола.

Мгновение Герберт внимательно смотрел на стол, как бы изучая его. Потом он перевел взгляд на зеркало и увидел вытянутое нескладное тельце с острыми коленками. Он сел напротив отца и опустил глаза.

— Это хорошо, что ты зашел. — Отец взял со стола набитую трубку и закурил, кольца дыма поплыли под потолком. — У тебя, Герберт, изменился взгляд.

— И как же — в лучшую или в худшую сторону?

— Нет, не в худшую, но он стал другим. У тебя стали завиваться волосы или мне так кажется?

— Тебе так кажется, папа, просто ты давно не видел меня, отвык. Помнишь, как я подвернул ногу, а ты нес меня на руках, а потом ты мне купил заводной грузовик? Помнишь?

— Ну конечно, помню, кажется, это было вчера.

— Нет, не вчера, вчера я ехал на поезде. Скажи, почему ты уехал, тебе здесь лучше? В Берлине у тебя была практика, а здесь что — одни старухи и письма. Что ты все время пишешь? — Герберт подошел к столу и взял в руки конверт, сначала один, потом другой. — Вена, Стокгольм — это друзья?

Отец затаился и не спешил отвечать, он внимательно смотрел на сына, словно пытался распознать ту неуловимую детскую сущность, которая, наверно, все еще оставалась в Герберте.

— Да, это друзья, у всех должны быть друзья.

— Должны быть, а вот у меня их нет.

— Нет — значит, будут, значит, не пришло время им появиться. Мне кажется, сейчас какое-то другое время, время без друзей. Общие идеи, общие деньги, а друзья, на мой взгляд... — Неожиданно он замолчал, опустил голову и стал загибать левой рукой пальцы на правой руке.

— Я еще ничего не сделал, отец, вот ты — ты спас столько людей, о тебе помнят дома, многие помнят.

— Да, наверное, помнят.

— Скажи, папа, а почему девушкам нравятся мальчики постарше?

— Ну, в твоем возрасте мне нравились девушки, которые были старше меня, старше на несколько лет. А почему ты спрашиваешь — кто-то разбил тебе сердце?

— Да кто его разобьет! Кому оно нужно. У меня там такая трагедия. — Герберт сделал театральный жест от себя, а потом резко прижал ладони к груди.

Отец же вспомнил, как мать его сына, в пору их взаимного интереса друг к другу, изображала Офелию, и этот характерный жест ребенка был точной копией того, который продемонстрировали худые и смуглые женские руки пятнадцать лет тому назад, в полуголодной, раздавленной репарациями Германии.

Но вот замерла беседа, обрамленные красноватым ободком тучи поплыли над самым столом. Герберт мог бы поклясться, что видел молнию и потоки дождя, упавшие на заваленный бумагами стол, буквы поплыли, конверты сморщились. Фраза «чистосердечно признаюсь вам» превратилась в длинное горизонтальное пятно. Никто и ни в чем не хотел сознаваться, трубка и авторучка отца лежали в воде. Наконец Герберт очнулся, представляемое исчезло; отец был конкретен, бумага суха, а лампа пролила почти осязаемый свет.

Отец выбил трубку в тяжелую мраморную пепельницу и отвернулся.

Герберту казалось, что его кровать дрожит... Засыпая, он ощущал страшный свист, стоны и просыпался от безотчетного ужаса, проникающего во все клеточки его существа. Измученный бессонницей, он закрыл глаза и, представляя тропические чащи и редких животных, наконец уснул.

И приснилось ему огромное поле боя. Он медленно идет между траншеями, а вокруг бесконечные мертвецы, застывшие в самых замысловатых позах, в каких и застать может только смерть. Он спускается в окоп и видит присыпанные землей тела, грязные руки и ноги торчат из земли, как случайные палки. Ботинок с порванными шнурками, плоская, пробитая пулей каска, напоминающая колониальный шлем, вот чья-то шинель с красным подбоем, воткнутая штыком в землю винтовка. Молоденький офицер сжимает в руке пистолет, застывшие голубые глаза смотрят в серое пасмурное небо, небо недавнего боя, и Герберт понимает, что находится на французской стороне. Разбросанные взрывом бревна блиндажа, внутри два убитых пулеметчика, один еще сжимает в руке коротенькую ленту. Герберт перешагивает через разбитую телефонную коробку и выбирается из окопа, за спиной его, слабо шурша, осыпаются струйки земли. Маленькая, остановленная снарядом танкетка сползла в воронку, рядом с ней лежит убитый механик, он в черной кожаной куртке и в кожаном шлеме, на рукаве трехцветный шеврон. Какой кошмар, я попал на войну, надо выбираться отсюда, думает Герберт, пересекая линию фронта. Он идет в сторону немецких позиций и видит ту же картину: покореженные машины и орудия, трупы лошадей и в беспорядке разбросанные противогазные маски. Герберт перешагивает заграждения из колючей проволоки и видит, что у развалившейся телеги, прислонившись спиной к колесу, прямо на голой земле сидит девушка, ноги у нее раскинуты в разные стороны, волосы закрывают лицо, грудь залита кровью. Герберт наклоняется над ней и убирает волосы с лица. Это Бербель. Во сне Герберт не может сдержать рыданий. Он плачет. Он трогает девушку за плечо, и та открывает глаза, по лицу ее сбегает мелкие капельки пота.

— Как я рада, что ты пришел.

— Не умирай, Бербель, не умирай, — просит мальчик. — Как же так, как так случилось?

— Штыковой удар в грудь черной конголезской руки. И все.

— Ты будешь жить, Бербель. Я не дам тебе умереть.

— И напрасно, Герберт, напрасно. Потому как любовь и смерть состоят из одного вещества.

Девушка опускает голову и умирает, Герберт ловит ртом воздух и просыпается.

Раннее утро — солнечный свет лениво переваливается через перила балкона. Неужели сон был таким длинным? Часы показывают половину седьмого, пансионат еще спит.

Герберт распахнул окно, сон легкой дымкой витал над природой, шелест трав и деревьев был слабым. Он оделся, на цыпочках прошел мимо комнаты отца и выскользнул в коридор. Там было темно, несколько узких прямоугольных окошек неровно освещали развешанные репродукции. Птицы стояли, выставив хвосты и собрав их в маленький венчик; глаза у них были пусты, и он обрадовался, что ему не довелось стать птицей. Одна картина была такая выразительная, птица так жадно смотрела перед собой, что Герберт поспешил уйти. Внизу в холле сидело несколько стариков — в руках у них были высокие стаканы с минеральной водой. Выйдя во дворик, он увидел металлическое кресло, на сиденье которого лежали две белые розы, капли росы блестели на их лепестках. Герберт не заметил старушку, подошедшую сзади и тронувшую его за рукав.

— Вам нравятся цветы? — спросила она.

— Да, очень красивые. — Он посмотрел на дорожку сада, по которой ползла еще одна рептилия. Это был старик на коляске с мотоциклетным мотором; коляска с грохотом приближалась к клумбе, старик повернул кривую медную ручку, и механическое сооружение остановилось почти рядом с ботинками Герберта. Старик смотрел строго — это был взгляд человека, не привыкшего к возражениям. На глазах Герберта старуха медленно подошла к старичку и поцеловала его в лоб. Дым от мотоциклетного мотора отчасти закрыл этот трогательный поцелуй. Герберт был абсолютно уверен — это его соотечественники, только немец может смотреть в глаза с такой вызывающей принципиальностью.

— Мой сын каждый день присылает мне розы. — Старуха обращалась к Герберту, и он постарался изобразить на лице внимание. — Мой сын — генерал. — В голосе старухи звучала гордость. — Каждый день я получаю от него эти розы. Вы немец?

— Да, похоже на то, что я — немец, — ответил Герберт и перевел взгляд на старика, который внимательно его разглядывал.

— Нет, все-таки, — вспыхнул старик, — вы немец или нет?

— Наполовину немец.

— А наполовину чех, — добавил старик и выдвинул вперед худощавое свое тельце, как бы желая услышать подтверждение своих слов.

— Я наполовину венгр.

Старичок зашелся дребезжащим и неприятным смехом.

— Немец никогда не станет так робко говорить о том, что он — немец. — В этой последней фразе старика прозвучало глубокое самодовольство, и в следующее мгновение он, отвернувшись, угощал сахаром молодую шотландскую суку.

Хорошо, что юность порой находит в себе силы оттолкнуть дряхлую и мудрую руку старости: юность понимает не опытом, а чувством, что древность зовет повторить свои стремления и ошибки. Вот и Герберт мог уподобиться собаке — лизнуть руку старика, приластиться к нему. Но он этого не сделал, значит, это сделают другие; на свете были не только собаки, но и люди, готовые брать сахар из рук старика.

Тучный американец выскочил откуда-то сбоку.

— А, малыш, как спалось? — спросил он не прерывая движения и, не дождавшись ответа, побежал дальше. Его широкие трусы в черно-белую клетку еще долго мелькали между деревьями.

Герберт провожал его взглядом, сохраняя в горле комок. Ужасно хотелось перенестись в какую-то иную плоскость, чтобы избавиться от чужих дыханий и мыслей, которые неслись Герберту вслед и больно ударяли в спину. Он побежал легкой рысью, и растения шелкали у него под ногами.

В конце аллеи он увидел ворота, на верхней перекладине была выведена цифра «1883». Сколько же стариков отправилось на тот свет из этого пансионата? Узкая асфальтированная дорожка вывела его на шоссе, и он пошел по обочине.

Через полчаса солнце стало сильно припекать. Он снял курточку. Навстречу ему ехали машины различных марок — маленькие и большие, легковые и грузовые автомобили всех стран мира двигались в этот утренний час по шоссе, разноцветные автомобильные ленты перерезали этот нейтральный европейский оазис.

Неожиданно для себя и непонятно по какой причине Герберт обернулся и увидел вдали небольшую красную точку, которая все увеличивалась и наконец превратилась в роскошный спортивный «бьюик» красного цвета. «Бьюик» приветственно просигналил, и Герберт узнал за рулем машины давешнего американца. Тот притормозил. Машина была открытой — хромированные ее части сверкали на солнце, как бы сообщая всем вокруг: смотрите, какая погода, как свежо это утро и как радостна я, везущая вас в неизвестность. Машина и внутри была не менее шикарна, чем снаружи; ребристый, покрытый золотом приемник испускал из себя джазовые мелодии — сильные и сочные голоса черных американцев разжигали в душе эмоциональный пожар.

— Ну, молодой человек, давайте знакомиться: меня зовут Пол; руку вам я не подаю, потому что она у меня в перчатке.

Герберт посмотрел на руки американца, державшие руль, — перчатки были без пальцев, с мелкими дырочками. Герберт назвал себя.

— Видать, ваши перчатки стоят много дороже обычных?

Американец засмеялся:

— А почему вы спрашиваете об этом?

— Ну, просто я никогда не видел таких, — ответил Герберт.

— Садитесь, я прокачу вас, маленький лорд.

Герберт забрался в кабину и сразу почувствовал радость комфорта. Стрелка спидометра приближалась к восьмидесяти.

— Кстати, Пол, а куда мы едем?

— Просто едем, едем, и все. Разве вам не нравится наше путешествие?

— Да нет, мне все нравится, но все же интересно, неужели вы путешествуете без цели?

— Без цели, Герберт, абсолютно без цели, цель приходит во время движения, разве это не ясно? Впрочем, если вы желаете выйти, то можете это сделать сейчас.

— А назад вы меня отвезете?

— Ну конечно, Герберт, мы вместе вернемся назад. — Пол улыбнулся, и лицо его стало похоже на огромный намазанный маслом блин с узкими щелочками глаз.

Машина стонала на поворотах. В Альтдорфе они остановились около небольшого особняка.

— Тут живет мой приятель. — Пол сделал приглашающий жест в сторону двери.

Оказавшись в прихожей, Герберт ощутил некоторую необычайность, которая носилась в воздухе вокруг человека с почти аскетическими чертами лица. Голова его напоминала конус: нижняя часть лица была очень узкой, а верхняя непропорционально широкой, резкие скулы хорошо обозначали череп. Он было сказал несколько слов по-английски, но, как только Пол ответил ему, сразу же перешел на немецкий с сильным акцентом.

Дом в стиле модерн был просто роскошным. Прихожая была расписана геометрическими фигурками, которые наползали друг на друга, образуя единую картинку. Герберт, мечтательный Герберт, плохо отличавший сны от реальности, благодарил обстоятельства, которые привели его в новую

среду. Швейцария дарила ему свою сдержанную, но ужасно обаятельную улыбку. Заграница дышала неизвестностью. Она была такой, какая может возникнуть в воображении, и это смыкание воображаемого и действительного оказалось для его психики роковым.

Окна в комнате были открыты, утренний ветер резво скакал по предметам, и Герберт мысленно ушел от своих новых знакомых. Он пытался вспомнить, что же он видел в комнате Бербель — стол, стул, а дальше что? Дальше — провал, бездна, и эта бездна ничем не заполняется. В этой бездне благополучно тонули теплые надежды и долгие ожидания. Он создавал, лелеял и склеивал эти миры из обломков чувств и воспоминаний. Все ушло во внутренний мир, а внешнего он как бы и не замечал.

Американцы разглядывали Герберта; они снова перешли на английский, Герберт понял, что говорят о нем.

У приятеля Пола имя было простое, как короткий гвоздь, — его звали Кен. Необычайно умные его глаза притягивали к себе.

— Ты нас не боишься? — неожиданно спросил Пол. — Ведь мы тебя съестъ можем.

Он подмигнул Кену, тот подошел к Герберту и положил ему на плечо свою руку.

— Не бойся ничего, толстяк неудачно пошутил — мы не поедаем людей.

— А вы кто? — Герберт сделал ударение на последнем слове, словно пытаясь внушить Кену, как важен ему этот вопрос.

— А разве так уж и важно, кто я? — спросил тот и в свою очередь посмотрел на толстого Пола.

— Ну, просто интересно.

— Что интересно?

— Ну, куда я попал, например?

— Ты попал к отмирающему виду человеческих существ. В чужих странах им нравится больше, чем в собственных. И они, эти существа, не делают тебе ничего дурного. Лемуры никогда не делают зла другим, все зло этого мира они направляют только против себя, — шутливым актерским голосом проговорил Кен.

— Считаю, что Герберт успешно прошел испытания, и мы посвящаем его в рыцари уставленного деликатесами круглого стола, — провозгласил Пол.

— Я не боюсь ничего плохого и не особо радуюсь, когда мне хорошо. И то и другое — закодированные признаки суеверия, — сказал Герберт.

Кен и Пол посмотрели друг на друга и ничего не сказали. Мальчик явно начинал им нравиться.

— Он очень непосредствен, Пол, — сказал Кен по-английски, и оба посмотрели на Герберта.

— Даже, я бы сказал, чересчур непосредствен для его возраста.

— Ну хорошо, а если предположить, что он умнее нас, хотя бы потенциально умнее, может быть, даже сложнее.

— Где ты подобрал ребенка? Может, его ищут?

— Сегодня он шел по шоссе, вчера мы вместе смотрели кино.

— Вообще-то я заметил, что чем дружелюбней относишься к человеку, тем меньше он обращает внимания на твои недостатки.

— Нет, ты не прав; недостатки всегда заметны, другой вопрос, что их будут воспринимать уже почти как достоинства — это приятно и выгодно.

А Пол смеялся и строил глазки Герберту, хотя заведомо знал, что тот ничего не понимает.

— Вы, видимо, немец? — неожиданно спросил Пол, на полуслове обрвав английскую речь Кена.

— Да, немец, — ответил Герберт и покраснел — его покорило, что национальность может стать поводом для беседы. — Наполовину я венгр, — добавил он и покраснел еще больше. — Если говорить о происхождении,

то оно у меня может быть без акцента — ведь, кажется, национальность тут ни при чем.

— Вот как, — промямлил Пол и нахмурился. — Мне всегда казалось, что немцы весьма самоуверенная нация, а тем более венгры. — В его словах Герберт уловил насмешку.

Но тут Кен два раза хлопнул в ладоши, и напряжение ослабло.

— Я могу показать вам свою коллекцию.

— Да, — откликнулся помрачневший было Герберт и поднял голову. — Пойдемте посмотрим. — Он пошел за Кеном; в голове у него стоял шум, ему казалось, что высокие волны разбиваются о гранитный бастион, сильные волны вздымаются до самого бруствера, затем, как бы не желая того, опускаются и пена лениво ползет по зеленым наростам мха.

Первая неловкость прошла, и Герберт с удовольствием стал разглядывать коллекцию старинных часов, для которых время составляло главный смысл существования. Звери и люди сплелись в причудливом орнаменте, украшающем монотонный круг циферблата. Только шум автомобилей за окнами нарушал громкое тиканье часов. Вот они стали отбивать половинку, комната наполнилась гудением, и еще некоторое время после того, как смолк последний удар, она хранила постепенно исчезающий плывущий гул. Кен стоял в дверях, наблюдая за мальчиком, и на его губах блуждала улыбка — он хорошо понимал это здоровое любопытство юности.

— Я могу угостить вас завтраком, — сказал он и вышел из комнаты.

Герберт отвлекся от разглядывания часов только тогда, когда за спиной у него стали греметь посудой. Звуки эти дробились и капризничали, мешая тем стремительным и точным мыслям, которые у него вызывал каждый увиденный экспонат.

— Идите завтракать, юноша. — Это был голос Кена, более низкий и мягкий, чем у его приятеля.

Стол был красив, белая, слегка голубоватая скатерть хрустнула от прикосновения, отчего по спине побежали мурашки. Слишком уж здорово он живет, подумал Герберт и, взяв в руку толстую серебряную вилку, легонько постучал ею о край фарфоровой тарелки.

— Вам нравится у меня? — как бы проникнув в ход его мыслей, спросил Кен.

В коридоре послышался стук каблучков. Сначала показалась металлическая тележка, за нею красивая девушка в таком шикарном платье, что у Герберта закружилась голова. В Германии подобное платье женщина могла надеть только на свадьбу, да и то в восьмидесяти случаях из ста его бы пришлось брать напрокат. Платье было обвешано воланами и кружевами, оно сбilo его с толку, чего не смогла сделать целая армия часов. Женщина была красива настолько, что у него пропал аппетит. Он почувствовал, как краска заливает ему лицо; он рассматривал синие лилии на краях тарелки и ужасно волновался, уши у него горели.

— Вам плохо? — спросил Кен. — Может, выпьете вина?

Герберт кивнул и обхватил двумя руками широкий бокал, в который тут же красной струей хлынуло вино. Отпив немного, он поставил бокал на стол.

— Лучше воды.

Ему дали воды со льдинками. Захлебываясь, он выпил целый стакан, но не успокоился. В сознание проникали обрывки фраз, неясный шум трех голосов: «штаты», «нацисты», «рабы», «евреи», «отдых», «казино»... Последнее слово прозвучало наиболее отчетливо. Когда трапеза была закончена, Поль положил на край стола пухлые руки и сказал:

— Сейчас мы пойдем в казино.

— И я тоже? — спросил Герберт.

— И вы, если пожелаете.

— Казино, — уточнил Герберт, — это там, где выигрывают деньги.

— Да, — сдержанно промолвил Пол и поглядел на красивую женщину.

В казино они поехали на автомобиле Пола. Кен и женщина Айрис разговаривали на заднем сиденье на незнакомом английском языке. Герберт сидел рядом с Полом и смотрел на его волосатые кисти. Автомобиль ехал очень быстро, в Германии Герберт так быстро никогда не ездил.

Казино находилось в горах, ехали до него очень долго. Это был старый замок, стоящий на возвышенности и окруженный лесами. У парадного входа было припарковано множество разноцветных машин. В некоторых сидели пары и громко разговаривали, слышался смех — лица и фигуры излучали покой и самодовольство. Эти существа не размышляли о том, что им говорить, и как мир ни воспитывал их, они не замечали его, считая своей собственностью все, к чему прикасались.

Несмотря на светлый день, зал, где стояли игорные столы, был залит электричеством. Вокруг стола, напоминающего бильярд, сидело человек двенадцать. Герберт смотрел, как стол окружают все новые и новые люди — одни уходят, места освобождаются, но соседство толстых и тонких остается неизменным.

Американцы полукругом расположились позади стола; женщина особенно внимательно смотрела на шарик рулетки: она то приближалась к столу, то отходила назад мелкими шажками. Игра очень интересовала ее, Герберт заметил, как у нее стало дергаться веко. Маленький шарик бесслышенно кружился по желобку. Движение его зависело от силы человеческих желаний. Желания распаляются, и он вертится быстрее, но это вовсе не значит, что он подарит счастье тому, кто больше всего желает его, — шарик вертится сам по себе. Герберт метался, цифры не угадывались; он закусил губу и стал похож на хорошенькую девочку из «Дойче медхен». Двадцатого апреля день рождения фюрера — об этом в Германии знали даже двухлетние дети, просто обязаны были знать.

Герберт направился к окошечку, где продавали фишки. Он небрежно развернул толстую пачку денег, вытащил две бумажки и протянул их девушке за стеклом. Ему дали сеточку с фишками, и он снова подошел к столу. Шарик долго кружился, отыскивая свое место. Наконец он замер на цифре шесть, у многих в это мгновение екнуло сердце. Апоплексический человек в намертво застегнутом френче и в шерстяных напульсниках отчаянно вскрикнул и схватился руками за голову — шарик прокатил его последнюю надежду. Крупье двигал фишки к маленькой сморщенной старушке, которая состояла из кружевов и чепчика, — она была похожа на куклу из театрального музея. Кружочки она запиховала в маленький ридикуль, а весь стол жадно смотрел на нее. Игра кончилась, места старушки и толстяка заняли другие.

Герберт заглянул в свою память и помимо дня рождения фюрера различил там еще два числа — дни рождения бабушки и отца. Итак, четыре, семь и двадцать. Начнем по порядку. Четвертого февраля родилась бабушка — в повседневной жизни она раздражала его, тем не менее надо было ставить, это было предрешено. Герберт поделил фишки на три равные кучки, одну засунул в левый карман, другую в правый, а остальное зажал в кулаке. К столу с рулеткой он подошел, сохраняя трепет, голос у него дрожал.

— Можно положить это на цифру четыре?

Крупье равнодушно сгреб фишки — делались ставки, шарик пока еще не кружился, однако Герберт уже переживал за неверно выбранную цифру.

Наконец шарик завертелся; по мере снижения его скорости напряжение за столом возрастало. Выскочило семь. Герберт стиснул зубы: надо было с отца начинать, вот что бывает, когда соблюдаешь закон иерархии. Следующую горку фишек Герберт отправил к крупье равнодушной рукой, и снова завертелся шарик, и снова человечество наклонилось над столом;

цифра четыре возникла за цифрой семь. Теперь мне осталось проиграть последние фишки, и можно уходить. Проигрался дотла — так пишут в дешевых романах, решил Герберт и вытащил из правого кармана последний свой шанс. Гитлеровский шар крутился очень долго и выиграл. Герберт вышел на шикарную балюстраду игорного дома, и ветерок обдул его. Американцы благополучно просадили двести долларов и вернулись, объятые отчетливым страхом дальнейшего проигрыша.

Сутулый отец был похож на птицу, вымершую много лет назад. Она стояла и смотрела в пространство, где пунктиром вычерчивались конструкции будущих эпох. Птица в образе отца все знала и понимала, но ничего не могла поделать. «Я хочу, чтобы ты остался, Герберт, тебе будет лучше со мной», — говорила птица.

— Я почти не думал о ней, — самозабвенно произнес Герберт, совершенно не обращая внимания на отца.

— О ком ты говоришь? — Тот не понял сына.

— Ты спрашиваешь, о ком я говорю? Я говорю о Бербель, и говорю о ней сейчас, потому что все время, пока я тут мелькал перед тобой, я ни разу не вспомнил о ней. Представь, папа, ни разу не вспомнил о ней, о девушке, которая для меня интереснее всего на свете.

— Я ничего не знаю об этом, ты про нее не рассказывал.

— А я пришлю тебе ее фотографию.

Отец наклонил голову и, увидев, что у сына развязан шнурок, опустил ся на корточки и стал завязывать его ботинок.

— Да ведь я закружился с американцами.

— Последнюю неделю мы совсем не разговаривали, — сказал отец.

— Мне ужасно не хочется уезжать, папа. — В глазах стояли слезы.

— Но кто мешает тебе остаться?

— Она, папа.

— Кто она?

— Ну, Бербель, кто же еще, она протягивает мне руку через океаны воздуха.

— Что же ты собираешься делать? — спросил отец и посмотрел на черный силуэт паровоза, выпускающий из-под колес тонкие струйки пара.

— Вернусь домой, а в следующем году, вероятно, приеду к тебе снова.

Тонкие струйки прозрачного пара выскальзывали из-под красных колес паровоза. Герберт покидал Швейцарию. До отправления поезда осталось несколько минут. Отец нагнулся и поцеловал Герберта в щеку — щека была теплая, и это обрадовало его.

Герберт попробовал улыбнуться.

— Не расстраивайся, отец, зимой я приеду к тебе недели на две, обязательно приеду. — Сам он едва ли верил в то, что говорил.

Проводник стал приглашать прогуливающуюся по перрону публику в вагон. И вот паровоз дернул состав, лягнули буфера, поезд медленно покатился. Германия ждала своих сыновей. Герберт на ходу поднялся в вагон и махнул рукой. Отец выглядел удручающе, руки его как плети висели вдоль туловища; на миг Герберту захотелось спрыгнуть, и почему-то он этого не сделал, жалкий отец становился все меньше, пока совсем не скрылся из глаз.

Герберт зашел в купе, шторы на окне едва пропускали свет. Еще один любитель темноты, поморщился Герберт, но говорить что-либо этому высокому и, видимо, желчному человеку, читающему журнал, не стал, а закрыл глаза и уселся на свой диванчик. Человек два раза смотрел на него поверх очков и оба раза ничего не сказал. Герберт вышел в коридор, вынул пачку «Честерфилда» и закурил. Пожилая пара, проходя по коридору, поглядела на него, а он демонстративно выпустил в потолок струйку дыма. Уже в самом Берлине, выпив в вагоне-ресторане чашку крепкого кофе,

Герберт наблюдал, все еще сидя за столиком, как состав медленно втягивается под высокий купол вокзала, а пассажиры уже выскакивали на перрон.

Вышел он с легким чемоданчиком, в котором лежало двадцать американских джазовых пластинок и десять пачек сигарет, еще там находилось старинное китайское блюдо — подарок американцев; на блюде был нарисован многокрылый дракон с милой женской головкой. Поскольку голова женщины была выписана особенно тщательно, с изяществом, присущим просвещенной Европе восемнадцатого века, то он предположил, что тарелка могла быть сделана не обязательно в Китае. Герберт шел, раскачивая чемоданчиком, в голове его проносились стремительные мысли: кое-что о Бербель и кое-что о самой Германии, в которой ему предстояло жить. Конечно, за границей чувствуешь себя несколько спокойнее, и устаешь там меньше, и мысли прозрачные — может быть, оттого, что родина издавна проецирует на себя любовь, рожденную за границей. Выйдя из вокзального павильона, Герберт направился к стоянке такси и сел в первую машину. На Альбертштрассе он увидел выбитые витрины, на их осколках краской были нарисованы шестиугольные звезды.

— Поезжайте потише, — попросил Герберт таксиста. — Что здесь произошло?

— А разве вы не знаете?

В зеркальце машины Герберт увидел горбоносую вытянутую физиономию.

— В Германии идут еврейские погромы, — тихо сказал шофер и вздохнул.

— Вы, видимо, еврей? — догадался Герберт.

— Имею несчастье им быть. Раньше я пел в императорской опере. У меня хороший голос... Контракты, поклонницы... Я был избалованным человеком. А теперь только это такси.

— Желаю вам скорее вернуться в оперу и бросить это занятие.

Прощаясь, Герберт дал на чай двадцать марок и пожал руку, которую шофер из робости не сразу ему подал.

Открыв дверь своим ключом, Герберт прошел наверх. Там он достал пачку пластинок, подаренных Кеном в один из последних дней, сигареты, которые сразу спрятал за книги, затем подошел к радиоле, поднял деревянную крышку и поставил пластинку. Потом закурил, открыл окно. Было темно, в доме напротив ярко горела люстра. Холодный свет ее показался Герберту безжизненным. За тюлем двигались очертания неизвестных мужчин и женщин. Герберт докурил сигарету и потушил окурок. Кончилась пластинка, щелкнул звукосниматель. Он услышал, как бабушка поднимается по лестнице. Мальчик метнулся к окну, закрыл его, бросил раскрытую пачку сигарет на пол и толкнул ее под диван, затем рывком снял с полки альбом с картами наполеоновских войн и уселся в кресло.

— Мальчик мой, что же ты спрятался от меня, я из ванной услышала музыку и поняла, что ты приехал. А почему ты сидишь в темноте? Это портит глаза. — Бабушка дернула выключатель торшера, и карта наполеоновских войн вспыхнула так, как будто к ней поднесли горящий факел.

До чего же старики бывают несносны — вот и бабушка, когда-то она была молоденькой и, вероятно, симпатичной, даже наверняка она была симпатичной. А теперь что осталось? Одно неистощимое внимание к окружающим. Ее жизнь, судьба и ответы самой себе — все это уже в прошлом, теперь она мало в чем нуждается, много разговаривает, много спрашивает и вовсе не чувствует себя стесненной оттого, что мешает другим. У большинства людей с возрастом исчезает такт. Доставшаяся по наследству кровь стареет, как будто ей все равно, куда и по каким жилкам бежать. Врожденная стеснительность и такт, перепутавшись с приобретенным воспитанием, за долгую жизнь изрядно утомляют человеческую психику.

— Ты меня не слушаешь?

Герберт бессмысленно смотрел на ярко освещенную карту.

— Ты не слушаешь меня? — переспросила бабушка, пытаясь заглянуть ему в глаза.

— Ой, прости, пожалуйста, я задумался.

— Ты сказал, что отец самый здоровый человек в Швейцарии.

— Когда я это сказал?

— Да только что.

— Не может быть.

— Ты так и сказал, Герберт.

— Значит, я имел в виду душевное здоровье.

— Мне кажется, Герберт, тебе совершенно все равно, что будет со мной и отцом.

— Неправда, вы мне совсем небезразличны. Просто я думаю о вас не как все.

— Как же ты думаешь обо мне?

Герберт состроил на лице мечтательное выражение и сказал:

— Хорошо.

— Не огорчай меня, Герберт.

— Ладно, не буду.

Бабушка смягчилась:

— Ужин я могу сейчас приготовить.

— Я ужинать не буду.

— Почему?

— Я уже поел.

— И где же ты поел?

— Какая разница, есть я уже не хочу.

— Может, ты выпьешь немного молока?

— Хорошо, молоко я выпью. Знаешь что, бабушка, принеси мне кусок сыра.

— Сыр ты никогда не ел, Герберт. Что с тобой случилось?

— Ничего, просто, пока я разговаривал с тобой, кусок сыра стоял перед глазами как наваждение.

Через некоторое время бабушка вернулась. В одной руке она несла высокий стакан с молоком, в другой — тарелочку с двумя тоненькими ломтиками сыра. Она поставила молоко и сыр на журнальный столик и села напротив.

Вот опять начинается. Сейчас она решила, что я достаточно отдохнул. Ее забота дает ей право вмешиваться в мой мир, но в конце концов никто не виноват, что у нас есть родственники. Все равно она будет спрашивать, а я буду что-нибудь отвечать. И ссориться с ней не хочется, вообще не хочется с ней говорить, но я должен.

— Знаешь, бабушка, я очень устал. О том, что со мной происходило в Швейцарии, я тебе расскажу завтра. Сейчас я пойду в ванную, а потом буду спать.

— Ты не хочешь разговаривать со мной.

— Не в этом дело, я устал.

— Тебе приготовить ванну?

— Да, если можно.

Герберт представил себе девушку Бербель. Ее густые волосы закрывают лицо, и виден только курносый носик и край губ. Мне холодно, подумал Герберт. Отчего? В комнате очень тепло, а мне холодно.

— Подойди ко мне, — тихо говорит он. — Ты здесь, ты стоишь рядом. А теперь обними меня за плечи. Ну обними. Руки у тебя холодные, разве это руки — это веточки засохшей маслины.

— Ты очень сильный человек, — отвечает Бербель.

Какая же все-таки пустота, подумал он. Бербель хочет видеть героя там, где его нет и быть не может. В чужих подвигах, в чужой силе и в чужих страстях находит она поддержку.

Он попробовал оторвать ее руки от своих плеч и не смог.

— Я и ты — просто мысленный образ, а на самом деле нас вовсе нет, — говорит Герберт. — Ты притянула меня к земле и хочешь, чтобы я, сливаясь с тобой, стоял так вечно.

Бербель ничего не отвечает, но руки ее становятся еще теплее, она хочет переждать смутное время с моими руками на своих плечах.

— Я слышу шум, — едва слышно проговорила Бербель, и в ту же секунду он тоже услышал какой-то странный звук. Это похоже на грохот прибоя, звук становится все сильнее и сильнее, у Герберта начинают трястись руки, от вибрации и шума предметы сдвигаются с места, и автоматический карандаш медленно съезжает на край стола. И надо бы закрыть уши руками, но они стоят, прижавшись друг к другу, не меняя позы, заставив дыхание. И вдруг страшное слово «хайль» постепенно стихает, оно становится округлым, мягким и наконец совсем исчезает.

Звук ушел, и Герберт очнулся. Он стоял посередине комнаты, сжимая руками спинку обычного деревянного стула. Оторвавшись от стула, Герберт подошел к телефонному аппарату и набрал номер. От предвкушения разговора с Бербелью у него стало дергаться веко и засосало под ложечкой. В трубке послышался какой-то щелчок, будто ногтем щелкнули по мембране, сразу ощутилось пространство, открылась почти космическая пустота. И конечно же Герберт не мог знать, что номер находится под контролем политической полиции. На двенадцатом сигнале трубку сняли, и знакомый заспанный голос ответил:

— Слушаю.

— Я приехал.

— Да, я слушаю.

— Я говорю, что приехал.

— Кто это говорит?

— Это Герберт, — уставшим и почти равнодушным голосом произнес он.

Наконец она пришла в себя и стала что-то соображать.

— Откуда ты звонишь, когда ты вернулся?

Эти два вопроса последовали один за другим, и он понял, что она проснулась.

— Я вернулся.

— Приезжай ко мне.

— Прямо сейчас? — спросил он.

— Да, прямо сейчас.

Он шел по темным улицам города в гости к девушке, о которой в Швейцарии почти забыл. Безлюдный настороженный город окутал его тяжелым предощущением катастрофы. Чем ближе он подходил к дому Бербель, тем сильнее становилось чувство страха. Парадное оказалось незапертым, а сам подъезд был хорошо освещен, и Герберт увидел, как на верхней лестнице между двумя бронзовыми женщинами с матовыми электрическими шарами в руках ползает неуклюжее существо, похожее на обезьянку. Один чулок у женщины-обезьянки был спущен до самой щиколотки, на вид ей было лет двадцать пять, она ловила толстого кота, который благополучно переходил с одного края лестницы на другой.

— Вы к кому? — спросила консьержка и выпрямилась.

— Я к Бербель, она ждет, она очень просила меня приехать, — ответил Герберт, как бы оправдывая свой поздний приход. — Есть вопрос, который она не может решить сама.

— Что же за вопрос? — Консьержка не желала прекращать разговора и как ребенок была готова разрушать все условности общения.

Отделавшись от нее, Герберт поднялся на лифте. Дверь в квартиру Бербель была приоткрыта, а сама она смотрела сквозь щелку.

— Входи, я чувствовала, что ты где-то близко, уже десять минут я волнуюсь.

Проходя через прихожую, Герберт ощутил знакомый запах духов, духов женщины Айрис, которая в Швейцарии принадлежала американцам. На Бербель было длинное платье с зеленым бантом, ее роскошные золотые волосы были собраны на затылке в пучок. Однако лицо ее выглядело уставшим — это было будничное лицо, такие лица Герберт часто встречал и на улице, и в метро. Пропала строгая красота, которая одновременно и восхищала, и отпугивала его.

— Знаешь, я совсем помешалась на тебе. Пока ты был в Швейцарии, я очень плохо спала. Ты снился мне.

— Ты тоже мне снилась, это правда.

— И как же я тебе снилась? В каком образе?

Мгновение он размышлял, потом сказал:

— Ну, ты была медсестрой, и тебе не очень повезло. А ты все время здесь, в Берлине?

— Вообще-то я собиралась к тете в Кёльн, но она почему-то не звонит. Я часто бываю на вечерах и даже в опере, однако это все-таки утомляет. Мне сестра рассказывала, что до того, как она вышла замуж, в Берлине было веселей.

— Ну вот, я приехал, теперь тебе будет весело.

— Вчера вечером отменили концерт Малера, говорят, он враждебен духу германской нации.

— Как это, Бербель, как музыка может быть враждебна духу человека?

— Я не говорила о человеке, я говорила о нации.

— А разве нация и человек не одно и то же?

— Видимо, нет, Герберт, нация заключена в канонах и представлениях, а человек в коротком отрезке времени, в которое он попадает по воле природы. — Бербель слегка ухмыльнулась.

— Ты очень умная девушка, возможно, вскоре ты станешь не менее умной женщиной.

Даже при свете бра было видно, что она смутилась и опустила глаза, отчего стала похожа на кающуюся грешницу, нарисованную под куполом собора.

— Знаешь, что у меня есть?

— Что?

— У меня есть голландский ликер. — Она пошла на кухню и зажгла свет. На столе стояла бутылка зеленого цвета. Бербель отодвинула штору и открыла балконную дверь. — Пойдем на воздух, — предложила она.

Герберт кивнул. Они вышли на балкон. Он держал в руках зеленую бутылку, она — два фарфоровых стаканчика.

— Садись, Герберт. — В голосе Бербель появились материнские нотки. Она принесла штопор, и Герберт неумело ввинтил его в самый край. Назад штопор вылез, не вытащив пробки.

— Дай-ка я, — попросила Бербель. Она поставила бутылку между ног и аккуратно погрузила штопор в самый центр. При этом лицо ее выражало крайнюю степень сосредоточенности.

Герберт сидел в качалке и разглядывал небо. По небу плавали звезды — названия их он не знал, но чувствовал, что они неспроста расположены так далеко. Видимо, в большом отдалении от земли была скрыта мудрая истина, позволяющая звездам сохраняться. Бербель разлила ликер по стаканчикам.

— Надеюсь, этот вечер будет нам приятен, — сказала она.

— Уже ночь, Бербель, — поправил он.

— Да это не имеет значения, Герберт. Вечер — это любое время ночи, если мы не спим.

Значит, эта ночь будет лишена собственного имени, а вечер превратится в рассвет. Видимо, все и будет так, если только мы не заснем, подумал он.

— Ты хочешь спать? — спросила девушка.

— А я и сплю — что это, если не сон наяву? Вот ты, например, зеленый ликер, звезды над головой.

— Ты фантазер.

— А ты, разве ты не фантазерка, разве осколок мечты так уж и плох?

— Осколок нельзя сохранить, Герберт, но порезать им душу так же легко, как руку кусочком стекла, хотя боль иногда бывает приятной, она даже лечит.

— От чего, например?

— Ну, например, от страха — когда очень-очень больно, страх перестает действовать, он уже не объясняет и не убеждает, а только бесполезно и тупо волнует. Мне вот боль не нужна — я вполне здорова.

— Ну хорошо, а когда ты смотришь на звезды, разве ты не ощущаешь бездну?

— Ну почему же, мне нравится их цвет, нравится темнота неба, его загадочность.

— Вот наконец ты нашла слово.

— Загадочность. Ты чувствуешь, как под воздействием этого слова расширяется спектр твоего впечатления. Прости, Герберт, я прерву тебя. — Она рассмеялась. — Три дня назад я танцевала с одним юношей. Он очень сильно отличался от тебя.

— Чем же?

— Да он легче, проще — ты все усложняешь. Так, как думаешь ты, не думают сейчас.

— Ты тоже думаешь не так, как сейчас.

— Да, я знаю, но это плохо. У каждого времени должны быть свои проводники.

— Не знаю, как у каждого, но у этого времени проводников быть не должно.

— Давай выпьем за звезды, — предложила она.

— Давай. Или за тысячелетний Рейх.

— Тише ты, кругом уши.

— А почему я не могу выпить за Рейх?

— Почему не можешь? Пей, если хочешь.

— А ты не будешь?

— Я не буду.

— Почему?

Бербель наклонилась над его ухом и тихо произнесла:

— Я хочу, чтобы тысячелетний Рейх рассыпался в один день.

— Я тоже, — шепотом же ответил он ей.

На третьей рюмке ликера он стал засыпать, и она принесла ему и себе по толстому шерстяному пледу. Волны живого интереса, такие бурные вначале, улеглись. Они вяло переговаривались сонными голосами и в конце концов совсем замолчали. Закутавшись в плед, сквозь щелочку не до конца опущенных век Герберт разглядывал лицо девушки, залитое лунным светом. За спиной Бербель темнота ночи выглядела полуреально — она как бы представляла часть декораций, однако чем больше Герберта захватывал сон, тем более явно проступал темный корпус мануфактур. Герберт мог бы поклясться, что найди он в себе силы встать, то смог бы пощупать плотный черный материал с беспорядочно разбросанными звездами. Но зеленый ликер и свежий воздух усыпили его.

Во сне ночь сделалась красной; густая кровавая пена напозла на тяжелый черный бархат со звездами. Плед девушки превратился в прозрачный и легкий газ, по всему пространству этой легкой одежды расползлись маленькие свастики, похожие на жучков. Герберт увидел, что ограждение балкона исчезло, балкон раздвинул свои пределы до размеров танцевальной площадки. Такое было впечатление, что пол этой площадки создан из совершенно особенного вещества: снизу он подсвечивался разноцветными

огнями, в целом же это было серо-голубое небо, лежащее на земле. Во сне Герберт, так же как и наяву, курил сигарету, поминутно прикладываясь к рюмке с ликером.

Но вот девушка встала, запрокинула руки за голову и потянулась. Герберт увидел, что у нее острые локти, и это ему не понравилось. Девушка прыгнула на серо-голубое продолжение балкона, тонкие одежды ее распахнулись — она была голая. Как последняя загадка перед Гербертом открылся маленький треугольник. Плавная музыка, вытекающая неизвестно откуда, одурманивала сознание. Девушка танцевала: она сделала вперед несколько мелких шажков, затем отступила назад, и руки ее плавно взметнулись над головой, проскользнув сквозь развевающиеся волосы. Герберт почувствовал, что снова засыпает, но это был второй сон; он спал и, кажется, даже понимал, что спит, но, засыпая, во сне же не мог бороться с новым сном, который надвигался на него как бы под эгидой старого. Он почти физически почувствовал, как один сон распростер над ним широкие крылья, а из него выдвинулся другой, с крыльями поменьше.

Из всех снов он вышел сразу и очень стремительно. Свежий воздух, прилетевший со стороны английских островов и питавший Герберта во время сна, уже кончился. Герберт понял, что внутри у него открылся какой-то клапан, что-то случилось — может быть, на небе появилась новая звезда, может быть, у него сменилась кровь. Бербель спала. Серые нити рассвета, обрамленные полоской надвигающейся зари, накрывали голову спящей.

Герберт откинул плед, встал и тихо вышел из квартиры. Проходя мимо консьержки, он посмотрел на нее через открытую дверь: та сидела на полуразвалившемся диване, держа в руке стакан с молоком. На мгновение он задержал взгляд на ее растопыренных коленях, мятом выцветшем платье и полосатых носочках. Консьержка подмигнула ему круглым совиным глазом и негромко сказала: «Ком цу мир», — однако Герберт почувствовал, что его не зовут, а толкают в грудь.

За ночь город оброс флагами со свастикой; на улицах никого, но электричество полыхало всюду — пустота зловещего праздника. Ветра не было, флаг на особняке Герберта висел безвольною тряпкой. Он тихо отомкнул дверь, но в прихожей зацепился за вешалку и из-за этого был услышан. Когда он поднимался к себе, появилась бабушка. Герберт оглянулся. Бабушка смотрела на него так, как будто он только что совершил чудовищное преступление; плечи ее были слабо освещены электричеством. Пройдя к себе, Герберт отворил окно, и струя свежего воздуха ударила ему в лицо. Подул сильный ветер, флаги расправились, по спине Герберта забегали мурашки, и он почувствовал, как в его сознании свастики выстраиваются в длинную шеренгу. Когда он лег в постель, раздались голоса первых прохожих. И он понял, что никак не участвует во всем этом — ни одной клеточкой.

Он проснулся от звука плохо смодулированных и срывающихся юношеских голосов, они то накатывались волною, то как бы замирали в раздумье. Была половина третьего. Он встал, потянулся и подошел к окну: по улице шли колонны в коричневых рубашках и шортах. Герберт спустился вниз, в столовую; на столе стояла супница с половником, тарелка и хлебница.

— Бабушка, — позвал он, но никто не откликнулся.

Тогда Герберт налил себе холодного супа, отломил кусочек хлеба и снова поглядел в окно. Одна колонна сменяла другую, а молодые люди в коричневых рубахах все шли и шли, как будто они появлялись из самой бесконечности. Он накрошил на столе кусочки хлеба, словно собираясь склевать его, затем откинулся на спинку, покачался немного, потом встал и пошел писать письмо. Положив перед собой чистый лист бумаги, он задумался. Собственно, писать-то нечего, подумал он и стал грызть колпачок авторучки. «Я все ж таки доехал», — вывел он на чистом листе бумаги

и стал надписывать конверт, затем положил его на угол стола и снова подошел к окну. Флаг плескался на ветру, закрывая одну половину улицы. Герберт протянул руку, схватил флаг и намотал его на древко. Теперь ему было видно все. По тротуару, оглядываясь, неся человек в клетчатой рубашке и широких белых брюках. Навстречу ему из переулка выбежал здоровый детина в коричневой рубаше с засученными рукавами. Одной рукой он остановил попытавшегося вывернуться беглеца, а другой ударил его в живот. Человек сел на мостовую — он даже не кричал, детине же показалось мало, и он стал избивать упавшего ногами. Тот пытался закрывать лицо, инстинктивно поджимая ноги и защищая голову. На помощь детине подоспело еще несколько человек, один был совсем мальчик — он бежал очень сосредоточенно, прижимая к груди конфедератку. Волна негодования, поднявшаяся в душе Герберта, сменилась волной решимости.

— Что вы делаете, подонки! — закричал Герберт, но юноши в коричневых рубашках никак не отреагировали, продолжая избивать человека.

И Герберт, почти не владея собой, бросился в комнату отца — он знал, что в закрытом ящике стола лежал пистолет. Стол был добротный, старый — взломать такой было делом нелегким. Но накануне в душе Герберта родилось нечто особенное — ему в самом деле казалось, что теперь у него все другое: и руки, и голова, и ноги — все будто сделано из нового, какого-то неизвестного материала. Прибежав на кухню, он вытащил из встроенного в стену шкафчика ящик с инструментами, вернулся к столу и, осмотрев его, увидел, что в самом нижнем ящике торчит ключ. Он его вытащил, вставил на новое место и попробовал повернуть, но не вышло. Тогда он сунул стамеску в дужку ключа. Послышался скрежет замка, и ящик открылся. Герберт схватил огромный кавалерийский «манлихёр» и подбежал к окну.

Юнцы в коричневых рубашках уже не били лежавшего на улице человека, а курили сигареты. Но вот здоровенный детина, начавший первым избивать человека, снова ударил того ногой по лицу. Тогда Герберт прицелился и потянул на себя спусковой крючок. Однако пистолет не выстрелил. Герберт стал вертеть его так и этак — он ведь не знал, как с ним обращаться, и он снова крикнул:

— Прекратите, вы, сволочи, иначе я вызову полицию!

В ответ на его крики один из штурмовиков размахнулся и бросил в окно осколок красной черепицы — черепица пронеслась у Герберта над головой и, ударившись о стенку, разлетелась на несколько кусочков.

— Я буду стрелять, вы слышите! — вновь крикнул он, потрясая в окне огромным пистолетом.

— Щенок, жидовское отродье! — заорали с улицы. — Только попробуй, мы тебе ноги выдернем!

Тогда Герберт снова повертел в руках пистолет и, увидев маленький кривой рычажок, опустил его вниз, после чего снова нажал на курок. Раздался оглушительный выстрел. В доме напротив брызнуло стекло. Штурмовики бросились врассыпную. Испуганные выстрелом прохожие, прижимаясь к стене, перебежали в более безопасное место — их дела и их страх были для них важнее всего на свете. А Герберт вытащил флаг, висевший рядом с его окном, и бросил его вниз. Один прохожий стал показывать другому на окно, в котором проступала фигура мальчика. А Герберт подошел к телефону и набрал номер девушки, с ней ему предстояло прожить долгую и счастливую жизнь.

— Але, але, Бербель... — Опять в трубке появилось пространство. — Я сейчас стрелял в штурмовиков.

— Как — стрелял?

— А вот так — стрелял, и все.

— Из чего?

— Из пистолета.

— А откуда он у тебя?

— Он лежал в столе у отца.

— И что же теперь будет?

— Я не знаю.

— Зачем же ты сделал это?

— Если бы ты знала, какие они отвратительные ублюдки, ты бы сделала точно так же.

Какое-то мгновение в трубке обитало молчание.

— Но ведь у тебя есть я, я, Герберт, ты слышишь?

— Я слышу, — тихо ответил он. — Ты мне как-то сказала... ты как-то сказала мне, что любовь и смерть сделаны из одного вещества.

— Нет, я такого никогда не говорила, откуда ты это взял?

— На улице шум, подожди, я сейчас вернусь.

Он положил телефонную трубку рядом с аппаратом и подошел к окну. По дорожке к его дому шли двое полицейских. Увидев это, Герберт опустился на диван. В дверь стали звонить, затем стучать. Он не мог думать — мысли вылетали из головы одна за другой. В дверь стали стучать еще громче, так что сотрясался весь дом. Герберт поежился, покрутился на диване, а потом вдруг неожиданно, видимо и для самого себя, прижал к сердцу ствол и выстрелил. Тело его отбросило к стене. Боли он не почувствовал, но в уголке гаснущего сознания отразилось небо и облака, плывущие в сторону Англии.

Услышав выстрел, полицейские взломали дверь и проникли в дом. Один, тот, что постарше, подошел и наклонился над мальчиком.

— Он умер, — сказал полицейский своему напарнику и поднял лежащую рядом с телефонным аппаратом трубку.

— Але! Але, что там происходит?! — кричала Бербель.

Полицейский отнял трубку от уха, осмотрел ее со всех сторон и, не прижимая мембраной, сказал в микрофон:

— Мальчик застрелился, — после чего дал отбой.

Бербель держала в руке телефонную трубку, из которой теперь раздавались одни короткие гудки, и плакала, тихо, без всякого звука, так, как плачут только небесные ангелы. Она вспомнила последнюю фразу Герберта и никак не могла понять, почему же любовь и смерть состоят из одного вещества.



МАКСИМ ВОЛЧКЕВИЧ



ЕДИНСТВО ВЕЩЕЙ

* *
*

Мир полон подобий,
оставленных Богом улик —
как перстень в сугробе,
как в хлебе печном золотник.
Как шорох в подвалах мышиных
таинственной ночью, когда
в исламских кувшинах
становится слаще вода.

С рождения самого — в детстве,
до первых шагов и речей
нам чувство дано соответствий,
как опыт единства вещей.
В созвездиях общий порядок
и в трещинах на стене
мы видим — и сладок
осадок на глиняном дне.

Кто ждет справедливости лучшей
за праведность или за грех,
тот истину ищет — но случай
один выпадает на всех.
И словно потерянный бродит
меж нас он, покорный судьбе, —
и то, что находит,
не может присвоить себе.

Апрель

Дырявым известен карманом,
Трамвайным звонком знаменит,
Апрель по замызганным рамам
Легчайшей монетой звенит.

Волчкевич Максим Анатольевич родился в Москве в 1970 году. Окончил физфак МГУ. Преполагает математику в одной из московских школ. Соредатор альманаха «Окрестности». В нашем журнале печатается впервые.

Прозрачна луна на ущербе,
Бульвар первым пухом одет,
И птичий пронзительный щебет
На вешней замешен воде.

Портфель твой, случайный прохожий,
(Он мне почему-то знаком!)
Хрустит крокодиловой кожей
И новеньким блещет замком.

Смотри же: по проволке с током
Скользнет за троллейбус звезда,
Труба загремит водостоком
И выплюнет косточку льда.

А ночь, за ограды цепляясь,
По следу бежит колеса,
И голуби, в лужах купаясь,
Мешают с землей небеса.

* *
*

Долго ль, музыка слепая,
Говорила ты со мной?
И склонилась, засыпая,
Над моею головой.

Я мечте приговоренной
Вдруг поверить захотел;
Надо мною лес зеленый,
Лес зеленый зашумел...

И качнулось, и поплыло
В этой музыке и мгле
Все, что было, все, что было,
Все, что было на земле.

Я лежал, из подземелья
Унесенный в мир иной,
И высокие деревья
Шевелились надо мной.

И казалось мне: открыл я
Книгу жизни, и слышны
Были крики в ней, и крылья,
И страницы тишины.

Вечность тихая стояла
В каждом звуке, потому
Что кукушка куковала
Долго, долго — никому.

Будто ухом из потемок
К тем глубинам я приник —
И услышал, как ребенок,
Непонятный твой язык.

Здесь, над вечной мерзлотою,
Словно вереск или мох,
Сосны с небо высотой
Посадил когда-то Бог.

И огромен, без размера,
В темном шорохе вершин
Древний лес стоял, как вера,
Молчалив и нерушим.

Все на свете, все на свете
Позабывши, я читал;
Трогал волосы мне ветер
И листы перебирал.

И когда, кукушка, где там
Потерялся голос твой?
Пахло летом, пахло летом...
Пахло тяжестью земной.

Тема сквозняка

Тающий сахар света
в ложке потемок — это
снадобье для зимы,
наступающей тьмы.

Тихо звенит посуда
времени — и отсюда,
кажется мне, слышной,
кто играет на ней.

Среди стаканов, вилок
флейту пустых бутылок
пробует ветер — тот,
что не знает пустот.

Посередине мира
от водки ли, от кефира
появляется вдруг
шероховатый звук.

Вот он растет — и быстро
горлышками регистра
пробегает легко
скисшее молоко.

По стенкам пушистой пыли
до последней бутылки,
в коей ничего нет, —
срывается на фальцет.

Зубья и шестеренки
играющий на гребенке
перебирает: там,
та-ра-рам.

Лестницы потайные,
шатуны часовые,
механический мрак
вторят ему: тик-так.

Ночь, как язык, немеет,
музыка цепенеет,
ключ открывает дом —
никого за столом.

* *
*

Ты запомнишь травинку заката
между шпал почерневших, где зной
пахнет углем и щебнем — лопата
и не движется воздух земной.
Впереди огонек светофора
задрожит на свободном пути;
и до станции будет не скоро —
все равно до утра не дойти.

Солнце сядет — и с насыпи пыльной,
где вьюнок под ногами цветет,
ты увидишь, как месяц старинный
над притихшею степью встает,
как трава над обрывом — услышишь —
неподвижно звенит от цикад;
и поймешь — ничего не попишешь, —
где кончается этот закат.

Это будет дорожка на склоне
или, может, вершина холма,
но ее не касаются кони
в темноте — они сходят с ума;
это будет окрашенный светом
безымянный участок степной,
где становится каждый поэтом —
но обходят его стороной.

И тогда это самое место,
на котором кончалась земля,
вдруг уйдет, как вершина оркестра
или тонущего корабля...
Ничего не останется, кроме
того краешка вечности, где
алый отблеск лежал на соломе
вместе с ночью.
И верил звезде.



ЮЛИЯ ПЕСКОВА

*

ПРИВЕТ, КРАСАВИЦА!

Несколько летних дней

В Шарль-де-Голле была забастовка, и я прилетела в Мадрид только вечером. Пако с Лолой сразу же повезли меня в какой-то бар. Не успев опомниться с дороги, я уже пила за здоровье своих друзей, отвечала на их вопросы и рассказывала о невзгодах парижской жизни. Лола слушала и хохотала. Пако пил джин с тоником и тоже хохотал.

Потом подъехали какие-то знакомые Пако; они тоже пили за мое и свое здоровье; кто-то объяснял мне в любви и настойчиво просил номер моего сотового. Потом пришел бармен с шампанским и тоже стал пить за общее здоровье и признаваться мне в любви. Кажется, его звали Оскар.

Он спросил, откуда я. Я сказала. Он спросил, надолго ли я приехала в Мадрид. Я ответила, что у меня отпуск, что в Мадриде я проездом и завтра уезжаю в Андалусию. Он удивился, засмеялся и сказал, что в Андалусии нечего делать, потому что в Мадриде намного веселей. Потом он написал на листке бумаги номер своего телефона и спросил, позвоню ли я ему. Я сказала, что обязательно позвоню, потому что тоже его люблю. На прощанье он добавил, что я красавица и что у меня прекрасные глаза. Не помню, что я ответила.

Собственно, я уже почти забыла про него, но, когда мы под утро сядились в машину, Лола вдруг спросила:

— Ты ему позвонишь?

— Кому?

— Оскару!

— Зачем?

— Как зачем? Он такой красавчик! Я бы сразу влюбилась!

— Моя сестра, — прокомментировал Пако, — влюбляется в каждого встречного.

— Неправда! — крикнула Лола обиженно.

— Да, Пако, ты не прав, — сказала я. — Совсем не в каждого. Мы целый год жили с твоей сестрой в соседних студьо и вместе работали. Поэтому могу клятвенно подтвердить: она влюбляется только в каждого второго встречного.

Они покатались со смеху, и Пако нажал на газ.

Спустя три часа Пако вез меня на автовокзал. Лола осталась дома — отсыпаться перед вечерней работой. По мадридским улицам плыл раскаленный жар.

— Градусов сорок пять, — сказал Пако, закуривая. — Очень душно. Ты как?

— Нормально. Я люблю жару. Особенно после парижской сырости.

— А я не люблю. Когда больше сорока градусов, уже тяжело дышать.

— А ты кури меньше, может, легче станет?

Пако засмеялся.

— Я, кстати, не так уж часто курю. Только пачку в день. Куда этот козел лезет? Ходер!¹ — выругался он.

Мы опаздывали. Я смотрела, как за окном машины мелькают рекламные щиты, яркие вывески баров и ресторанов, чахлые деревца с выжженной солнцем листвой, а Пако говорил о чем-то, не замолкая ни на минуту. Уже подъезжая к вокзалу, он принялся за советы: не загорай много, у тебя кожа слишком белая; не ездь без нас в горы — мы приедем и отправимся туда вместе; отели там паршивые, дискотеки поганые, жара такая, что жить невозможно. А самое страшное — это цыгане.

— Не заходи в цыганский квартал. Тебя точно обворуют! — повторял он, присвистывая. — Очень опасно!

Он продолжал говорить, но контролер уже пробил мой билет, и очередь, столпившаяся у дверей автобуса, толкнула меня вперед.

— Мы к тебе обязательно приедем! Я тебе позвоню! — донесся голос Пако. Он стоял у автобуса и яростно махал мне рукой. Я тоже ему махнула.

В автобусе было холодно — кондиционер дул мне прямо в затылок. Я натянула свитер и устала в окно.

«Неужели наконец отпуск?» — подумала я. Еще несколько дней назад мне казалось, что до отпуска я точно не доживу. Что умру прямо на работе. Я даже представляла себе, как мое сердце останавливается и я падаю носом на клавиатуру компьютера. Да, если я не сменю работу, это когда-нибудь произойдет. Надо будет подумать об этом, но только не сейчас...

Скоро глаза мои стали слипаться, и я задремала, откинув голову на спинку сиденья. Мне снилась работа, душный офис и ряды чисел на компьютере. Потом в офисе появились цыгане — черные, бородатые, с золотыми серьгами в ухе и хитрым прищуром блестящих глаз. Один цыган, в красной рубашке, перебирал струны гитары, и чей-то сильный голос пел «Очи черные». Другой цыган держал на поводке медведя, который косился на меня и рычал. Рядом стоял Пако и твердил не переставая: «Обворуют!» — «Не обворуют!» — отвечала я упрямо, а Пако качал головой и вздыхал.

Я добралась до места только к вечеру — в пути автобус сломался, и водитель два часа возился с мотором.

Приехав, я зашла в первую попавшуюся гостиницу недалеко от главной площади и сняла там комнату. В номере было душно — кондиционер отсутствовал, вода из-под крана текла тонкой струйкой, зато в унитазе шумела, как горный водопад. «Совсем как в моем студио», — подумала я и спустилась на первый этаж. Там я спросила у хозяина гостиницы — брюзгливого и недовольного старика, — нет ли номера с кондиционером и горячей водой.

— Нет! — буркнул он и поспешил скрыться за дверью.

Вздыхнув, я поднялась наверх, опустила грязные жалюзи и упала на постель.

Утром меня разбудил запах жареной курицы. Я выглянула наружу — внизу находился ресторанчик. «Вероятно, у поваров уже начался рабочий день», — подумала я и, закрыв окно, потянулась к мобильнику. Однако меня ждала неприятность — телефон, включенный с вечера в сеть, не зарядился: видимо, розетка в моем номере была неисправна. «Да здесь еще хуже, чем в студио! Здесь просто невозможно жить!»

¹ Распространенное ругательство.

Я умылась под стружкой холодной воды и вышла на улицу искать новую гостиницу.

Проходя мимо столиков кафе и увидев, как двое испанцев уплетают омлет, я поняла, что сейчас упаду от голода в обморок. Тогда я села за один из столиков и заказала сэндвич и кофе.

Кроме меня здесь завтракали еще несколько пожилых испанцев и компания иностранцев, громко говоривших по-английски. За самым далеким столиком сидел тоже какой-то иностранец лет тридцати, бледный и с пегой бородкой. Я ела сэндвич, а он смотрел в мою сторону так пристально, что скоро мне захотелось пересесть за другой столик. Наконец он встал и подошел ко мне.

— Простите, пожалуйста, — сказал он на ломаном испанском языке. — Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, мы были когда-то знакомы. Вы не из России?

— Из России.

Незнакомец глубоко вздохнул, наморщил лоб и перешел на русский:

— Значит, я не ошибся! Как это отрадно!

От удивления я чуть не выронила сэндвич.

— Отрадно?

— Удивительно! — продолжал незнакомец, присаживаясь. — Я даже представить такого не мог.

«Наверно, с кем-то меня перепутал, — подумала я. — Какой-нибудь турист...»

— Невероятно! — не унимался он. — Подумать только! Скажите, каким ветром вас занесло в эту, простите за выражение, дыру?

— Извините, — сказала я, — вероятно, вы ошиблись. Я вас не знаю.

На мгновение он опешил.

— Здесь не может быть никакой ошибки. Наверно, вы просто меня не помните. Меня зовут Валерий Дардыков.

— Очень приятно.

Он вздохнул.

— Значит, вы действительно меня не помните. Тогда, может быть, вы помните Гошу Фельдмана? А Колю Сергеева? — И он назвал еще несколько имен из нашей питерской тусовки пятилетней давности. — Я учился тогда на психфаке и был на два курса старше. Правда, я не часто появлялся в вашей компании, но вас запомнил.

«Похоже, он действительно меня знает. Странно». Я продолжила вежливо на него глядеть и пыталась сообразить, кто он такой, но не могла.

— Может, вы были тогда без бороды? — спросила я на всякий случай.

— Ну конечно! — Его лицо просветлело. — Конечно, без бороды. Поэтому вы меня и не узнали. А вы совсем не изменились. Надо же, какая встреча! Как я рад снова вас увидеть! Надолго ли вы сюда приехали?

— На неделю.

— А я здесь с июля. Решил посвятить летние каникулы изучению испанского языка. Я сейчас в аспирантуре, пишу диссертацию. Как ни странно, удалось выбить стипендию, и факультет командировал меня сюда. Как вы находите Испанию?

— Мне нравится, — сказала я и помахала рукой официанту. — Простите, мне пора.

— Как же так? — огорчился мой собеседник. — Я так рад наконец встретить кого-нибудь из России! Может быть... — Он замолчал, услышав верещание моего мобильного: звонила Лола из Мадрида.

— Ты помнишь того бармена? — закричала она бешеной скороговоркой. — Как какого? Оскара!!! Такой красавчик, он еще дал свой номер! Ты ему звонила?

— Нет.

— Ну что ты такая робкая! Кстати, ты забыла у нас фотоаппарат. Но ты не волнуйся, мы тебе привезем, мы скоро приедем, вот только Пако... — Дальше в трубке повисла тишина. Я посмотрела на табло мобильного: оно погасло.

— Черт! — вскрикнула я.

— В чем дело?

— Батарейка села.

— Я вижу, вы тоже приобрели себе эту игрушку, — сказал Дардыков.

— А у вас разве нет сотового?

Он нахмурился:

— Я, знаете ли, стараюсь воздерживаться от стадного чувства. К тому же сотовый телефон влияет на подсознание и развивает в человеке невроз. Да и потом, какой в нем смысл? Вот, к примеру, зачем вам сотовый?

— Я работаю, и он мне необходим.

— Работаете? Я думал, вы еще учитесь. Разве вы не собираетесь в аспирантуру?

— Нет, не собираюсь. Я уже давно работаю.

— Разве вы приехали сюда тоже работать? Я думал, вы отдыхаете. Кстати, вы не сказали ничего о себе.

«А вы и не спрашивали», — подумала я и ответила:

— Извините, мне пора.

— Но как же?.. Ведь это такая редкость — встретить здесь не просто соотечественника, но знакомого соотечественника! Можно сказать, из одного гнезда! — Мы уже были на улице, он шел рядом и не собирался отставать. — Кстати, где вы живете в Питере?

Я пожала плечами:

— Жила на Васильевском острове, а сейчас — в Париже. Третий год. И работаю тоже там.

— В Париже? — Дардыков посмотрел на меня недоверчиво.

— Да, в Париже. Я замужем за французом. То есть была.

— Вот как. И вас не мучает ностальгия по Петербургу?

— Нет, не мучает. Но мне, честное слово, пора. Надо срочно найти гостиницу. Видите, что делается с мобильником? Там, где я остановилась, что-то с электричеством, и я не могла зарядить телефон. Теперь он заглох.

— Вы думаете, в разгар сезона найдете что-нибудь приличное? Уверяю вас, сейчас все гостиницы заняты. К тому же это недешево. Не проще ли снять квартиру в частном секторе? Я, например, снимаю комнату в очень удобном районе — совсем близко отсюда. Конечно, там есть свои недостатки. В соседней комнате живут две иностранки, из Швеции, кажется. Поэтому кухня и прочее у нас общее. Но, в принципе, необязательно же общаться с соседями. Я, например, почти не общаюсь — я хорошо знаю немецкий язык, можно сказать, свободно им владею, но английский был у меня вторым языком, и я не всегда понимаю, когда быстро говорят по-английски. А мои соседки, напротив, знают английский, но не знают немецкого. А на испанском разговаривать так, чтобы понимать друг друга, ни я, ни они не умеем. Да, в общем-то, нам и не о чем говорить. Я скептически отношусь к иностранцам. Даже более чем скептически. Они не могут понять того, что понимаем мы. У них другая психика, другой менталитет... — Кажется, он не собирался замолчать.

— Так что же за частный сектор? — перебила я, подумав: может, от моего говорливого соотечественника будет хоть какая-то польза?

— К сожалению, не могу сказать ничего определенного. Когда я только что приехал сюда, мне предложили на выбор две квартиры. В первой мне не понравилась хозяйка — мне показалось, она наркоманка, а во второй — в доме напротив — я устроился вполне сносно и почти два месяца жил один, без хозяев. Но недавно, недели две назад, ко мне подселили этих девиц. Как я уже сказал, я с ними почти не общаюсь. У них здесь

своя диаспора: какие-то немцы, американцы — словом, когда они дома, все вверх дном. Раздражает, конечно... К тому же разность менталитета...

— Послушайте, — перебила я. — Вы сказали, что живете недалеко отсюда. Это действительно недалеко?

— Совсем рядом. Видите старинную мусульманскую мечеть? Теперь там кафедральный собор. А мой дом почти сразу за ним. Если хотите, можно даже зайти в соседний дом, где мне предлагали квартиру, от которой я отказался. Впрочем, предупреждаю: хозяйка там мне не понравилась. Но вероятны и другие варианты. Пойдемте?

На мгновение я задумалась. Если я не найду квартиру, то по крайней мере заряджу у Дардыкова телефон. Он, несомненно, согласится.

— Скажите, — спросила я. — Можно у вас зарядить мобильник?

Мы шли по улице. Светило солнце, и раскаленные камни тротуара жгли ступни сквозь обувь. Белые стены домов отражали солнечные лучи, и я пожалела, что не взяла с собой темные очки. В ушах раздавался размеренный и тягучий голос моего соотечественника.

— Я, знаете ли, разочаровался в Европе, — рассуждал Дардыков. — Я уже второй раз сюда приезжаю и делаю определенные выводы. Возьмем, к примеру, этот город. Он настолько мал, что уже через два дня вас знает каждый житель. А здешние жители — не в обиду им будет сказано — не отличаются ни интеллектом, ни культурой общения. Вы заметили, что все здесь говорят друг другу «ты»?

— Ну и что?

— Это типичный признак нецивилизованности. Разумеется, я не могу упрекнуть в этом всю Европу, однако отсутствие высокой культуры является основным признаком европейцев. Вот, к примеру, мои соседки. Зачем они сюда приехали? Чем занимаются? Они до глубокой ночи гуляют по здешним злачным заведениям. Думаете, кто-нибудь из них посетил хотя бы один местный памятник или музей? Да и вообще, европейцы совсем не похожи на нас. Им никогда нас не понять. В них нет той искренности, той душевности, той открытости, которая есть у нас. У них все распределено по параграфам, разложено по полочкам. В двадцать лет они знают, кем будут в шестьдесят. Они трясутся над каждой копейкой, в то время как являются наследниками миллионных состояний. Вы только посмотрите на выражение лица европейца!

— Извините, — перебила я, — мы когда-нибудь придем? Вы сказали, что ваш дом близко.

— А мы уже пришли.

Дардыков жил на улице, круто поднимавшейся в гору, — в двухэтажном, как мне показалось сначала, очень экзотическом домике, прилепившемся одной стеной к скалистому уступу. Потом, когда я пригляделась, оказалось, что в этом квартале все улицы идут в гору и почти все дома одной стеной упираются в каменные уступы.

— А здесь, — Дардыков показал рукой на соседний такой же двухэтажный дом, — находится квартира, о которой я вам говорил.

— Может быть, зайдём сначала туда?

Мы позвонили.

На наш звонок никто не отозвался.

— Что ж! Значит, не судьба. Придется искать гостиницу, — сказала я.

— Но вы хотели зарядить телефон.

Дардыков толкнул свою калитку, и раздался скрежет несмазанных петель. На открытой террасе рос в деревянных кадках виноград — он карабкался по чугунной решетке, образуя живую стену. Из-под ног юркнула ящерка и исчезла среди камней.

Комната Дардыкова была небольшой, чистой, и, кроме аккуратной стопочки учебников, я не заметила ничего интересного. Сквозь щель в деревянных ставнях проникала тонкая полоска света, утыкаясь в каменный пол.

— Вот здесь я и живу, — сказал Дардыков и, подойдя к окну, закрыл ставни плотнее.

— Почему у вас так темно?

Он зажег свет и, вздохнув, объяснил:

— С улицы идет сильный жар. К тому же я не люблю яркого света.

Я поискала глазами электрическую розетку, но, не найдя, спросила:

— Скажите, так мне можно зарядить мобильник?

— Да, разумеется. — Дардыков, нагнувшись, протянул руку под аккуратно заправленную кровать и вытащил удлинитель. — К сожалению, розетки здесь сделаны на уровне пола. Очень неудобно пользоваться, поэтому пришлось покупать удлинитель. Тысяча двести песет. Здесь вообще очень дорогие электротовары. Хотите кофе или чаю?

— Нет-нет, спасибо. — Я воткнула адаптер в розетку. — Телефон будет заряжаться часа четыре. Вы не против, если я зайду за ним вечером?

— Пожалуйста, не уходите, — попросил Дардыков. — Подождите меня на террасе.

— Зачем?

— Я все же хочу помочь вам в поисках жилья. Но из-за этой жары... — Он покраснел. — Словом, мне надо переодеться.

Я вышла на террасу.

Там, в виноградной тени, за столиком, на котором стояли несколько банок с пивом, я обнаружила двух белобрых девичек — одну коротко стриженную, другую — с волосами до плеч, но в какой-то полувоенной кепке, надвинутой на глаза. «Наверное, это и есть скандинавки — соседки Дардыкова», — подумала я. С ними сидел, закинув ногу на ногу, с сигаретой в руке, мальчик лет девятнадцати, тоже светловолосый, с тонкими чертами лица и серыми насмешливыми глазами.

— Привет! — сказал он по-английски. — Ты тоже здесь живешь?

— Нет. — Я не сразу сообразила, что сказать. — Я пришла... в гости.

— Понятно, — сказал мальчишка. — Я тоже пришел в гости. К ним. — И он указал на белобрых девичек. — Знакомься. — Он назвал имена своих подруг, которые я тут же забыла. Те улыбнулись мне приветливо, но без энтузиазма. — А меня зовут Андре. Полностью — Андреас, но лучше просто Андре. — И он засмеялся, словно сказал что-то смешное. — Ты откуда?

— Из Мадрида.

— Ты на испанку не похожа.

— Я не испанка. Я русская.

— Значит, из России? — Он усмехнулся. — А я из Германии. Из Кёльна. А они, — он опять указал на своих подруг, — из Швеции.

— Садись с нами, — сказала нестриженная скандинавка и подвинула мне стул. — Хочешь пива?

— Спасибо, — ответила я. — Вообще-то я должна идти. Ваш сосед...

— Валериу! — подхватила стриженная. — Он такой смешной. Говорит нам каждое утро *гутентаг!* Но вообще-то, — видимо, она подумала, что я имею к Дардыкову какое-то близкое отношение, — он очень милый.

В этот момент на террасу вышел сам Дардыков. Он причесался и переодел рубашку. Видимо, он совсем не ожидал встретить меня в такой компании и растерянно остановился в дверях.

— Ничего-ничего, — сказала стриженная ему по-английски, — здесь есть место.

— Они говорят, — перевела я ему, — чтобы вы принесли еще один стул.

Лицо Дардыкова потускнело, он принес стул и сел рядом. Над террасой повисла тишина. Солнечное пятно, передвигаясь по полу, коснулось моих пальцев и стало их жечь, я подобрала ногу.

— Как жарко! — воскликнула стриженная.

— А я люблю жару, — сказал немец, потягиваясь.

Дардыков молчал, глядя в пол.

Я допила пиво и поднялась.

— Мне пора. Очень приятно было познакомиться, — сказала я скандинавкам и немцу по-английски, а потом по-русски обратилась к Дардыкову: — Спасибо за прием.

— Я иду с вами, — вскочил он.

— Зачем?

— Я должен проводить вас: может быть, хозяйка уже вернулась и нам удастся поговорить с ней...

Я пожала плечами, сделала шаг к двери и еще раз улыбнулась скандинавкам и немцу. Мальчишка смотрел на меня с любопытством.

— Что ты делаешь сегодня вечером? — спросил он.

— Не знаю.

— Пойдем куда-нибудь вместе?

— Куда?

— Ты знаешь, где бар «Латино»?

— Нет.

— Тогда встретимся на главной площади, возле фонтанов. В одиннадцать. Придешь?

— Может быть. — Я улыбнулась и махнула рукой.

— Вы догадываетесь, что я не понял ни слова. Тем не менее не рекомендую вам с ним общаться, — обидчиво сказал Дардыков, когда мы спустились по лестнице. — Этот молодой человек представляет собой сплошное высокомерие. И несмотря на то что я в совершенстве владею немецким, мне абсолютно не о чем с ним говорить. Он, знаете ли, считает себя пупом земли, думает, что все на свете — его подданные...

На этот раз хозяйка квартиры оказалась дома — это была смуглая, худая женщина лет сорока, с черными блестящими глазами. Казалось, мы ее разбудили.

Она сказала, что готова сдать комнату, что ее зовут Кармен, что она бывает дома редко и что я могу пользоваться посудой на кухне с одним условием — мыть ее после еды.

— Сколько времени ты будешь жить? — спросила она.

— До воскресенья.

Мы условились о плате. Кармен вручила мне ключи от комнаты, от квартиры, от входной двери в дом и от калитки, затем взяла деньги, не пересчитывая, положила их на телевизор и сказала кратко:

— Можешь переезжать.

— К сожалению, — сказал, озабоченно посмотрев на часы, Дардыков, когда мы вышли на улицу, — я не могу вам сейчас помочь в переезде на квартиру. Скоро у меня начинаются занятия — это на другом конце города. Но что вы делаете сегодня вечером?

— Не знаю.

— Тогда, может быть, я зайду к вам? Часов в восемь? Ведь мы теперь соседи.

— Я вам очень благодарна, — ответила я, — но...

— Я непременно приду, — понял мой ответ по-своему Дардыков. — Мы погуляем с вами по городу, и я расскажу вам о местной архитектуре. К сожалению, сами испанцы игнорируют историческое прошлое своей страны...

— Да-да! Мы обязательно погуляем... И поговорим! — ответила я и почти побежала прочь.

В гостинице хозяин затребовал с меня плату еще за одни сутки.

— Сейчас два часа, а расчет начинается с двенадцати, — сказал он.

— За отсутствие горячей воды и кондиционера мне тоже платить?

— Не надо, — угрюмо ответил он.

Я заплатила, собрала вещи, вышла на улицу, взяла такси и через пять минут снова разбирала чемодан в своей новой комнате.

Хозяйки не было видно. Деньги мои лежали по-прежнему на телевизоре.

Сидевшая на белой стене ящерка, увидев меня, юркнула за штору.

До вечера оставалось еще слишком много времени. Я решила побродить по городу, взяла сумку и вышла на улицу.

С приближением сумерек город оживал — разноголосый шум заполнял улицы: люди выбирались из домов, где они прятались от жары, и занимали столики ночных кафе. Громкий смех взрослых смешивался с лопотанием и визгом детей. К дверям ресторанов и баров тянулись организованные толпы туристов — на их лицах светилось удовлетворение: видимо, они уже осмотрели и запечатлели на пленку все местные достопримечательности. Теперь их ждал обильный ужин и золотое пенящееся пиво. Я тоже поужинала и пошла вверх, в гору, по первой попавшейся улочке.

Вдали, на высоком холме, едва виднелись стены старинной мусульманской крепости. Их тяжелые контуры проступали смутными очертаниями на темном небе, а зубцы башен уже потонули во мгле.

Я долго шла вперед. Все меньше прохожих попадалось навстречу, улицы стали совсем узкими, заплетали и закружились среди белых стен.

— Hola, гуара!² — гаркнул кто-то мне в самое ухо, и я шаррахнулась в сторону.

Молодой испанец прошагал мимо и, скрываясь за поворотом, весело послал мне на прощанье воздушный поцелуй.

Петляя по лабиринту улиц, я наконец выбралась на главную площадь. Андре и скандинавки сидели на бортике фонтана, видимо, не замечая, что он мокрый. Рядом с ними нетерпеливо подпрыгивала на месте незнакомая черноволосая девица.

— Какая пунктуальность! — засмеялся немец. — Еще нет двенадцати, а ты уже пришла.

— Привет! — сказала черноволосая девица. — Меня зовут Соледад.

— Ну что? Идем? — крикнул Андре.

Он пошел вперед легким быстрым шагом, его светлые волосы развевались на ветру.

— Здесь, — сказал он, останавливаясь напротив ярко освещенных дверей. — Заходите. — И, глядя, как мы усаживаемся за столик, добавил: — Возьмем три кувшина сангрии.

Хозяйка бара — пожилая испанка — принесла бокалы. В движениях ее тучного тела еще таилась былая красота, а черные, как крыло ворона, волосы сверкали тонкими нитями седины. Но мои новые друзья не смотрели на нее.

— Подумаешь, кольцо в носу! — кричала Соледад. — У меня и в носу, и над бровью, и на пупке, но это все не то! Самое главное — это здесь! Смотрите все! — И она высунула язык, на котором сверкала металлическая бляшка.

— А у меня только в носу! — вздохнула нестриженная скандинавка.

Глаза Соледад заблестели:

² Привет, красавица! (исп.)

— Конечно, на языке неудобно! Особенно если целуешься. — Но ведь тогда можно и снять!

— А я хочу татуировку, — сказала другая скандинавка. — Такую же, как у Тони. — Она указала на свою подругу. — Только рисунок еще не выбрала.

— У меня их три! — махнула рукой Соледад. — А вот показать не могу. Придется снимать джинсы.

— Ой! — взвизгнула стриженная. — Смотрите, под столом кошка!

Соледад залезла под стол.

— Моя хорошая! — донеслось оттуда, и через несколько секунд она вынырнула из-под стола с кошкой на руках. — Смотрите, какая красавица! — И она поцеловала кошку в морду.

— Фу! — поморщилась нестриженная.

Кошка зажмурилась и замурлыкала. На черной лестнице нашего дома, на Васильевском, сколько себя помню, всегда жили кошки, и мы с мамой их кормили. Мне всегда ужасно хотелось взять хоть одну из них в нашу комнату, но было нельзя — из-за соседей.

— А вы знаете, — продолжала Соледад, — что во время гражданской войны люди ели кошек и собак? А еще собственные пальцы. Вначале отрубали! Потом варили!

Андре заерзал на стуле. Вряд ли его смущала тема разговора, просто Соледад слишком перетягивала на себя общее внимание. Он хотел что-то сказать, но тут к нашему столику подошла хозяйка.

— Бар закрывается, — сообщила она.

— Почему так рано? — удивился Андре.

— Так всегда, — ответила хозяйка.

Андре пожал плечами и посмотрел на меня:

— Пошли дальше?

— Куда?

— Куда-нибудь. Потанцуем.

— Пойдем.

— Отлично! Вперед! — скомандовал мальчишка.

Скандинавки по очереди зевнули и объявили, что дальше не пойдут — у стриженной болит голова, у нестриженной — хроническое недосыпание. Дорога, круто повернув, разъединила нас, они ушли, а Соледад вдруг подпрыгнула и чертыхнулась.

— Смотрите! — прокричала она, указывая на тротуар. — Блевотина! Вот это кто-то напился!

Андре скривился.

— Она меня бесит! — сказал он тихо.

Я не ответила, разглядывая вывеску бара, к которому мы подошли. Она была полустерта, словно древние иероглифы на холодном камне.

— Ну что, заходим или нет? — спросила Соледад нетерпеливо.

Немец не ответил и стоял задумчиво возле двери. Наконец он обернулся ко мне.

— Но ты мне нравишься! — сказал он вдруг.

— Заходим или нет? — закричала Соледад. Ее глаза сверкали, как два угля.

Мы зашли. Меня окутал дым, и в ноздри проник аромат марихуаны. Прыгающий свет выхватывал из полумрака парочки танцующих, замирал на мгновение на их лицах и вдруг исчезал, погружая тесную площадку в темноту.

Расталкивая людей, мы протиснулись к стойке. Соледад схватила меня за руку:

— Пиво здесь отличное!

Нам подали пиво. Андре наклонился к моему уху:

— В этом баре полно голубых. Но ты со мной, и ко мне не будут приставать. — И он расхохотался.

— Раз так, пошли танцевать, — сказала я.

Близился третий час ночи, но бар жил полной жизнью: так же гремела музыка, а бармен носился как вихрь — подавая, разливая и смешивая напитки. Я почувствовала толчок в спину: растрепанная, с безумным взглядом огромных глаз ко мне подскочила Соледад.

— Диджей — мой приятель! — горячо зашептала она. — Он сказал, что поставит фламенко, если мы с тобой станцуем!

— Я не умею.

— Будешь импровизировать!

— Какого черта я буду импровизировать, если не умею?

Ее глаза сделали три оборота.

— Не умеешь? Ты же говорила, что умеешь! — Видимо, она с кем-то меня перепутала.

— Оставь ее в покое! — сказал Андре.

Соледад замолчала, соображая.

— Нет. Одна я не могу.

— Почему?

— Не могу... Хосе! — вскрикнула она внезапно, увидев кого-то в толпе, и кинулась в плену дыма.

— Наконец-то ушла! — сказал Андре брезгливо. — Будешь еще пиво?

— Нет.

Соледад внезапно вернулась.

— В туалете нет бумаги! — закричала она.

— Да что ты?

— Нет бумаги! — И она заозиралась по сторонам. — Захожу, а бумаги нет!

Андре положил ей руку на плечо, взглянул сверху вниз:

— Мы уходим.

— Куда?

— Домой.

— Так рано?

— На сегодня хватит.

— Я остаюсь.

— Как хочешь, — сказал Андре холодно.

В квартире было тихо — вероятно, хозяйка спала. Прокравшись на цыпочках в свою комнату, я легла на кровать и тоже уснула.

Во сне я увидела Андре. Я видела только его лицо — лицо юного эльфа, озаренное улыбкой. Он был словно создан из воздуха и света и смеялся, радуясь солнечному дню. Потом мне стали сниться ящерицы, ползающие по стене.

Я проснулась от громкого крика на соседнем балконе: два голоса — женский и мужской — обвиняли друг друга в своих несчастьях. Я открыла глаза.

Настенные часы показывали три часа дня, и комната уже наполнилась полуденным зноем. «Если закрыть окно, — подумала я, протирая глаза, — не будет видно неба. Зато не будет и ящериц». Я села посреди кровати и уставилась в окно, размышляя о странной природе ящериц и пауков, умеющих ползать по отвесной стене, затем встала и, пошатываясь спросонья, вышла на кухню.

Когда я пила кофе, появилась Кармен — у нее было сонное лицо и всклокоченные волосы.

— К тебе утром заходил твой знакомый с бородой, — сообщила она.

— С бородой? Дед Мороз, что ли?

Кармен захохотала так, что стала икать. Она взяла чайник с плиты и стала маленькими глотками отпивать из носика воду.

— Очень помогает. — Она наконец оторвала губы от чайника. — Когда икаешь, лучше всего пить воду маленькими глотками. Особенно горячую. Впрочем, холодную тоже можно.

— Так кто ко мне приходил?

— Ну, он был с такой вот, ну, не с бородой, конечно, а с бородкой, как у козлика. — Она погладила свой подбородок. — Он сказал, что хотел тебе передать мобильный телефон, но когда узнал от меня, что ты спишь, то решил зайти потом. Это твой знакомый, он вчера приходил вместе с тобой, он живет напротив. Такое невыразительное лицо, хотя и с бородой. Я тебя не обидела?

— Чем?

— Ну... Я про него сейчас плохо сказала.

— Нет-нет. Ты про него очень правильно сказала. А он не оставил мобильник?

— Не оставил. Он не предлагал, а я не спросила. Вообще я спала и плохо соображала.

«Козел!» Я нервно глотнула кофе, обожгла язык и поставила чашку на стол.

— Сейчас приду, — сказала я Кармен и пошла к Дардыкову. Однако дома у него никого не было. Калитка была закрыта, а терраса пуста. Только ветер шуршал соломой на полуразрушенном навесе.

«Идиот! Придунок!» — злобно подумала я и вернулась к себе. На пороге меня оглушил многоголосый свист и захлебывающийся мужской голос — Кармен сидела перед телевизором и смотрела футбол.

— Садись. — Она хлопнула рукой по соседнему креслу. — Матч века: «Реал» — «Барселона».

— Кармен! Можно, я позвоню с твоего телефона в Мадрид?

— Звони, конечно, — кивнула она.

Я перенесла телефон в кухню — здесь футбольные звуки были слышны меньше — и набрала номер.

— Вам Пако? — весело спросил голос Пако. — Какого Пако? Куда вы звоните? Это Министерство иностранных дел!

— Пако! Перестань дурачиться! Я звоню с чужого телефона, и мне неудобно долго говорить. Когда вы собираетесь приехать?

— Скоро приедем. Но когда — еще не знаю. Зависит от Лолы и от Лурдес. Мы приедем вместе с Лурдес. Я тебе о ней рассказывал?

— Постой, Пако. Подожди. Запиши мой адрес. — Я продиктовала ему название улицы и номер дома. — Я не могу сейчас долго говорить. Пока!

На кухню вышла Кармен:

— Представляешь? «Барселона» выиграла. Два — один! Ходер! Хочешь есть? — Через минуту Кармен раскладывала по тарелкам пиццу и быстро говорила: — Не люблю готовить. Разве только по праздникам, для гостей. Хочешь пива? Правильно делаешь, что не пьешь пива. Лучше пить вино. Полезнее для здоровья. Правда, у меня сейчас вина нет. Ты, я вижу, музыку любишь. — Она кивнула на мой плеер, прикрепленный на пояс. — Ты ешь еще. Давай я тебе положу. Ешь, ешь. Смотри, какая ты худая. Вот только хлеба у меня сегодня нет. Забыла купить. Кофе будешь? А ты учишься? Работаешь? Ух ты, такая маленькая, а уже работаешь. Тебе двадцать пять лет? Потрясающе! Я думала, лет семнадцать. А ты была замужем? Серьезно, была? Ходер! Когда мой первый муж разводился со мной, он сказал, что я плохая хозяйка. Хотя на самом деле мы развелись из-за детей. То есть он хотел детей. Я тоже хотела... А танцевать ты любишь? Я как-нибудь тебе покажу настоящие цыганские танцы. А у вас в России танцуют? А море у вас есть? Ходер! Никогда не знала. Но в футбол вы играете плохо. Наш «Реал» вас всегда обыгрывал. Забыла, как называется ваша команда! «Спартак», кажется...

Я вяло жевала пиццу, запивала ее водой и слушала болтовню Кармен. Она говорила около получаса, потом зевнула, собрала тарелки и сообщила, что еще немного поспит.

Я взяла сумку и вышла на улицу. Там было так жарко, что скоро я стала задыхаться. «Надо было ехать не сюда, а на побережье. Поваляться недельку на море...» — подумала я и тут же решила, что сейчас возьму такси и поеду на море. Мне захотелось глотнуть соленого ветра и пробежать по золотой песчаной полосе.

Скоро я уже сидела в машине, которая мчала меня по пустынной автострате.

Мы ехали около часа. Вдохновенный рассказ таксиста о производстве оливкового масла в Андалусии стал меня раздражать. Я уже жалела о том, что в очередной раз отправилась неизвестно куда и непонятно зачем, как вдруг на горизонте сверкнула ярко-синяя полоса с огромным красным диском садящегося солнца.

— Море! — крикнула я.

— Море, — подтвердил водитель.

Расплатившись, я выскочила из машины и помчалась по светлomu остывающему песку. Море шуршало, накатывая ленивыми волнами на берег. Скинув сандалии, я погрузила ноги в прохладную воду и засмеялась: так хорошо мне стало вдруг. Мимо с визгом промчалась стайка детей, обрызгав меня водой. Их звонкий смех напомнил мне детство: обрыв в степи, синяя морская даль и две девчонки, бегущие наперегонки с ветром по выжженной крымской земле. Так же, как та смуглая девчонка, хохотала моя неразлучная подруга Соня. Так же сверкала вода и дул ветер...

Невольно мои мысли полетели по родным местам. Почему-то вспомнилось, как я училась нырять, — это было в деревне, на Ладоге: родители заходили в воду, я забиралась им на плечи и прыгала рыбкой вниз... Как там мои родительки? На прошлой неделе звонила им: ничего, доченька, у нас все в порядке, начали делать в маленькой комнате ремонт — живем в большой, как на вокзале, отцу который месяц зарплату не платят, а тут, как назло, холодильник потек... Ну и так далее... Поменяла франки — послала им с Оливье двести долларов, он уезжал в Москву — как-нибудь им оттуда перешлет...

Море сверкало. Солнце уже почти коснулось линии горизонта. Скоро будет темнеть. Пора назад.

Я вышла на шоссе и встала у обочины, вытянув правую руку с поднятым большим пальцем. Я научилась ездить автостопом во Франции — Мишель мне всегда говорил: «Но это опасно!» — «Жить вообще опасно, — отвечала я ему, но, видя, как он огорчается, добавляла: — Зато мы экономим сто франков!» Это был решающий аргумент.

Дардыков принес мой телефон следующим вечером.

— Не беспокойтесь. Ваш аппарат в целостности и сохранности, — сказал он натянутым голосом, переминаясь в дверях. — Но я должен с вами серьезно поговорить. — Он смотрел на меня не мигая.

— О чем?

— Разговор серьезный, и мне не хотелось бы начинать его на пороге. Я хочу сделать вам одно предложение.

— Поговорим завтра.

— Я прошу вас.

«Вот привязался!» — подумала я угрюмо и ответила:

— Хорошо. Проходите в комнату.

Он неторопливо вошел и сел на стул. Его мрачный взгляд стал меня раздражать.

— Говорите.

Он встал со стула, подошел к окну и стал постукивать пальцами по подоконнику.

— Вы не пришли тогда, и я не знал, что думать. Я думал, с вами что-то случилось. Я очень беспокоился. Я хотел написать вам письмо, но решил отложить до встречи... — Он замолчал.

Я ждала.

— Словом, я долго думал... — Он опять замолк, потом голос его слегка дрогнул: — Я хочу сделать вам предложение. Я предлагаю вам выйти за меня замуж.

Сердце мое похолодело: «Сумасшедший!»

— Я все проанализировал, — продолжал Дардыков, ободренный моим молчанием. — Не забывайте, я психолог по специальности. — Голос его приобрел уверенность. — Я разбираюсь в людях не только, как говорят теперь, по жизни, но и по книгам. Я анализировал ситуацию все это время и пришел к выводу, что вы именно та женщина, которая необходима мне.

— К сожалению, это невозможно, — сказала я ласково. — Я уже была замужем.

— Это не имеет никакого значения. Я проанализировал: вы подходите мне во всех отношениях. Вы образованны, умны. Несомненно, в вас есть некоторое легкомыслие, но с годами это пройдет. В особенности когда вы приедете обратно в Россию. К тому же я не тороплю вас с ответом! Я прошу вас обдумать и сообщить мне о вашем решении.

Я глядела на его бородку и представляла, как он подстригает ее по утрам.

— Конечно, я подумаю, — сказала я еще более ласково. — Обещаю вам. А теперь, если можно, позвольте мне побыть наедине со своими мыслями.

Дардыков поклонился и вышел.

— Отдал телефон? — спросила Кармен, не отрывая глаз от телевизора.

— Отдал, — буркнула я.

Мне было не по себе, и я уселась рядом с Кармен, тупо глядя на экран. Вдруг я поняла, что Дардыков не принес адаптер, и чуть не завывала от отчаяния. Собравшись с силами, я спустилась вниз и позвонила в калитку соседнего дома.

Дардыков долго не открывал — наверное, был в ванной, потому что, когда наконец открыл, редкие его волосы были мокрыми и прилизанными.

— Слава Богу. — На его лице появилось подобие улыбки. — Я был уверен, что вы придете.

— Отдайте мне адаптер, — сказала я.

— Что такое адаптер? — изумился он.

— Шнур от мобильного.

Дардыков провел рукой по мокрым волосам.

— Хорошо, — сказал он, глядя на меня пристально. — Я верну вам адаптер.

Я устало облокотилась на перила. В черном небе мерцали далекие точки звезд, ветерок приносил запах полыни и лимона. Летучая мышь прочертила над моей головой круг и растворилась в темноте.

«Дардыков несомненно сумасшедший, — думала я, глядя на дрожащие огни города. — Надо держаться от него подальше».

— Вот ваш шнур, — раздался дардыковский голос за моей спиной.

Я вздрогнула, схватила адаптер и кинулась к калитке.

— Постойте! Подождите! — почти закричал Дардыков.

— До свидания. Всего доброго, — ответила я быстро и чуть не сбила с ног скандинавок, входящих в дверь. За ними шли еще несколько иностранцев, и Андре в их числе. Он взглянул на меня и улыбнулся.

— Оу! — сказала Тони. — Как это мило! Ты здесь! Давай с нами ужинать! Ты умеешь готовить? Мы купили столько еды!

— Я... я...

— Может быть, ты нам поможешь? Мы купили рыбу, но никто толком не знает, что с ней делать.

Они столпились вокруг меня, галдя и смеясь.

— Пойдем, пойдем! — продолжала Тони. — Разве у тебя какие-то дела? Куда ты так торопишься?

Я растерялась. Их появление сбило меня с толку.

— Ладно, — сказала я. — Хорошо.

Я вернулась на террасу, теперь уже в сопровождении всей компании. Дардыков исчез. Я вспомнила, что он старается избегать своих соседей, и подумала: «Тем лучше. Значит, он сюда не выйдет».

— Давайте вашу рыбу. Я приготовлю национальное русское блюдо. Начинайте без меня. Через десять минут будет готово.

Едва они ушли с кухни, появился Дардыков. Он остановился на пороге, скрестив руки на груди, и, прислонившись плечом к косяку, глядел на меня исподлобья.

— Очень нехорошо, что нам не удастся поговорить. Вы мне ничего не ответили на мой вопрос. Вы все время уходите от ответа. Я наблюдал за вами. Вы на самом деле совсем другая, нежели хотите выглядеть. Я проанализировал. С таким складом ума, со знанием нескольких языков — и проводите время впустую, уподобляясь всей этой золотой молодежи...

— Послушайте, — не выдержала я. — Я приехала сюда отдохнуть, а не размышлять о смысле жизни. И ваши аналитические рассуждения меня не интересуют.

Он сухо улыбнулся:

— Вижу, вы сегодня не в духе. К тому же присутствие этой компании не располагает к общению. Поэтому я готов подождать. Надеюсь, вы не против, если завтра я к вам зайду?

Я открыла микроволновку, ткнула вилкой в рыбу, отломил кусочек и попробовала — получилось отлично.

— Пора подавать, — сказала я. — Поможете мне отнести на террасу?

— То есть вы предлагаете мне поработать официантом для этой компании?

— А вы разве не будете с нами ужинать?

— Меня никто не приглашал.

Я пожала плечами и понесла рыбу на террасу.

Когда я вернулась домой, уже рассвело. Город еще спал, а из-за стен арабской крепости выплывал яркий солнечный диск. Я заварила кофе и уселась на балконе.

Из лабиринта улиц послышались звуки музыки. Звуки быстро приближались — кто-то, включив на полную мощность магнитофон, поднимался на машине в гору. Скоро из-за поворота появилась и машина: ревя и грохоча песней, заглушавшей звук мотора, она влетела на нашу улицу, остановилась прямо под моим балконом, и из нее выскочили двое — он и она.

— Ну и куда ты нас завез? — кричала она. — Я тебе говорила, что надо позвонить перед выездом!

— Вот козлиха! — кричал он. — Сейчас позвоню! Я тебе говорю, что мы правильно приехали!

Я узнала в них Пако и Лолу.

— Пако! Лола!

Они подняли головы.

— Тсс! — Я поднесла палец к губам. — Выключите музыку! Вся улица спит.

Я выбежала наружу — мы обнялись и расцеловались.

Пако хлопнул меня по плечу:

— Залезай в машину. Едем в горы.

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас.

— Подожди. Давай хотя бы кофе выпьем. Я только что вернулась. Всю ночь не спала.

— Вот возлиха! — ласково сказал Пако. — Мы тоже всю ночь не спали — сюда ехали. Залезай!

— Кофе! Кофе! Надо выпить кофе! — заговорила Лола. — Пошли скорей.

— Только тихо.

— Да-да. Тихо, тихо, — сказал Пако, приглушая голос, и тут же, забывшись, закричал, нагибаясь к машине: — Маноло! Пошли пить кофе!

Из машины вылез крепкий, коротко стриженный молодой человек.

— Это наш приятель. Знакомься, — сказала Лола.

— А где же Лурдес? — поинтересовалась я, вспомнив, как Пако хотел рассказать мне о ней по телефону.

— Какая Лурдес? — спросил Пако.

В горах мы провели весь день. Я так устала, что на обратном пути заснула. Какое-то время я еще различала сквозь туман дремоты горные уступы, проносящиеся за окном машины, тонкую загорелую руку Пако, держащую руль, лицо Маноло, сидящего рядом со мной и рассказывавшего что-то, но скоро все пропало, и я погрузилась в сон.

Разбудил меня резкий толчок, скрип тормозов и крики Лолы. Я почувствовала сквозь сон, как меня прижало к дверце и как задержалась машина, словно она прыгала с кочки на кочку. «Вот так, — успела подумать я. — Мы летим в пропасть».

Когда я открыла глаза, машина стояла посреди небольшой поляны метрах в десяти от дороги.

— Идиот! Дубина! — кричала Лола брату.

— Ходер! — орал Пако в ответ. — Надо было нормально держать бутылку!

И дальше загрохотали две бешеные скороговорки: Пако и Лола обвиняли друг друга, кричали и размахивали руками. Маноло тоже кричал и размахивал руками, — казалось, сейчас все они вцепятся друг другу в волосы. Я попыталась их разнять, но они меня не слышали. Нашупав ручку дверцы, я вылезла из машины и отошла в сторону. Маноло выскочил вслед за мной.

— Что случилось? — спросила я.

— Мы чуть не погибли! Чуть не погибли! — закричал Маноло. — Ходер!

— Тормоза отказали?

— При чем тут тормоза?! Мы чуть не погибли!

— А что случилось? — спросила я снова.

— Пако захотел калымочо, а Лола стала поить его из бутылки. Боже мой! Слева была такая пропасть! Такая пропасть! Если бы Пако не затормозил! — Лицо Маноло исказила гримаса ужаса, и я поняла, что, если бы Пако не затормозил, мы бы действительно погибли.

Тут в машине замолчали, и оттуда высунулся Пако.

— Поехали, — сказал он мрачно. — Она говорит, что сломала руку.

Я заглянула на переднее сиденье.

— Лола! Что с тобой?

Она держалась за ушибленную руку и всхлипывала.

— Идиот! Козел! — повторяла она не переставая. — Как же я теперь буду работать?

— Ну успокойся, потерпи немного. Сейчас мы быстро найдем какую-нибудь больницу. В каком месте больно?

Через десять минут мы припарковались возле каменной часовни в горной деревушке. Две старухи, одетые во все черное, неподвижно, как две

статуи, сидели на скамейке. На наш вопрос о больнице они ответили на каком-то местном диалекте, и я не поняла ни слова.

Больницы здесь не было, но было нечто вроде медпункта. Медпункт был закрыт. Пако чертыхнулся и пошел спрашивать у игравших в футбол мальчишек, есть ли у этого медпункта медперсонал. Мальчишки сказали, что надо зайти в соседний дом. Пако пошел в соседний дом и через минуту вышел вместе с местным врачом — толстым и энергичным коротышкой, едва достававшим своей лысиной до плеча Пако.

Лола несколько притихла.

— По-моему, — сказала она неуверенно, когда вышла из машины, — болит меньше.

Врач провел нас в маленькую комнату грязноватого цвета и стал ощупывать руку Лолы сосредоточенно и равнодушно.

— Никакого перелома. Никакого вывиха. Ничего страшного. Ушиб, — заключил он.

— Правда не перелом? — недоверчиво спросила Лола.

— Никакого перелома, — повторил доктор.

— О Боже! — На лице Лолы появилась улыбка облегчения. — Ах, я так испугалась, так испугалась! Доктор, дорогой, спасибо! Надо же, не перелом. Пако, хорошенький мой, ты слышишь, не перелом! Спасибо, доктор.

— Я бы советовал использовать мазь, — сказал врач и, посмотрев на меня, добавил: — Ты испанка?

— Она русская, — вмешался Маноло.

— А что за мазь? — спросила Лола.

— Сейчас дам. Она у меня дома. Идем!

— Я схожу, — сказал Маноло.

— А мы пока купим какой-нибудь воды, — предложил Пако. — Тебе какой?

— Мне фанты, — сказал Маноло, схватил доктора за локоть и пошел в сторону медпункта. — Вы не представляете, какая была слева пропасть! — донеслось до нас издалека.

На соседней улице мы нашли крошечный магазин, купили там фанты и кока-колы и отправились к машине.

— Как я рада, как я рада! — щебетала Лола. — А я уже решила, что перелом. Честно говоря, рука даже и не болит!

Пако достал пачку «Фортуны», дал сигарету сестре, закурил сам и командовал:

— Поехали!

Мы забрались на сиденье, Пако включил магнитофон на полную мощность, нажал на газ, и опять закружили, замелькали извивы дороги. Лола откупорила банку фанты.

— А тебе разве не нравится Маноло? — спросила она, отпивая глоток и передавая банку мне.

Я пожала плечами:

— Не знаю.

— Как не знаешь? Он мне сказал, что в тебя влюбился.

Я рассмеялась.

— Не смейся. Вот послушай: Фернандо всегда мне говорил... — Здесь Лола вдруг издала странный звук — то ли хрип, то ли вздох. — Мы же за- были Маноло! — прошептала она упавшим голосом.

Мы вернулись назад, в деревню.

Врач сказал, что готов нам дать еще одну склянку мази, но нашего друга, с тех пор как тот от него вышел, не видел. Две черные старухи по-прежнему сидели возле часовни, но Маноло не видели. Мальчишки, гонявшие мяч, тоже не знали про Маноло.

— Ну и что? — спросила Лола, закуривая новую сигарету. — И где он? — Она задумчиво посмотрела на горный пейзаж: над самыми снегами

Сьерра-Невады висело темно-оранжевое солнце — через несколько минут оно зайдет за горы.

— Хо-о-одер! — уныло ответил Пако. — Вообще-то уже десять вечера. Может, он уехал на такси?

— Откуда здесь такси? — спросила я.

— В конце концов, есть же здесь медпункт. — Лола решительно стряхнула пепел. — Ладно, поехали.

Назад мы ехали почти молча. Пако и Лола расстроились. Но едва попав в город, и он и она снова оживились.

— Я должна срочно выпить кофе! — сказала Лола. — Пакильо, скорее паркуйся.

Пако остановился у первого же попавшегося на глаза бара. Мы вошли, и Лола, забыв про кофе, заказала себе пиво. После третьей кружки она порозовела и развеселилась.

— А я хочу танцевать! — закричала она, ударяя кулаком по столу. — Поехали на дискотеку. Тут есть одна класная дискотека. Я знаю.

— Еще рано, — сказала я, посмотрев на часы. — Посидим часок и поедем.

«Как они так могут? — подумала я. — Ночь не спать — ехать из Мадрида на другой конец страны, потом не спать целый день, а потом еще всю ночь танцевать? Наверное, вечное солнце дает им силы».

Я взяла бокал, но тут в моей сумке ожил мобильник. Чуть не расплескав ликер, я вытащила телефон.

— Привет! — сказал незнакомый девичий голос по-русски.

— Привет! — ответила я. — Кто это?

— Это я, Катя Пономарева. Ты меня помнишь? Мы с тобой еще дипломом вместе защищали. У Колпакова!

— Катя! Ты откуда звонишь?

— Из Франции. Я приехала сюда на год писать диссертацию — выбила стипендию. Я ищу тебя уже неделю. Сначала я позвонила Лене Жук. Помнишь Лену Жук? Не помнишь? Она сейчас в Лионе живет. А она тебя помнит. Она дала твой парижский телефон, но там мне сказали, что ты здесь больше не живешь, и дали телефон твоего друга, а он уже дал этот номер.

— Какого друга?

— Его зовут Мишель. Я поняла, что он твой друг.

Боже! Не хватало еще Кате Пономаревой расследовать мою личную жизнь! Что ей от меня надо? Ведь не просто так она звонит...

— Я тебя очень хочу видеть, — продолжала она. — Мне нужен твой совет по поводу парижских библиотек. К тому же я приезжаю в Париж через неделю, и мне совершенно негде остановиться.

— Ты разве не в Париже?

— Нет, я в Монпелье. Но буду приезжать в Париж регулярно. Почему у тебя такой странный номер телефона?

— Это мобильник.

— У тебя есть мобильник? Наверное, у тебя уже есть собственная машина? — В Катином голосе послышалось обидчивое уважение.

— Нет, Катя, машины у меня нет. Знаешь что? Давай я запишу твой номер и, как вернусь, сразу тебе позвоню. А то очень плохо слышно, — соврала я.

— Хорошо, я сейчас перезвоню. А я тебя слышу очень хорошо.

— Нет, от этого лучше не будет. Сотовые телефоны очень плохо принимают, — еще раз соврала я.

Она продиктовала свой номер телефона, и мы попрощались.

Пако внимательно слушал мой разговор.

— Люблю русский язык, — сказал он, прищелкнув языком. — Очень красиво звучит. — И он членораздельно и очень похоже проговорил слова, которым я его когда-то научила: — Я тэбья лублу.

— Да, — кивнула Лола. — Красивый язык. Как испанский. Что ты вцепилась в бокал? Пей.

На дискотеку мы попали в третьем часу ночи.

Едва войдя, я увидела Андре и скандинавок. Они сидели возле стойки; стриженная что-то говорила немцу, ее подруга молча пила. Мальчишка сучал, рассеянно глядя на танцующую толпу.

«Не город, а деревня, — подумала я. — Везде встречаешь знакомых».

Андре заметил нас, взгляд его замер, и он что-то сказал стриженной. Та повернула голову в нашу сторону и, кисло-любезно улыбнувшись, помахала мне рукой. Вторая скандинавка сделала то же самое.

— Кто это? — спросила Лола.

— Мои друзья.

— Красивый мальчик! — сказала она громко. — Красивый. Очень на тебя похож. Подожди меня здесь. Я в туалет.

Пако затеребил меня за плечо:

— Что пьем? Калимочо на троих?

Я кивнула. Пако исчез среди вздымающихся рук и извивающихся тел. Андре тем временем подошел ко мне.

— Привет! — сказал он по-английски так, словно не он, а я, пробившись сквозь танцующих, добралась до него. — Где ты была целый день?

— Мы ездили в горы.

— В горы? Зачем?

— Не знаю. Просто так.

Он усмехнулся:

— Сегодня я заходил за тобой. Мне открыла какая-то женщина, очень странная. Сказала, что тебя нет.

Я пожала плечами.

— А ты сегодня не одна.

— Да, не одна.

— Понятно. В таком случае не буду мешать.

Он махнул рукой и, повернувшись, потерялся в толпе. Из облака табачного дыма вынырнула Лола. Метнув взгляд в ту сторону, где секунду назад находился Андре, она заорала:

— Я диджея попросила, чтоб поставил нашу любимую. Сейчас заиграет.

Грянула музыка, и ноги сами пустились в пляс. Смеясь, я потащила Лолу за собой.

— Очень красивый парень этот блондинчик! — прокричала Лола сквозь музыку. — Твой бой-френд?

— Нет!

— Познакомишь?

— Конечно!

Меня наполнило веселье. Музыка словно зажгла меня изнутри, и теперь огонь этот гулял по телу и, вырываясь наружу, превращался в танец. Лола прыгала как обезьяна, размахивая в воздухе руками. «Неужели, — подумала я, — я не сплю уже вторую ночь? Откуда только берутся у человека силы?»

Из толпы появился Пако, с трудом удерживая три бокала.

— Это вам! — Его лицо сияло. — Водка с лимоном!

— А ты уже напился? — спросила его сестра, хватая бокал.

— Не поверите! — сказал он. — Я только что познакомился с такой красавицей! Кажется, я влюбился!

Лола зашлась в хохоте. Звонко ударив свой бокал о мой, она крикнула: — За любовь!

После пятого глотка я почувствовала, что ноги немеют и подгибаются.

— Нельзя смешивать! — крикнула Лола, допив.

Мне захотелось простой воды, захотелось выйти из душного облака дыма, из прыгающей толпы, из мечущегося по лицам света.

— Сейчас приду, — сказала я и, расталкивая танцующих, почти выбежала на улицу. Внезапная тишина оглушила меня настолько, что я стояла мгно-

вение не шевелясь, вцепившись рукой в перила. Из хаоса, грохота и дыма я словно шагнула в космос. Холодная горная ночь мерцала россыпями звезд, благоухала свежестью мяты. Летучие мыши бесшумно парили в воздухе.

На ступеньках сидел Андре. Я узнала его сразу, несмотря на то что в голове шумела водка.

— Садись, — сказал он.

Я села рядом. Впрочем, я села бы, даже если б его здесь не было. Ноги меня не держали.

— Ты что здесь делаешь? — спросила я, разглядывая его внимательно, как разглядывают предметы.

Он улыбнулся:

— Курю.

— Понятно. — Я удивилась собственному голосу — он словно отделился от меня и говорил самостоятельно. — Моя подруга хочет с тобой познакомиться.

— Правда? — Он усмехнулся и встал. — Значит, я ей понравился?

— Наверно. Пойдешь к нам?

— Нет.

— Почему?

— Потому что я иду домой.

— Как знаешь, — отозвалась я. Меня тошнило, а холод уже пробрался за воротник.

— До завтра!

Он бросил сигарету на землю. Она ударилась о мостовую и рассыпалась искрами. Скоро его фигура исчезла за поворотом. Некоторое время я сидела на ступеньках, тараща глаза в темноту, потом встала и, держась за стену, поплелась обратно на дискотеку.

Пако я не нашла, а Лола отплясывала севильянас в окружении пятерых испанцев. В голове моей стало совсем мутно. Я видела, как дергается Лола, как она опрокидывает бокал за бокалом, как закуривает очередную сигарету. Я видела саму себя, которую какой-то пьяный аргентинец учит танцевать танго, и его сверкающая улыбка вспыхивает в луче прожектора. Кто-то опять протягивал мне бокал, кто-то твердил: «Ты красавица», я смеялась, пила и танцевала. Потом все поплыло перед глазами, у всех людей стало одно лицо, которое размножилось и закружилось вокруг меня; чьи-то черные глаза глядели на меня с твердым упорством, они увеличивались, расширялись, потом заняли собой все пространство и вдруг, загоревшись, разрослись во всепоглощающую тьму, и я упала в объятия аргентинцу. Точнее сказать, мы упали вместе, потому что он держался на ногах не тверже, чем я. Падая, мы увлекли за собой еще несколько человек, в том числе Лолу.

Чертыхаясь, я поднялась с пола первой и протянула ей руку. Она помотала головой, сама встала на четвереньки и поднесла руку ко рту:

— Сейчас сблую!

— Лола! — закричала я. — Вставай сейчас же! — Она отмахнулась. Я схватила аргентинца за рубашку. — Помоги мне дотащить ее до туалета. Давай!

Схватив Лолу под мышки, мы протащили ее по уже пустеющему залу и втолкнули в туалет. Кабинка была занята, и ее вырвало в раковину.

— Ходер! — бормотала она, открывая кран. — Какая гадость!

Она выпрямилась и схватилась за мое плечо. Лицо у нее побелело.

— Зря я это сделала, — забормотала она, — зря. Но я никогда их раньше не пробовала, я не знала, что так выйдет.

— Лола, ты пьяна. Пошли, пошли. Где Пако?

— Не знаю. Мне очень плохо. Проводи меня до машины. Зря я съела эту гадость.

— Какую гадость?

— Magic mushrooms. Хорхе предложил, а я взяла.

— Какой Хорхе?

— Хорхе... Я с ним танцевала. Такой красавчик... Господи, до чего же мне плохо.

Я вывела ее на улицу и посадила на ступеньки крыльца. Уже рассветало.

— Сиди здесь, — сказала я. — Пойду искать Пако.

Я нашла его на втором этаже, в самом дальнем кресле в темном углу. Он целовался со стриженной скандинавкой. Ее подруга спала в соседнем кресле, открыв рот.

— Пошли скорее! Твоей сестре плохо!

— Отстань.

— Дай мне ключи от машины! — крикнула я, топнув ногой от злости.

Скандинавка, обвив руками шею Пако, глядела на меня бессмысленными пьяными глазами. Пако вытащил ключи, я схватила их и побежала вниз.

Когда я открыла машину, Лола упала на сиденье, словно неодоушевленный предмет. Я села на землю и, прислонившись к машине, закрыла глаза.

Прошло несколько минут. Кто-то тронул меня за плечо.

— Это я, — послышался голос Пако. — Поехали.

Он сел за руль, я забралась на переднее сиденье. Лола спала на заднем как убитая, поджав под себя ноги.

— Ходер! — сказал Пако, зевая и заводя машину. — Забыл спросить, как ее зовут.

Я молчала.

— Ну что скисла? Устала? Я тебя довезу до дома.

Он нажал на газ, и машина рванула вверх по улице. Возле калитки мы попрощались.

— Мы отлично отдохнули, — сказал Пако. — Я давно так не отдыхал. Тебе надо лечь спать. На тебе лица нет.

— Конечно. Прощай, Пако. Когда Лола проснется, передай ей от меня привет!

— Мы позвоним из Мадрида. Или ты позвони из Парижа. Пока! — Он зевнул, улыбнулся и сел в машину. Раздались звуки музыки, и, взревев, машина скрылась за поворотом.

Я с трудом открыла и закрыла двери, с трудом поднялась по лестнице и вошла в квартиру. В моей голове дребезжала музыка и прыгали обрывки фраз, смеха, шуток — сотни лиц, пьющих, гогочущих, ненавистных. Я упала на кровать и зажала уши руками. Мне казалось, меня терзают демоны, казалось, еще немного — и я умру. Слезы душили меня, и я зарыдала беззвучно, уткнувшись в подушку.

Когда я проснулась, уже стемнело. Из-под двери просачивался дымок марихуаны. Я вышла из комнаты. Забравшись в кресло, Кармен задумчиво курила. Из открытого окна падал рассеянный сумеречный свет; Кармен сидела к окну спиной, и от этого ее глаза казались совсем черными. На журнальном столике была рассыпана колода карт.

— Привет! — сказала она. — Ты спала?

— Да.

— Понятно. — Она затянулась. — А я сначала решила, что ты уже уехала. Но потом увидела твои вещи и поняла, что ты еще здесь. Сегодня воскресенье?

— Суббота.

— Ну да, ты же сказала, что уедешь в воскресенье. Ходер! Как быстро летит время... — Она опять затянулась. Дымок, взвившись, образовал над ее головой светлый круг.

— Туалет течет, — равнодушно сообщила Кармен. — Надо позвать слесаря.

— Понятно.

Она молчала, делая затяжку за затяжкой.

— Зачем тебе карты? С кем-то играла?

— Нет. Я гадала.

— Ты умеешь гадать?

— Каждая цыганка умеет гадать.

«Цыганка? Какая цыганка? Что она несет? Обкурилась!» — подумала я уныло.

— Хочешь, погадаю? Для тебя бесплатно.

— Нет, спасибо. Я в это не верю. Да и потом — что гадать? И так все известно.

— Известно? — Она захохотала и стала собирать со стола карты. — Тебе, может, известно. А многим нет. Многие ходят, спрашивают про судьбу. — Она перетянула колоду резинкой и положила ее в ящик. — Но ты права. Я себе тоже никогда не гадаю. Только другим.

Она опять затянулась. Я молчала, вдыхая сладкий дым.

— И у всех — одно и то же, — продолжала Кармен. — Будешь курить?

— Спасибо, не хочу.

— Зря. Когда грустно, это помогает.

— Мне не грустно.

— Правда? — Она усмехнулась. — Ну как хочешь.

Мы помолчали. Кармен докурила, откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Я встала и ушла в свою комнату.

Около десяти позвонила Тони:

— Пойдешь с нами на дискотеку?

— Пойду, — ответила я, секунду подумав, и стала собираться.

Я уже дозастегивала ремешок левой туфли, как опять затрещал мобильник.

— Здравствуйте, — сказал голос Дардыкова. — Я надеюсь, вы сейчас уже дома.

— Здравствуйте, — ответила я холодно, зажимая трубку между ухом и плечом, а руками дозастегивая ремешок на туфле.

— Я заходил к вам сегодня утром, но ваша хозяйка сказала, что вы спите. Я заходил к вам днем, но мне никто не открыл. Поэтому я вынужден был выяснить номер вашего телефона у моих соседок. Что вы сейчас делаете?

— Ничего особенного, — сказала я, подходя к зеркалу и поднося кисточку с тушью к ресницам.

— С тех пор как вы ушли, — продолжал Дардыков, — я не нахожу себе покоя. Вы так ничего мне и не ответили на мое предложение. Это, в конце концов, невежливо. К тому же я просто хочу вас увидеть. Мне просто необходимо вас увидеть! — Его голос стал громче и настойчивее.

«Он не просто сумасшедший, — испуганно подумала я, — он маньяк».

Рука моя дрогнула, и я нечаянно провела кисточкой черную черту по щеке.

— Простите. — Вытирая щеку ладонью, я старалась придать голосу спокойную уверенность. — Но вчера я не могла с вами встретиться.

— Давайте встретимся сейчас!

— Сейчас? — На мгновение я замолчала, придумывая, что соврать. — Дело в том, что... я... Сейчас я не могу говорить... Я очень устала... Я спала, когда вы позвонили. И сейчас опять буду спать. Давайте встретимся завтра.

— Завтра? Завтра... Ну что же, хорошо... Завтра... В какое время я могу вам позвонить, чтобы не разбудить вас и еще застать вас дома? — сдавленным голосом спросил Дардыков.

— Когда хотите. До свиданья.

Я вышла на балкон и посмотрела вниз. Скандинавки ждали возле калитки. Я погасила свет и спустилась.

В первое мгновение я их не узнала: стриженная надела необыкновенное серо-голубое платье и подвела глаза так, что стала похожа на хорошенькую куклу. Тони рассталась наконец с военной кепкой и облачилась в бархатный сарафан. Ее светлые волосы рассыпались шелковыми кудрями по плечам, и серебряные браслеты, сжимавшие запястья, поблескивали в лунном свете. Только татуировка на плече немного ее портила.

— Хелло! — сказала Тони весело. — Смотри, какая луна!

Я подняла голову и посмотрела вверх. На террасе соседнего дома темнела неподвижная фигура человека. Дардыков! Я сунула ключи в карман и сказала тихо:

— Пошли быстрее.

— В чем дело? — удивилась Тони и почти побежала вслед за мной.

— Ни в чем. Просто люблю быстро ходить.

— Надо идти быстрее, — согласилась стриженная. — Андре нас ждет.

Андре ждал нас на дискотеке. Место оказалось неплохим: с четырьмя верандами, откуда открывался чудесный вид города, с зажигательной латинской музыкой и проворными кокетливыми официантами. Один из них сразу же признался мне в любви и стал угощать каким-то ликером. Я смеялась, он сыпал комплиментами. Мы обсуждали последние новости футбола, как вдруг, словно призрак, за спиной у бармена выросла фигура Дардыкова.

«Выследил!» — стукнуло в голове. От неожиданности я вздрогнула и едва не выронила бокал.

— Вы здесь! — сказал он по-русски. — Вы, я вижу, не скучаете.

В отчаянии я перевела взгляд на бармена. Тот наблюдал за мной с любопытством.

— Хосе, — сказала я по-испански, отодвигаясь от Дардыкова на шаг. — Познакомься. Это — тоже русский.

Бармен подмигнул и засмеялся:

— Завидую русским. У них такие красивые женщины!

— Что он сказал? — спросил Дардыков громко.

— Ничего особенного. — Я снова отступила на шаг. Дардыков придвинулся ближе.

— Зачем вы мне солгали?

— Я вам не лгала.

— Лгали. Вы сказали, что будете спать, а ушли на дискотеку. Я все видел.

— Ну и что? — Меня начало трясти. Я снова отступила, а Дардыков придвинулся.

— Выйдем отсюда, — бросил он отрывисто.

— Что?

— Я сказал: выйдем отсюда. Нам надо объясниться.

— Вам надо, вы и выходите.

Он схватил меня за руку и потащил за собой. Меня охватил панический страх, и я заверещала изо всех сил, перекрывая криком музыку:

— Хосе! Хосе! На помощь!

Я увидела, как от дверей к нам кинулись мощные вышибалы, затем почувствовала, что меня отпустили. Вокруг столпились любопытные, они что-то кричали и указывали в ту сторону, где вышибалы били Дардыкова. Я дрожала, прислонившись к стене.

— С тобой все в порядке? — спросил Хосе.

— Все в порядке. — Я попыталась улыбнуться, но у меня не получилось.

— Не бойся. Он больше не придет. Ребята его отделают как следует.

Я молчала и не могла сосредоточиться на его словах — меня билa нервная дрожь.

— Пойдем. Тебе надо что-нибудь выпить. Хочешь, сделаю тебе кальперинью?

Я кивнула.

Через минуту все стало по-прежнему. Любопытные покричали и снова стали танцевать. Хосе вернулся за стойку, а вышибалы встали у дверей. Все еще озираясь по сторонам, я сделала глоток кальпериньи.

Подошел Андре со скандинавками. Тони взяла меня за руку.

— Боже мой! — сказала она сочувственно. — Валериу... Он что, пьян? Я все видела. Ты как?

— Все о'кей! — я смогла наконец выдать улыбку. — Пустяки.

— У вас все мужчины такие нецивилизованные? — спросил Андре.

Я промолчала.

— Мы заняли место на верхней террасе. Пошли? — Он подтолкнул меня.

— Нет, мне пора.

— Тогда пока? — улыбнулся Андре.

— Пока.

— И ты больше ничего мне не скажешь на прощанье?

— Что я должна сказать?

— Не знаю. — Он усмехнулся. — Я оставлю тебе номер своего телефона.

— Зачем?

Он пожал плечами:

— Может, захочешь мне позвонить. У тебя есть на чем записать?

Я порылась в карманах и вытащила мятый листок. Андре развернул его и поморщился.

— Оскар, — прочитал он.

Несколько секунд он молчал, словно размышляя, затем усмехнулся и вернул мне бумажку.

— Ты права, мой телефон тебе не нужен. — На его лице появилась обычная снисходительная улыбка: — *Bon voyage!*

По мере того как я шла, шум дискотеки отдалялся, слабел, и наконец его не стало слышно. Надо было скорее возвращаться домой — день предстоял тяжелый: сначала на автобусе в Мадрид, затем на самолете в Париж.

Однако знакомая улица не появлялась. Дорога становилась все более узкой, она поворачивала и петляла среди лабиринта домов. Скоро стало совсем темно — все фонари куда-то пропали, и я уже не могла разглядеть на табличках названия улиц.

«Не хватало еще заблудиться», — подумала я угрюмо и пошла дальше. Дорога свернула вправо и скоро уткнулась в тупик. Чертыхнувшись, я пошла назад, однако дорога снова повернула, и я оказалась на крошечной площади с маленьким апельсиновым деревцем посреди. Казалось, город вымер — вокруг не было ни души. Беспомощно оглядевшись, я продолжала брести, надеясь, что встречу кого-нибудь из местных жителей, однако кругом были только глухие белые стены, теряющиеся во тьме. Стук моих каблучков о камень и безразличное эхо, разносящее его по лабиринту, вызывали у меня глухую тоску. Улицы были столь узки, что, протягивая руку, я упиралась в стену.

Над головой сверкали звезды, и я шла словно по дну темного колодца. Я взглянула на часы: циферблат высвечивал три часа ночи — значит, до автобуса осталось четыре часа... Мне хотелось закричать, разбить стены, взлететь над городом — сделать что-нибудь, чтобы выбраться из коварного лабиринта. Но я продолжала идти, глотая слезы и упираясь в тупики. Через полчаса я снова вышла на площадь с апельсиновым деревцем посередине и поняла, что хожу по кругу.

Обессиленная от бессмысленной ходьбы, я прислонилась к стене и закрыла глаза. Кругом было тихо, только пели цикады и откуда-то долетал аромат цветов.

«Попробуем рассуждать логически, — велела я себе. — Город стоит на холме. Внизу есть главная площадь, вверху начинаются горы. Если все время спускаться вниз, я буду приближаться к главной площади. Там всегдалюдно. Оттуда я найду дорогу». Оставалось только определить, справа или слева находилась эта площадь, но это было невозможно. Положившись на судьбу, я решила спускаться, беря левее. «Авось как-нибудь», — промелькнуло в голове.

Сделав очередной поворот, я вдруг наткнулась на улицу, уходящую куда-то вниз.

Пришурившись, я стала разбирать надпись на указателе, едва видимую в темноте. Когда я разобрала — мне стало немного жутко: вот то место, о котором предупреждал меня Пако, — цыганский квартал.

Мгновение я стояла в нерешительности. Вернуться назад? Но куда? Пойти по цыганской улице? «Цыгане, испанцы — какая разница! — раздраженно подумала я и пошла вниз. — Не пропадать же теперь!»

Наконец я дошла до крохотной площади, точнее, площадки — так она была невелика, — на углу светилась вывеска со странным, совсем не испанским названием, а из-за дверей, над которыми она висела, доносились звуки музыки.

Я заглянула внутрь — это был обыкновенный бар. Возле стойки сидели обычные люди: встретив их в центре города, я никогда бы не определила в них цыган. «Зайду и узнаю, как дойти до главной площади, — решила я. — А заодно что-нибудь выпью».

На мое появление никто не обратил внимания. Спросив сангрию, я уселась на высокий стул и прислушалась — где-то пел женский голос. Он лился из темной глубины бара.

— Нравится? — спросил бармен, подавая мне бокал. Я кивнула. — Это внизу. — Он указывал пальцем в темноту. — Можешь спуститься.

Следуя движению его руки, я оказалась внутри странного темного помещения, напоминающего пещеру. Скоро глаза привыкли ко тьме, и я различила в углу, на слабо освещенной площадке, двух мужчин, играющих на гитарах. На их лицах застыло напряжение, почти иступление.

Нашарив в темноте стул, я опустила на него и устала на музыкантов. Никогда нигде я не слышала подобной мелодии — она была так прекрасна, что на глазах у меня выступили слезы. А странный, огненный голос дрожал, обрывался, вспыхивал, как пламя свечи, и люди, глядя во тьму, молчали, завороченные мелодией.

Я тоже молчала, забыв, что мне надо идти, что надо искать главную площадь, что надо собирать чемодан. Мне казалось, когда-то давно я уже слышала эту песню, эту непонятную и дикую мелодию. Только когда? И почему в ней столько тоски? Почему она разрывает сердце? Слово у меня отняли что-то прекрасное...

Мои мысли смешались. Вся жизнь вдруг показалась мне бессмысленной и пустой. Лишенной солнечного света, любви и красоты. Моя нелепая жизнь... И этот голос...

Песня стихла. Люди вскочили, захлопали и принялись громко кричать «оле». Рядом со мной изо всех сил надрывался какой-то турист, он свистел и подпрыгивал на месте. «Наверно, я попала на концерт цыганской музыки», — подумала я.

Из темноты возникла худая женская фигура — это ей кричали люди. Она вышла на середину сцены, обвела глазами зрителей и улыбнулась.

Я узнала Кармен.

От удивления я поперхнулась сангрией, и, пока откашливалась, Кармен исчезла. Ее сменил другой певец — старый грязный цыган. И опять зазвенели аккорды, и опять полетел, срываясь в пустоту ночи, странный голос, теперь уже мужской...

Я вернулась домой на рассвете. Оказалось, я жила в трех минутах ходьбы от цыганского квартала, почти на соседней улице. По трем оборотам ключа я поняла, что Кармен еще не пришла.

До автобуса оставался только час, и я кинулась собирать вещи — они не уместались, я чертыхалась и уминала их коленом. Наконец мне удалось застегнуть молнию, отчего чемодан неестественно раздулся.

Я оглядела комнату — мне казалось, я что-то забыла. Но в комнате не оставалось ничего, кроме кровати, стула и стеклянной вазы на полу. Я поставила чемодан перед дверью. Теперь надо было вызвать такси.

Но мобильного в сумке не было.

Я снова открыла чемодан и перевернула все вещи, но ничего не нашла. Я осмотрела комнату, кухню и ванную — мобильник пропал.

В растерянности я опустила на стул, схватила со стола сухую корку хлеба и стала нервно ее грызть. Неужели я его потеряла? Где его искать? Наверно, его украли...

Цыгане!

Однако размышлять было уже некогда. Я взяла телефон Кармен и звала такси. Пока я говорила, мой взгляд упал на аккуратный сверток, лежащий на столе. Рядом была записка, адресованная мне. Я развернула ее и прочитала:

«Прощай. Счастливого пути и удачи. Возьми мой подарок».

Несколько секунд я разглядывала прыгающие, корявые буквы — и мне стало грустно. Я взяла в руки сверток. Тем же почерком, но другими чернилами на нем было написано: *«На память от Кармен»*. Я развернула хрустящую бумагу и извлекла темный компакт-диск.

Я успела на автобус в последнюю минуту. В салоне было холодно — несмотря на прохладное утро, кондиционеры работали вовсю. Я вытащила из сумки свитер и приготовилась к долгому путешествию.

Автобус качнулся и стал отъезжать, вырuling на автостраду.

Город остался позади. За окном поплыли горные ущелья и оливковые рощи, серебриющиеся на ветру, их сменяли виноградники и яркие желтые клочки подсолнуховых посадок. Изредка среди поля вдруг возникал белый уединенный домик, потом он исчезал, терялся вдаль, среди терракотовых просторов и бездонной синевы неба.

Город пропал, будто его не было.



АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ

*

ВЫСТУЖЕННЫЙ ВОКЗАЛ

* *
*

А еще — за туманами голубыми,
из которых складывалась ерунда,
у меня был город —
такой, какими
не бывают глупые города.

Он для мамы моей открывал аптеку,
он для папы пиво варил, как мог,
всех приличных мальчиков в библиотеку
приглашая,
а девочек — на каток.

А еще — чтоб не только скучать над книжкой,
чтоб не слишком страдать от сердечных ран,
он держался реченьки,
а под мышкой
он держал пивнушку и ресторан.

Ресторан был маленьким — меньше лужи,
а пивнушка вроде как не была...
Иногда я бывал ресторану нужен,
иногда пивнушка меня звала.

И, послушен зовам их и призывам,
как послушен бывает словам поэт,
я был счастлив мнить себя несчастливым
без единой девушки много лет.

Это я потом их встречал и трогал —
на руках, как маленьких, их качал.
Оказалось, немало их, даже много —
даже мудрый город их не вмещал...

* *
*

Надо долго-долго жить:
сто ботинок износить,

чтоб сквозь пряжки-ремешки
пробивались корешки.

Надо долго-долго жить:
пару курток износить,

чтоб сквозь сеточку сукна
наша жизнь была видна.

Надо долго-долго жить:
сто рубашек износить,

сто рубашек, сто рубах,
а под ними — сотня птах,

чтобы каждая из птах
начала утро с «ах!».

* *
*

Я входил в почтовые отделенья,
припадал к окошкам, из рук девиц
получая послания от деревьев
и сырые рукописи от птиц.

Я читал их в креслах ночных гостиниц,
на вокзальных лавочках — день за днем
я грустил, читая: «мы загрустили» —
и смеялся, вычитывая: «поём».

Отвечая, я как бы стирал границы
между жизнью небесною и земной
и к концу ответа был вроде птицы
или вроде деревьев шумел листвою.

И когда меня выводили из сквера,
из вокзала в милицию волокни,
я следил за тем, чтоб с милиционера
осыпались листья и воробьи...

* *
*

Если нам и выпадет чтоб расстаться —
до того, как мы нарвемся всласть,
ты могла бы с улицей рифмоваться,
я бы рифму такую мечтал украсть.

Если нам и правда придется горе
горевать по правде, то я б хотел,
чтобы ты подольше жила у моря,
чтобы я переплыть бы его успел.

Если мне — в трудах о насущном хлебе —
недостанет света, не хватит сил,
ты могла бы жить на десятом небе,
чтобы я на одиннадцатом небе жил.

А пока ты проходишь по тем дорогам,
на которых камушки, жизнь и смерть,
я живу неловко и как-то боком,
чтоб твое дыхание не задеть.

И еще: покуда ты не сказала,
что мне делать с собою, спешить куда,
от скамеек выстуженного вокзала
я всю ночь отталкиваю поезда...

* *
*

Страдал, рыдал, терпел, исчез.

Батюшков.

Тот грустный человек, с которым я знаком
был лет пятнадцать, щелкнул языком
и всхлипнул перед тем, как удалиться...

С тех самых пор я думаю о том,
что, в сущности, он был черновиком
не человека —

рыбы?
зверя?
птицы?

* *
*

В этом мире, в котором, как в рукавичке,
и тепло и колко, — наверняка
хорошо быть чем-нибудь вроде спички
и ее колючего огонька,

чтобы только те, кто случился рядом
— человек, собака или зима —
не включили разум, покуда разом
разомкнется тьма и сомкнется тьма...



ЛЕВ УСЫСКИН

*

НОВАЯ СЕКРЕТАРША

Рассказ

Улица, июльская улица, пыльная, укатанная автомобильными гудками, соскучившаяся по дождю и отпуску, входила в контору без спросу сквозь пластмассовые жалюзи, обнаруживая себя неугомонным щебетом воробьев, ватой тополиного пуха, порывами ритмичной музыки из настезь распахнутых окон напротив, не давая сосредоточиться, мешала думать, словно ноющая где-нибудь боль, словно бы подленький червяк сомнения, способный, того и гляди, в любой миг обратиться в холодное ничто потраченные в избытке нервы, время, труд, вдруг оказался на свободе, покинув отведенную ему прежде узкую и глухую келью...

Взяли новую секретаршу — через знакомую Алексея Пигасова, — девятнадцатилетнюю девчонку, без следов английского. На созванном единственно ради этого второпях пятиминутном совещании Мирошниченко сперва выступил было против, по обыкновению довольно многословно и энергично, однако затем — также по обыкновению — сразу выдохся, махнул рукой и назначил ей прийти в понедельник к одиннадцати на аудиенцию к Куныгину — чтобы тот решил вопрос сам. Однако в этот самый понедельник затравленный таможенными тяжбами Куныгин лишь мельком взглянул на угловатую фигурку с челочкой, одетую в джинсовый сарафанчик, в каких ходит полгорода, отметил про себя, что не удивился, если бы она оказалась года на три моложе своих заявленных девятнадцати, задал пару формальных вопросов и, пропустив, как водится, ответы мимо ушей, объявил, что готов ее взять, положив, на первое время, сто восемьдесят долларов оклада. На том и остановились; выходя из кабинета, не проронивший ни слова Мирошниченко лишь мысленно как бы пожал плечами. Куныгин также двинулся вслед за ним и, нагнав его в коридоре, спросил что-то о текущих поставках. Мирошниченко ответил, Куныгин удовлетворенно кивнул, однако в покое его, несмотря на это, все-таки не оставил:

— А как у нас, Саша, с капролактамом Симагина?

Мирошниченко сжал губы:

— Да никак... завтра обещали доставить в Карачарово... честно говоря, верится с трудом этим ребятам...

— Плохо... а сертификаты готовы?..

— Да... вчера еще...

— Что ж... будем ждать... что еще остается...

О принятой только что на работу сотруднице он уже забыл.

Со среды Жанна приступила к работе. В первый день она едва не испортила ксерокс, заправив в него кусок картона, довела до слез контрагента из Новосибирска, пересылая ему факсом контракт, несколько часов терзала компьютер и напрочь растворилась в воздухе в восемнадцать ноль-

Усыскин Лев Борисович родился в 1965 году в Ленинграде. Окончил МФТИ, изучал историю искусств в МГУ. Печатается с 1997 года, автор журналов «Нева», «Урал», «Волга», «Неприкосновенный запас» и др. В «Новом мире» публикуется впервые. Живет в Петербурге.

ноль, как раз в тот момент, когда Куныгин решил попросить ее сварить кофе. Однако главный свой подвиг она совершила под занавес недели, в пятницу, умудрившись подвесить на полтора часа компьютерную сеть. Вызванный по тревоге системщик лишь изумленно матерился — маявшие благодаря аварии вынужденным бездельем сотрудники также сочли своим долгом каждый высказать виновнице торжества, что они думают о ней вообще и о ее сочетаемости с современной оргтехникой в частности — как результат остаток дня Жанна просидела за своим столом, глядя в одну точку, куда-то между основанием настольной лампы и белой коробочкой со скрепками, а в шесть часов, вместо того чтобы уйти, тихо расплакалась.

За этим занятием ее и застал Куныгин, вышедший случайно в приемную. Жанна проглотила слезу, выпрямилась и пусть с большим опозданием, но попыталась улыбнуться. Куныгин почувствовал напряжение лицевых мышц — верный признак того, что его застали врасплох. Две-три секунды он молча смотрел на девушку, затем, справившись, по-видимому, с раздражением и неизбежной в подобных ситуациях для него робостью, достаточно спокойно, даже, можно сказать, бесцветно произнес:

— Жанна... зайди ко мне в кабинет, пожалуйста...

Однако в директорском кабинете девушка, присев на край стула, тут же вновь пустилась в рев — на этот раз едва ли не в голос, чем опять обескуражила Куныгина. Некоторое время он просто молчал беспомощно, затем встал из-за стола, налил воды в стакан и, передав его в протянутую навстречу маленькую детскую руку, стал смотреть, как Жанна пьет — частыми большими глотками, в самом деле как ребенок.

Немного успокоившись, она отставила пустой на две трети стакан в сторону, чуть слышно высморкалась в белый с обшитыми краями платок, затем, сложив его пополам два раза, неловко зачихала в кармашек. Когда она наконец подняла голову, Куныгин увидел перед собой ставшее в момент непривлекательным, покрасневшее лицо без бровей и ресниц.

— Я... сломала... сервер... Леонид... Сергееч говорит... меня уволят, да?

После каждого слова она всхлипывала. Куныгин мельком взглянул на часы, после чего, придав своему лицу, как он считал, вид сочувственно-ироничный, опустился на стул рядом, разложив перед собой сигареты, зажигалку и придвинув поближе пепельницу.

— Первым делом, дорогая Жанна, давай с тобой успокоимся и слезки вытрем, хорошо?.. Вот умница...

Говорил Куныгин довольно умно и довольно долго — во всяком случае, не менее получаса. Когда он закончил, поймав наконец в ответ на произнесенный им какой-то самодельный афоризм хоть робкую, но все же вполне отчетливую улыбку, в конторе уже все стихло — летом, в преддверии выходных, сотрудники обычно старались не засиживаться.

— Значит, договорились?.. вот и отлично — а теперь беги домой... мама тебя заждалась, наверное... давай, до понедельника... а я тут еще поработаю чуточку... привет...

Жанна выпорхнула из кабинета. Чуть погодя, Куныгин услышал, как хлопнула входная дверь.

Работать он, разумеется, не собирался.

Всю следующую неделю контору лихорадило: отвечавший за логистику Наиль Жунусов уже к среде стал напоминать мумию Наиля Жунусова — высохшую и почерневшую в тщетных стараниях придать дополнительный ход десяткам цистерн, дозаторов, платформ, рассеянных по раскинутой во всей своей ржавой необъятности сети железных дорог Российской Федерации. Во вторник окончательно завис тот самый капролактам Симагина, тогда же, во вторник, Андрюха Хорев улетел в Новороссийск улаживать что-то с местной портовой таможней, однако уже в четверг он вернулся,

усталый и злой, с порога прошел в кабинет Куныгина, где провел больше часа, и затем отправился домой отсыпаться. После его ухода Куныгин срочно вызвал Мирошниченко, о чем-то совещался с ним минут десять, затем оба выбрались в приемную, при этом Куныгин все время насвистывал сквозь зубы, что случалось с ним исключительно в моменты сильной нерешительности. Минут десять он слонялся по офису, зашел в бухгалтерию, выпил там чашку чаю и затем вернулся к себе, в свой персональный, отделанный по европейским стандартам ад.

Жанна мало-помалу вросла в общий ритм; сотрудники, показавшиеся по первым дням какими-то недоброжелательно-замкнутыми и чужими, понемногу рассеяли это ее впечатление, а Леня Зайцев — так даже подарил как-то шоколадку (о том, что сия инициатива исходила от того же Куныгина, девушка, понятно, не догадывалась). Как-то в середине недели к концу рабочего дня за ней зашел молодой человек весьма непривычной для обитателей офиса «Дельта-Трейдинг» наружности: он был одет в черную с расплывшимися оранжево-желтыми надписями футболку, линялые джинсы, зиявшие большой, но при этом аккуратно обметанной дырой на правом бедре. Продолговатый, со сдвоенной плоской макушкой череп юноши был выбрит, а мочки ушей украшало какое-то непостижимое уму количество металлических колечек. Часы под потолком показывали начало седьмого, однако работа еще кипела вовсю, и гость вынужден был дожидаться, пока Жанна закончит распечатывать таблицу грузовых железнодорожных тарифов. Он сидел в кресле, тихо решал кроссворд, напроочь не замечая любопытные взгляды сотрудников, по тем или иным поводам заходивших в приемную. Взглянул на него и Куныгин, корпевший в это время с Сергуней Филипповым над путаной спецификацией строительного проката, предложенного накануне «Северсталью» в зачет векселей вологодской областной администрации. Спецификации были более чем сомнительные, особенно в части предполагаемых сроков отгрузки, однако Куныгин все же нащупал удовлетворивший его вариант и, определив приемлемый коэффициент дисконта векселей, обвел его на бумаге в кружок. Карандашиком, жирно. Довольный, что решение принято начальником собственноручно и, стало быть, ответственность за него нести не придется ни при каком исходе дела, Филиппов оторвал взгляд от какофонии заполонивших поверхность директорского стола бумаг и, взглянув Куныгину в лицо, с некоторым даже сочувствием произнес:

— Хотите расслабиться немного, Константин Иванович?.. там в приемной это... короче, к вашей новой секретарше Будда пришел... натуральный, клянусь. Вот, ей-богу, сами поглядите.

— Где?.. у нас в приемной?

Директор на миг улынулся, наверное, впервые за этот день, встал и, разминая затекшие ноги, пошел через приемную в туалет. Вернувшись, Куныгин, к немалому удивлению, обнаружил в себе довольно ясные следы нешуточного раздражения. Мальчик с серьгами в ушах раздражал его самым фактом своего присутствия в конторе, причем, как ни пытался Куныгин отнести это на счет его недостаточной респектабельности, что-то говорило ему, что дело не в этом. Во всяком случае — не только в этом. В поисках правдоподобного объяснения Куныгин принялся размышлять о молодежной культуре, знакомой ему исключительно по газетам, о наркотиках, которые ни разу в жизни не пробовал, о чем-то там еще — пока настойчивый телефонный звонок не вернул ему сполна чувство реальности: звонил Голованов из Череповца, просил уточнить текущие котировки векселей Северной железной дороги.

К концу дня пятницы к исчезнувшему бесследно капролактаму и застрявшему в Новороссийске грузу калийной селитры добавился арестованный в порту Ливорно за долги Балтийского пароходства сухогруз, который

должен был забрать из Таганрога большую партию полиэтилена в гранулах. Срыв данного контракта был чреват неустойками из разряда, что называется, космических, причем, помимо этих трех крупных напастей, случилось еще пять или шесть более мелких, досадных, однако тоже требовавших от Куныгина личного, напряженного вмешательства. Уже к обеду ему с превеликим трудом удавалось концентрировать свое внимание на чем-либо, а еще чуть погодя, где-то, наверное, около четырех, он словно бы явственно услышал, как в голове что-то щелкнуло, замкнулось — и тут же повеяло легким сладостно-мутным ветерком паники. Куныгину стало стыдно, что он не в силах заставить себя работать, однако ничего поделаться с собой он уже не мог — просто сидел и вслушивался то в шум улицы за окном, то в разноразной собственной бессвязных мыслей. В половине шестого принесли и положили на стол факс из «Сибконтракта» с предложениями по формальдегиду. Там, в Иркутске, в это время, должно быть, была уже ночь, часов, наверное, одиннадцать, тем не менее Золотуха сидел в своем офисе и рассылал оттуда факсы. Куныгину стало еще неудобнее, последним отчаянным усилием он собрал волю в кулак и постановил через четверть часа взяться за эти самые предложения — наименее неотложное из текущих дел, однако наиболее близкое к конечному, так сказать, результату, — через четверть часа, а пока выпить чашку чаю и, если удастся, хотя бы немного прийти в себя...

Он вышел в приемную и, увидев, как, в предчувствии окончания трудовой недели Жанна подводит губки, опустил перед ней на стул, оседлав его верхом, вперед спинкой.

— Жанна, солнышко, что, если я тебя попрошу еще поработать сегодня?.. надо будет минут через двадцать факс подготовить в Иркутск...

— Хорошо, Константин Иванович... конечно... как скажете... я подожду, не волнуйтесь...

Куныгин тяжело поднялся, попутно отметив, что за неделю работы речь девушки уже начала приобретать какие-то новые интонации — несколько более ровные, плавные и как бы менее птичьи, что ли. Он вернулся в кабинет, сел за стол, затем, запрокинув голову, с такой силой вытянул вверх руки, что хрустнуло где-то в слежавшихся позвонках. Надо было работать. Куныгин разложил перед собою бумаги и, вооружившись пузатым светло-голубым маркером, принялся сличать бесконечные столбцы цифр. Однако ни минут через двадцать, ни даже все сорок минут спустя материалы для пресловутого иркутского факса все еще готовы не были. Работа шла исключительно через силу, Куныгин подумал, что это похоже, как если бы в надутый до предела резиновый шарик кто-то вдвухвал и вдвухвал по новой воздух — еще через десять минут он признался себе в том, что давно отложил бы все на завтра, на выходной, и лишь сидящая без всякого толку в ожидании невесты чего девчонка в приемной подстегивает его самолюбие, не давая сдаться. «Ну ее к черту... — подумал Куныгин, — катись оно все...» Еще минуту спустя он наконец мрачно усмехнулся, с нарочитым шумом уронил на стол авторучку и, смахнув не глядя все свои бумаги в лакированный кофр, вышел вон из кабинета.

Жанна сидела на том же самом месте с тем же самым выражением лица — добродушно-радостным и в то же самое время отсутствующим до некоторой степени, — как и положено перед выходными. Кроме нее и директора, в конторе никого уже не было — как и неделю назад, сотрудники в этот час наполняли собой, по всей видимости, пригородные электрички. Увидев шефа, Жанна подняла голову, но ничего не спросила, отчего вынужденный начать разговор Куныгин почувствовал еще большую неловкость.

— Все переигралось, Жанна... ответим в понедельник... извини... бывает, что ж, это работа... — Он несколько виновато улыбнулся.

— Значит, факса не надо будет слать, да, Константин Иванович?.. мне теперь можно идти домой?.. я больше не нужна?..

— Да, иди... спасибо, Жанна... извини, что так вышло...

Девушка принялась собирать вещи с прежним выражением радостного добродушия на лице, причем, как ни старался Куныгин разглядеть под ним хотя бы следы досады или раздражения, ему этого не удалось. Он вернулся в кабинет, выключил свет и, взяв в руку кофр, вновь вышел в приемную как раз в тот момент, когда Жанна уже стояла в дверях и с видимым усилием пыталась застегнуть висящую через плечо дешевую дамскую сумочку. Куныгину опять стало жалко девушку и, кроме того, почему-то ужасно неловко за бесцельно загубленный им час жизни — ее и его час.

— Жанна... послушай, ты где живешь?.. хочешь, я тебя подброшу, а?.. — вдруг вырвалось у Куныгина словно бы само собой, что называется, вперед мысли. — Давай, мне не сложно...

Предложение, казалось, застало Жанну врасплох; она оставила в покое свою сумочку, затем открыла рот, намереваясь, судя по всему, что-то сказать в ответ, однако вместо этого произнесла лишь неуверенное, заплетающееся «спасибо».

— Ну вот и славно... закрывай тут все и спускайся... я тебя жду внизу — синий «Saab», знаешь уже, какая моя машина, да?..

Куныгин быстро вышел в коридор и, насвистывая, направился к входной двери, предоставив девушке самостоятельно проверить окна во всех помещениях конторы и погасить оставленный сотрудниками свет.

За день автомобиль прямо-таки засыпало падающей с деревьев мусорной шелухой: сгустками тополиного пуха, какими-то засохшими веточками и пожелтевшими листьями, словно бы вдруг почему-то наступила осень. Куныгин достал ключи, согнал в упор не желавшую его понимать флегматичную кошку, устроившую на капоте неторопливую ревизию своим растопыренным коготкам, затем открыл переднюю дверцу и, просунув на заднее сиденье кофр, сел за руль. Жанна появилась спустя, наверное, минуту — почти бегом, с трудом придерживая ту самую злополучную сумочку, застегнуть которую, судя по всему, ей так и не удалось.

— Готова?.. Пристегнулась?.. нет, сюда... ага...

Они тронулись.

— Так где ты живешь, а, Жанна?..

— На Васенко, улица Васенко, у «Гиганта»... по Кондратьевскому одну остановку, потом направо.

— Ага, понял... места знакомые. У меня там сестра раньше обитала... до развода...

Куныгин вывернул на Загородный. Забитый транспортом узкий проспект властно подчинил его своему рваному, нерегулярному ритму. Куныгину вдруг стало хорошо: ему нравилось, как слушается его купленная четыре месяца назад машина, нравилось, что не надо больше думать о цистернах формальдегида, нравилось, что рядом — невообразимо девятнадцатилетняя, можно сказать, почти новая в этом взрослом мире и потому не заезженная еще этим самым миром, но уже вполне настоящая женщина, излучающая, пока еще неосознанно, должно быть, даже для себя самой, то чудесное всепроникающее тепло, что не дает мужчине забыть о том, что он мужчина, где бы оно его ни настигло; тепло, которое совсем скоро она научится направлять и дозировать и источник которого, несмотря на эту искусную и выверенную экономию, будет неумолимо уменьшаться в размерах и гаснуть, пока, лет через двадцать пять от силы, не сойдет на нет вовсе. Куныгин почувствовал в себе приступ какой-то безумной легкости, он подумал почему-то, что сейчас, наверное, похож на тех бритоголовых ублюдков, что носятся, презрев все правила, по городу на ворованных «мерседесах», катая своих барышень, у которых вместо

души — перманент, а вместо мозгов — тампакс. Он чуть слышно хмыкнул и, взглянув в зеркало заднего вида, состроил ему гримаску, словно бы и в самом деле мог увидеть в нем свое отражение.

— Устала?..

— А?.. Когда?.. Сегодня?..

— Ну, сегодня... и вообще... за неделю...

Жанна мотнула головой:

— Не-а... ну, то есть так... не очень...

Она смотрела куда-то в сторону, думала о чем-то своем и лишь механически отвечала на вопросы.

— А у меня неделька выдалась — будьте нате... раз в год такое счастье, не чаще... слава богу...

Куныгин поймал сам себя на каких-то неестественных интонациях, словно бы старался придать голосу дополнительную напевность, что ли.

— Скажи, а вот паренек к тебе приходил позавчера... это кто — твой приятель, да?..

— Витька-то?.. это Витька Зажигин... его в прошлом году из Макаровка выперли... мы с ним вместе в школе учились, в одном классе... лодырь был — каких поискать... сидел за партой и ворон считал... все думали — не поступит никуда, а его взяли... правда, ненадолго, как оказалось...

— А чего он приходил?..

— Да ну его... все время какой-нибудь таракан в голове новый... спроси, говорит, Викторию Мироновну, не нужен ли им на работе сахар иранский... если получится, мол, то пять процентов наши с тобой, напополам поделим...

— А кто такая эта Виктория Мироновна?

— Мама моя... Виктория Мироновна... она на «Азарте» работает... где чупа-чупсы делают...

Куныгин кивнул понимающе:

— Ну и как же — спросила?..

— Да ну его... бизнесмен тоже... где-то что-то услышал и уже носится по городу... с панталыку всех сбивает... у мамы так и без него голова кругом...

Куныгин опять кивнул:

— Да, бывают такие... что ж... — Он хотел сказать еще что-то про «редкое в наши дни чувство ответственности», однако вовремя сообразил, что это прозвучит по меньшей мере фальшиво: — Небось кроет тебя дома сейчас последними словами твоя Виктория Мироновна, верно говорю?.. что с работы так поздно все не идешь?..

— Не-а... — Жанна замотала головой, — она в отгулах... с позавчера еще на дачу укатила... там огурцы, как же...

Куныгин представил, как было бы славно, если б его Люся, прихватив, само собой, Федьку, укатила дней на пять к каким-нибудь таким огурцам — неизбежным следствием этих мыслей стал охвативший его на миг прилив легкой, как майский дождь, зависти пополам с какой-то безнадежной, щемящей тоской.

— Наслаждаешься свободой?..

— Ага...

Некоторое время ехали молча. Молча свернули с Арсенальной на Кондратьевский под безмолвно-равнодушный аккомпанемент ржаво-кирпичных заводских корпусов. Все это время Куныгин лихорадочно искал, с чего бы продолжить разговор; не придумав тем не менее ничего дельного, он решил было включить музыку, однако тут же вспомнил, что лицевая панель магнитолы так и осталась лежать в кофре — он просто забыл ее достать в суматохе их необъяснимо-стремительного отъезда.

— Мрачненький здесь район, не находишь?.. или уже привыкла, да, Жанна?..

— Что, Константин Иванович?.. — Разглядывавшая до того свои детские узкие, с неброским маникюром пальчики, девушка подняла голову и быстро огляделась по сторонам. — Район?.. нет, мне не кажется... я привыкла — мы в детстве с мальчишками к «Крестам» бегали записки эти собирать... такие, знаете, самолетиками... забыла, как называются... «малявы», кажется... считалось, по ним клад найти можно... или еще что-нибудь... — Она, казалось, воодушевилась: — А ваша сестра куда отсюда переехала?..

— В Москву... к своему новому супругу... он там в автосервисе заправляет... или что-то около того...

Куныгин нахмурился. Они пересекли озаренную бесноватыми огнями «Гигант-Холла» площадь Калинина и вновь оказались на Кондратьевском. Почувствовав близость дома, Жанна оживилась еще более, теперь она все время вертела головой по сторонам, при этом даже чуть-чуть привстала в кресле:

— Сейчас направо, Константин Иванович... ага, сюда... теперь налево сразу...

Машина свернула во двор и, выбрав место возле погруженной, казалось, навсегда в многолетнюю неподвижную спячку «Волги», встала. Куныгин выключил двигатель, наступила непривычная, почти невозможная тишина.

— Здесь?

— Ага... тут вот мы и живем... вон та парадная, четвертый этаж. А пойдемте сейчас ко мне, Константин Иванович, я чай приготовлю... после работы устали ведь.

Куныгин словно бы впал в анабиоз, голос девушки, по-прежнему оживленно-веселый, донесся до него будто из динамиков какого-то диковинного телевизора, оттуда же мгновение спустя он с удивлением услышал и собственный странный ответ:

— А, давай, с удовольствием...

Он сознавал вполне, что делает что-то не то, что подчиняется чужой воле, однако, несмотря на это, ни сил, ни, что важнее, желания сопротивляться у него почему-то не было. Он замкнул «мультикомом» руль, взял с заднего сиденья кофр и, выбравшись из машины, вслед за девушкой вошел в подъезд.

В квартире Жанна скинула в прихожей туфли и, проводив Куныгина на кухню, усадила на табурет. Затем она водрузила на газовую плиту эмалированный лимонного цвета чайник и, обернувшись к гостю, улыбнулась:

— Скоро закипит, Константин Иванович, подождите минуточку, я сейчас...

Она выскочила в прихожую и скрылась в комнатах. Куныгин остался один на кухне. Он обвел ее неторопливым взглядом, затем, не найдя ничего интересного, встал и, подойдя к окну, облокотился о подоконник. Окно выходило во двор, Куныгин увидел внизу свою машину, скучающим одиноким чужестранцем притулившуюся к бордюру, двух работяг в спецовках, волокших куда-то загнутый ржавый отрезок трубы, старушку, черепашьям шагом выгуливавшую свою застиранную до розовых проплешин болонку... Он скорее почувствовал, чем услышал, как Жанна вновь появилась на кухне; какая-то неведомая, бархатисто-властная сила заставила его отпрянуть от подоконника, повернуться ей навстречу, сделать шаг вперед... Девушка была в ярко-зеленом с темно-вишневыми драконами шелковом халатике, привычная Куныгину шоколадная косичка теперь распалась густым несчетным ворохом тонких непослушных волос. Она распахнула халатик, обнажив груди, неожиданно крупные для ее детской фигурки, с большими очень темными кругами вокруг сосков. Куныгин сделал еще шаг и кос-

нулся их своими ладонями осторожно — и тут же прильнул к ним со всей непреодолимой прямоотой несдерживаемой страсти... Такое же точно ощущение от кожи женщины, необычайно тонкой и мягкой, приходилось ему испытывать до того лишь однажды в жизни — много-много лет назад, семнадцатилетним школьником, запершись после уроков в лаборантской кабинета химии вместе с одноклассницей Светкой Ткачук...

Час спустя Куныгин вышел на улицу. Подойдя к машине, он пальцами снял с ветрового стекла прилипший тополиный листок, затем открыл дверцу и, сев за руль, с минуту, наверное, сидел так просто. Затем включил зажигание и медленно выехал со двора.

Миновав площадь Калинина, он слегка притормозил и, отстегнув одной рукой крышку кофра, достал оттуда телефон.

— Алло, Люся? Да-да, задерживаюсь... нет... сейчас в машине. Нет, еще одна встреча... через час где-то. Да... купить что-нибудь?.. а тебе мюсли?.. нет?.. не надо? Хорошо... ну ладно, привет.

Он кинул трубку на сиденье рядом с кофром, но тут же вновь взял ее и не глядя двумя нажатиями пальца набрал номер.

— Феликс?.. это я, да... уже отдыхаешь?.. счастливый... да, из конторы только что... ни черта... слушай, как ты смотришь на то, чтобы нам там завтра встретиться?.. да, утром, часов в одиннадцать... ну, в двенадцать, хорошо... значит, договорились... ну пока, отдыхай дальше, до завтра...

На углу Литейного и Пестеля он остановился, покинул машину и, зайдя в открывшееся недавно бистро, взял чашку кофе. Хотелось хоть как-то разобраться в нахлынувших оравой мыслях. Куныгин подумал о том, что к Люсе все это конечно же не имеет никакого отношения, еще о том, что завтра он, безусловно, решит вместе с Феликсом все отложенные сегодня на работе вопросы, что в сентябре можно будет съездить на две недели в Испанию, что Федьке с осени обязательно надо нанять учителя по английскому... еще он подумал о том, что, если бы тогда, на втором курсе, задумчивая зеленоглазая Аня не сделала аборт, их ребенку было бы сейчас как раз девятнадцать... Он залпом выпил кофе и вышел прочь.

Примерно через месяц Куныгин добавил Жанне еще пятьдесят долларов оклада. В общем, она действительно оказалась неплохим работником. Во всяком случае — старательным, это без сомнения.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

БОРИС ЕКИМОВ

*

НОВОЕ НАЧАЛО, ИЛИ НА КОЛУ — МОЧАЛО

Все происходило просто и обыденно. Огромный грузовик-скотовоз подъехал и встал возле ворот молочно-товарной фермы. Поставили сходни. Стали загонять коров в просторный кузов. Ромашка, Малина, Дочка, Фиалка... Сто семьдесят дойных коров колхоза — все его стадо — начинали свой последний путь «под нож», на мясокомбинат. Коровы ничем не болели (европейское «коровье бешенство», слава богу, далеко); они плохо ли, хорошо — но доились, помогая колхозу выживать (молоко — в цене, чуть не десять рублей за литр). Были тут коровы стельные, а были и «глубокостельные», которым до отела — лишь день-другой. (Потом, на мясокомбинате, выбрасывали из распоротых коровьих утроб телят с желтыми мягкими копытцами.) Но это было потом; а сейчас коровы шли в кузов скотовоза неохотно, словно чуяли близкий конец. Доярки гнали коров и плакали, потому что для них это было не «поголовье», не «крупный рогатый скот», а послушная Беяна, норовистая Майка и Калина, которая вот-вот отелится. А еще — это была работа, пусть колхозная, с никудышной зарплатой. Но все же — работа, а значит, надежда. Хотя бы на пенсию. Теперь и этого нет.

По здравому смыслу, везти на мясокомбинат дойных коров, а тем более стельных — глупость, варварство. Но экономические законы говорят, что происходящее — верно. Колхоз, а точнее МУСП (муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие), не возвратил банку кредит, залогом которого было молочное стадо. Самый короткий путь превращения живого залога в рубли — мясокомбинат. Что и было сделано. Для банка трудоустройство доярок, их зарплаты и пенсии, судьбы семей, хлебные или молочные ручейки или реки, стельная корова Ромашка, теленок с желтыми копытцами — не существуют. Кредит, залог, возврат, пеня — его язык. И это, естественно, как говорится, совсем другой монастырь.

Но... примерно четверть населения страны живет и трудится в сельской местности, при сельском хозяйстве. А весь этот «агропромышленный комплекс» задолжал всем и всяческим «банкам» (государству, частным коммерческим структурам) примерно 200 млрд. рублей. Впору всех «грузить и вывозить», от старых до малых. Но будет ли прок?

Две сотни дойных коров коллективного хозяйства «Калачевское» были, конечно, шаткой, но все же поддержкой колхозу. Цена литра молока почти десять рублей. А это значит, что круглый год, изо дня в день, течет пусть невеликий, но денежный ручеек. Можно купить горючего, какие-то запчасти — как говорится, дыры заткнуть. Есть стадо — значит, растет молодняк. В любой момент можно забить скотиняку-другую. Тоже — денежка. Круглый год.

Теперь же, потеряв свое молочное стадо, хозяйство обречено. Доходов от полеводства надо ждать целый год. И будут ли они? Вот картина уборки урожая последнего лета.

Хлебное поле, которое хлебным назвать трудно. Высокая трава. Среди травы еле видны низкие шуплые колоски озимой пшеницы. Называется — озимое поле.

Осенью сеяли плохие семена в плохо обработанную почву, и сеяли поздно. Отсюда — результат. Урожай — два-три центнера с гектара. Да еще за

два захода. Сначала косят на свал, потому что из-за травы эти чахлые колоски напрямую не промолотятся. Вторым ходом, через несколько дней, молотят. Горючего тратят вдвое больше. Комбайны, и без того изношенные, добивают. Ради двух центнеров с гектара.

Рядом, у хороших хозяев, урожай той же озимой пшеницы в 15, в 20 раз выше. По 40 — 60 центнеров намолачивают. Отец и сын Штепо, Олейников с Колесниченко...

И какой смысл (не говоря уж об экономической целесообразности) добывать, словно золото, эти несчастные два центнера с гектара?

— Мы вынуждены идти на это, — отвечает руководитель хозяйства. — Озимые сеять пора, а у нас семян нет. И никто нам их не даст.

Правильно. «Не даст...» А купить не на что. Долг примерно 4 млн. рублей. Не считая того, что работники (акционеры! хозяйева!) зарплаты пять лет не получали.

А ведь год назад это хозяйство, как и другие в районе, по указанию из областного центра (специальный семинар проводили!) преобразовалось из СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив) в МУСП, отказавшись от всех прежних долгов. «Теперь у нас чистый счет. Будем работать и налоги платить». Я писал об этой новации или афере («Новый мир», 2000, № 1), полагая, что через год-другой «преобразованные» хозяйства снова погрязнут в долгах. Прошел год. Пора затевать новую «реорганизацию». Хотя совершенно очевиден полный крах хозяйства. Ничто и никто ему не поможет. Ну, наскребут они семян озимки для посева... Это будут не семена, а мусор. Эти плохие семена они кое-как посеют в практически не обработанную почву, полную сорняков. Агротехнических сроков не выдержат. И если сейчас собирают по два центнера с гектара, то в будущем году и одного не наскребут. Словом — крах.

Тем более, что на шее — тяжелый хомут долгов. А теперь осенью молочного стада лишились. Пусть невеликие, но тыщонки всякий день в колхозный карман попадали. На текущую жизнь. Теперь и этого нет. На что надеяться? Только на Бога. Это мое мнение.

А вот что думает мой земляк Виктор Иванович Штепо, работающий на земле более полувека, дважды Герой Социалистического Труда, прежде — директор легендарного совхоза «Волго-Дон», а в нынешние времена — крепкий фермер. Бодрый вопрос корреспондента в канун очередных губернаторских выборов — и ответ:

— Собран неплохой урожай. Вице-губернатор Харитонов заявил недавно, что на элеваторах лежит четыреста тысяч тонн продовольственного зерна. Вроде бы должны рассчитаться с долгами, и на следующий год станет легче. Что вы об этом думаете?

— Похоже, все будет наоборот. Перспектива просматривается страшная. Насколько я знаю, озимых посеяно очень мало, да и те бросали по некачественным парам или по стерне. Поэтому толку по этой озими будет мало. По Калачевскому району дело обстоит так: вспаханной зяби сегодня где-то три тысячи гектаров, а пахать надо сто тысяч. Когда работать, где брать ГСМ, технику — никто не знает. И что делать на будущий год, если в нынешнем колхозы района намолотили всего тридцать тысяч тонн? В том же «Волго-Доне» как не платили зарплату четыре года, так и до сих пор не платят. Так что в следующем году будет только хуже.

Вслед за Виктором Ивановичем могу лишь повторить давно сказанное, в том числе и на страницах «Нового мира» (1996, № 5): «Продолжится развал колхозов, разгром всего, что нажили за долгие годы; продолжится падение сельскохозяйственного производства — видимо, до основания».

Сегодня — январь года 2001-го. В прошлом, очень благоприятном для сельского хозяйства году (дожди прошли в меру и вовремя, раз в десять лет у нас такое бывает), как и в годы предыдущие, область потеряла 12 процентов поголовья крупного рогатого скота, примерно треть всей пашни осталась необработанной.

Так что сказанное могу лишь повторить: «Видимо — до основания». Но повторяю это с великой горечью. Это ведь моя страна, моя земля, мои люди.

И потому порой и вправду на чудо надеешься. На Бога ли, на «царя»... Иначе зачем в конце лета 2000 года, услышав краем уха о том, что правительство что-то по сельскому хозяйству «обсудило и приняло», стал я искать это постановление.

В своем поселке, в Калаче-на-Дону, заявился в районное сельхозуправление и попросил:

— Дайте поглядеть новое постановление.

— Не слышали.

— Газета пишет: «Правительство РФ на своем заседании одобрило основные направления агропродовольственной политики на ближайшие десять лет... Документ определяет...» Где документ?

Но это в давние теперь годы, при власти советской, подобные постановления на другой уже день разлетались по всей стране. Их «изучали, принимали к сведению, делали выводы» и проч.

Нынче — век иной и порядки иные. Не то что в райцентре, даже три месяца спустя в области, в Управлении сельского хозяйства, никто мне помочь не смог. «Протокольная группа» областной администрации, через которую все указы, приказы, распоряжения проходят, тоже руками развела. Нет такого постановления.

Какая-то «пропавшая грамота». Ведь не приснилось, вот они, строчки: «Правительство РФ на своем заседании одобрило основные направления...» Что «одобрило»? Любопытствую, ищу полгода. Тщетно.

И прихожу к выводу: правительство РФ на своем долгом заседании 27 июля 2000 года ничего не решило. Поговорили — и разошлись.

Повторю и давнее предположение о том, что наверху толком не знают, что делать на селе, одни туманно-теоретические разговоры: мол, рынок, мол, капитализм, все образуется.

Это самое «образуется» теперь — фундамент высоких чиновничьих размышлений.

Алексей Гордеев, вице-премьер правительства РФ, министр сельского хозяйства России, в обширном разговоре с читателями «Сельской жизни» (2000, № 60, 24 — 30 августа) сообщает:

«Недавно на заседании Правительства РФ были рассмотрены и одобрены основные направления агропродовольственной политики страны на ближайшие 10 лет.

Думаю, многим понятно, чем вызвано рождение этого документа.

Аграрный комплекс находится в глубоком системном кризисе...

В сельском хозяйстве произошло существенное сокращение производственно-технического потенциала... Актуальной стала проблема деградации земель. Из сельскохозяйственного оборота выведено около 30 миллионов гектаров угодий. Вынос питательных веществ из почвы в четыре раза превосходит их внесение с удобрениями. Приходят в упадок мелиоративные системы, увеличиваются площади закисленных почв.

В последнее время селян буквально задавила высокая кредиторская задолженность — в основном по льготным государственным кредитам, платежам в бюджеты и внебюджетные фонды. Основная часть этих долгов приходится на пени и штрафы за просроченные платежи. У подавляющей части сельхозпредприятий из-за этого блокированы банковские счета».

Это — первая часть размышлений Гордеева, как говорят, констатирующая, а потом выводы: «Исходя из сложившейся ситуации и строятся стратегия и тактика в разработанном специалистами, учеными, практиками документе, в котором заложена идеология стабилизации и подъема агропромышленного производства».

Теперь — внимание! — вице-премьер объясняет стратегию и тактику переустройства села. Как жить и куда идти. Планы на целое десятилетие:

«На первый план выдвигаются институциональные преобразования в сельском хозяйстве и развитие рыночной инфраструктуры...»

Другим важным направлением деятельности, согласно новой концепции, является четкое распределение функций в сфере АПК между федеральными и региональными органами власти... Усилия федерального центра будут сконцентрированы на формировании и регулировании единого продовольственного рынка и рынка материально-технических ресурсов для сельского хозяйства и других отраслей АПК: большое значение придается проведению единой общегосударственной земельной, финансово-кредитной и налоговой политики...

Реализация таких крупномасштабных замыслов потребует обеспечения правовой базы функционирования аграрного комплекса, разработки целевых федеральных программ развития тех или иных его отраслей...»

Перечитал я эти строки раз и другой. «Институциональные преобразования», «четкое распределение функций», «формирование и регулирование», «совершенствование», «оздоровление» и снова «совершенствование»... Термины славные. Но понять что-либо трудно. Как жить селу, куда идти?.. Хотелось бы чего-то осязаемого, конкретного. А вот оно и «конкретное»: «Мы не говорим, что данный документ является программой, то есть конкретным планом действий с обозначением параметров, сроков и т. д. Этого нет. В документе прописана только идеология стабилизации и развития АПК. Иными словами, общие подходы. Конкретные же меры в русле этой стратегии будут разрабатываться и корректироваться по мере улучшения в стране экономической ситуации».

Так вот оно что: опять — лишь идеология. А «конкретные меры» снова отложены на далекий потоп.

Но скажите мне, каким образом может наступить «улучшение экономической ситуации», если основная задача власти — ждать у моря погоды?

Закончил свой рассказ Гордеев довольно лирично: «Нелегко сейчас хлеборобам, но пусть их всегда согревает мысль о том, что хлеб — это основа всей жизни».

Последнее мне кажется самым ценным: «...пусть согревает мысль...» Один из многих предшественников нынешнего вице-премьера и министра, тоже лирик, закончил одну из своих речей пожеланием: «Надо, чтобы у крестьянина загорелись глаза...» Поэты...

Итак, надеяться на какие-то шаги правительства не стоит. Ясно ответил вице-премьер Гордеев: «Конкретные же меры будут (еще только будут! — Б. Е.) разрабатываться... по мере улучшения в стране экономической ситуации». Словом, пока поспеют каныши, не останется у бабки и души.

И это ведь не оговорка. Это позиция не одного Гордеева.

Вот В. А. Мау — руководитель Рабочего центра экономических реформ при правительстве Российской Федерации.

Итак, читаем:

«Особая сложность ситуации состоит в том, что практически *невозможно сказать, что конкретно надо делать* (курсив в обоих случаях мой. — Б. Е.) для решения стоящих перед Россией проблем... До того как заниматься прямым регулированием экономики, раздачей денег на сельское хозяйство... и т. п., государству надо быть уверенным, что деньги эти не будут разворованы. А для этого надо укрепить правоохранительную систему, силовые структуры, суды, разобраться с соответствием регионального законодательства федеральному. Надо провести реформу государственного аппарата...»

При здоровых институтах власти особого вмешательства в экономику уже не потребуется...» («Новый мир», 2000, № 5).

Песня очень знакомая: само собой образуется... надо лишь годить.

Кстати замечу, что А. И. Солженицына, от телеэкранов давно отлученного, Мау корит за то, что тот «осуждает частную собственность на землю». Но почему только Солженицына? А весь легион великих мыслителей? Кант, Ламанне, Карлейль, Эмерсон, Толстой...

«Если я родился на земле, то где же моя часть?»

«Мой разум учит меня, что земля не может быть продаваема».

«Земля принадлежит двоим: всемогущему Богу и всем сынам людским, которые работали на ней или которые будут работать на ней».

«Все люди с самого начала и прежде всякого юридического акта находятся во владении землею».

«Владение землей как собственностью есть одно из самых противоестественных преступлений».

И еще: земельное законодательство западных стран, у которых мы нынче учимся... Оно ведь далеко от тех лозунгов, которые звучат ныне почти исторически: «Все на продажу!»

Цитата из записок Дж. Хэрриота, йоркширского ветеринара, который с земельным законодательством своей родины — Англии — был не больно знаком, но хотел построить дом, а для этого купить участок земли.

«Рыская по окрестностям в поисках участка, я вскоре выяснил, что это чрезвычайно трудная задача... нельзя было попросить знакомого фермера продать уголок луга... Они все были очень милыми людьми и искренне хотели помочь, но ничего сделать не могли.

— Я бы с радостью, Джим, — сказал один, — да только это запрещено. Я даже не имею права построить на собственном лугу дом для собственного сына!»

Это — современная Англия.

А что до России, то здесь нынче опять страсти кипят: продавать землю — не продавать? Правда, точки кипения — Москва и телевидение с газетами. Саратовский губернатор Аяцков призывает перенять опыт его области, где еще три года назад приняли радикальный закон о земле, сняв все ограничения на куплю-продажу и проводя периодически земельные аукционы. Послушаешь его — божий рай. Мы с саратовцами — соседи. Интересуемся. Вот цифры: за три года там продано 9 тысяч гектаров сельхозугодий. А одной лишь пашни у саратовцев около 6 миллионов гектаров. Если такими темпами они будут землей торговать, потребуется времени около трех тысячелетий. А цена — смехотворная: по 25 — 50 рублей за гектар продавали. Гордиться нечем, перенимать — тем более. Словесные фейерверки.

По мнению наших, волгоградских, специалистов-землеустроителей, частная собственность на землю в России — реальность, и довольно давняя: Указ президента России от октября 1993 года и Конституция РФ, да еще Указ от марта 1996 года, который снял все ограничения.

Но рынок земли не работает, потому что требуются большие затраты, прибыль невеликая, окупаемость 10 — 15 лет, земля находится в паях, каждый из которых не превышает 10 — 20 гектаров, владельцы паев понимают, что этот клочок земли для них — последняя и единственная надежда на жизнь. Выгоднее пока аренда. Зерно дают, сено, солому, помогают вспахать приусадебный участок. Из года в год. Можно держать скотину. Это — жизнь. А продашь — деньги невеликие, быстро кончатся, а потом — волком вой. Хутор — не город, там нет работы.

Поэтому не купля-продажа, а аренда земли у нас в области неплохо идет. 570 тысяч гектаров — арендуемые земли. (Сравните с 9 тысячами у саратовцев). Срок аренды (по областному закону) от 5 до 49 лет. Срок серьезный — полвека, почти своя. Что будет потом? Поживем — увидим. О сегодняшнем душе болит. Ведь очень трудно...

Хутор Кумовка да хутор Рог-Измайловский, Ярки-Рубежные да Кундрючкин... Вчера — колхоз да совхоз, с детства привычный. Работай — и будешь жить. А ныне?

Новый порядок, десятилетие назад пришедший в российскую деревню, по значимости и масштабам сродни Великому освобождению крестьянства 1861 года.

В тогдашнем Манифесте император Александр II, «обращая внимание на неизбежные трудности предприемлемого преобразования», требовал «бдительного попечения» от «исполнителей нового устройства».

Вместе с Манифестом были утверждены и обнародованы 17 законодательных актов, в которых содержались условия и механизм не только освобождения крестьян, но их земельного устройства.

Указ президента РФ по земельной реформе от января 1992 года, к сожалению, был гораздо легковеснее. Сопутствующих законодательных актов, кроме постановления правительства, не оказалось. Сам указ по многим пунктам не был исполнен.

А что касается «идеологии преобразований», то она получилась топорной. Подавляющее большинство — колхозники, их руководители, от бригадиров, председателей, районных и областных чинов до «аграриев» московских — заявляли в один голос: «Нас хотят уничтожить!» Так было понято.

«Демократическое» меньшинство, микроскопическое по сравнению с оппонентами, но находящееся в столичной реальной власти, определило все колхозы и совхозы одним словом — «черная дыра», имея в виду нерентабельность, низкую производительность труда, плохую «отдачу» при инвестициях и просто-напросто невозврат полученных ссуд и кредитов. Экономистов при власти понять можно. Но и они должны были понять, что другого сельхозпроизводителя у нас нет. А «черная дыра» кормит Россию и является четвертой частью ее по населению. Живые люди. В колхоз их согнали и почти семьдесят лет колхозной жизни «учили» такие же экономисты, как нынешние, — умные, властные, но придерживающиеся других взглядов.

Теперь, уже целое десятилетие, длится новый «загон», направление которого менялось не раз.

1990 — 1993 годы. Цель: «Вперед к частному (фермерскому) хозяйствованию на земле». Новым хозяевам (непросто!) выделяются денежные кредиты на обзаведение. Но не выполнены многие пункты постановления правительства «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» от 29 декабря 1991 года и главный из них: «Колхозы и совхозы, не обладающие финансовыми ресурсами для погашения задолженностей по оплате труда и кредитам, объявляются несостоятельными (банкротами) до 1 февраля 1992 г. и подлежат ликвидации и реорганизации в течение I квартала 1992 г.»

1993 год. Вице-президент страны под бурные аплодисменты зала заявляет: «Фермеры страну не накормят». Прекращено кредитование фермеров. Списываются долги колхозов (дважды!). Начинается выделение новых займов: «на уборку», «на сев», «по лизингу», «товарных кредитов».

И пошло-поехало... К чему приехали, рассказывал я не раз. Мои слова подтверждают руководители страны, области.

Вице-премьер правительства России: «Аграрный комплекс находится в глубоком системном кризисе... Острейшая проблема — тяжелое финансовое положение сельского хозяйства... У подавляющей части сельхозпредприятий блокированы банковские счета...»

То есть они — банкроты, «подавляющая часть»...

Вице-губернатор области, руководящий сельским хозяйством, подводит итоги. Из шестисот коллективных хозяйств лишь сто он называет благополучными. Все остальные: «в кризисе», «в глубоком кризисе», «с полным развалом». Позволю усомниться даже в этих ста «благополучных». Пусть не знаю досконально всю область. Но свой район, Калачевский, далеко не самый худший, как говорится, на ладони. В нем нет ни одного благополучного коллективного хозяйства. Хотя по классификации вице-губернатора к благополучным, видимо, принадлежат «Мир» и «Тихий Дон», и то и другое хозяйства недавно «реформировались», то есть оставили все свои немалые долги фиктивным образованиям, носящим прежние названия хозяйств: «Советское» и «Приморское». Долги — в сторону, ликвидное имущество — в новое хозяйство с новым названием, но все с теми же проблемами. И потому новые долги появляются сразу же.

«Крепкими сельхозпредприятиями» районная газета именуется «Ниву», «Волжанин». И на той же газетной странице печатает информацию о ходе по-

левых работ, где значится урожайность «передовика»: озимая пшеница, рожь и ячмень дали по 5 центнеров с гектара. А всего этих гектаров — целых 700. «Передовое сельхозпредприятие»... Рядом — фермеры, Штепо ли, Олейников, Кузьменко. У каждого площадь убираемых хлебов в 2 раза больше, а урожайность в 10 раз больше. Вот тебе и «благополучное». Так что к словам вице-губернатора даже о сотне (из шестисот!) «благополучных» коллективных хозяйств надо отнестись с небезосновательным скептицизмом.

По-настоящему благополучных коллективных хозяйств очень мало. Мы их знаем наизусть и повторяем, как таблицу умножения: «Кузьмичевский» и «Луч» Городищенского района, им. Ленина Суровикинского района и им. Ленина Нехаевского, им. Калинина и «Калиновское»... Кузнецов да Белоштанов, Яменсков да Петров, Телитченко да Акинтиков... Сладкая для души музыка имен руководителей этих хозяйств! 25 млн. рублей годовой прибыли в Кузьмичах. Семь тысяч литров — надой от коровы в «Луче». Новые комбайны и тракторы в Калиновке... Молочная доильно-холодильная линия шведской фирмы «Альфа-Лаваль» у Белоштанова, в им. Калинина...

Но уж очень короткий список. Хорошо, если наберется полсотни хозяйств на область. Вряд ли... Насчитать бы три десятка...

А все остальные? Повторим слова вице-губернатора: «кризис», «глубокий кризис», «полный развал»... Из которого есть ли выход?

Требования профсоюза тружеников агропромышленного комплекса России. Естественно, президенту, правительству:

обеспечить ежегодное выделение бюджетных средств на поддержку сельхозпроизводителей из расчета не менее 10 процентов общей расходной части бюджета;

определить государственную квоту на производство сельхозпродукции и обеспечить ее закупку;

принять законы о дотациях за произведенную продукцию и о регулировании цен на горюче-смазочные материалы;

создать фонд поддержки АПК и отечественного сельскохозяйственного машиностроения;

выделять долговременные кредиты сельхозпредприятиям под низкие проценты — не более 10 процентов;

списать все пени и штрафы, начисленные за неуплату платежей в бюджет и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (около 25 млрд. рублей) и по необеспеченным возвратом централизованным кредитным ресурсам, выданным в 1992 — 1994 годах (21 млрд. рублей) и начисленным по ним процентам.

На месте, в селе да на хуторе, просят поменьше, но из года в год. Вот один из руководителей хозяйства заявляет корреспонденту газеты в 1998 году: «Пусть дают денег, а как с ними управиться, мы сами знаем...»; в 1999 году: «Если нам не помогут, не знаю, как мы будем дальше жить»; в 2000 году: «Напишите, чтобы нам дали солярки. Все планы летят в тартарары. (Накануне, прямо с колхозной нефтебазы, при стороже, украли все горючее. Воров, конечно, не сыскали.) Мороз и засуха загубили 770 гектаров озимых и 1000 гектаров ячменя». (И ведь поворачивается язык о засухе говорить. Такого доброго к земле года не припомню. По 50 центнеров на круг намолачивают добрые люди.)

Но солярку, конечно, опять дали. И этому хозяйству, и многим другим. За счет все того же бюджета области. Брать все берут. А вот расплачиваться желающих мало.

Вот совещание руководителей коллективных хозяйств в райцентре. Речь о долгах.

— Давайте договоримся, чтобы все гасили долг РАО на 50 процентов, — предлагает один из руководителей. — Зачем отдавать все долги...

Это уже — сознательность. Правда, не у всех. Кто будет отдавать Сбербанку еще 50 процентов — не ясно. Кредит брали под гарантию районного бюджета. Значит, виноватыми окажутся учителя, врачи, дети...

Вот газетный отчет с планерки у губернатора области:

Губернатор: «Почему селяне не рассчитываются за кредиты, взятые для проведения посевной?»

Начальник облсельхозуправления: «Работа проводится».

Начальник финуправления: «А нам зарплату платить бюджетникам нечем».

Губернатор: «Так почему селяне не рассчитываются?»

Начальник облсельхоза: «Ну, Николай Кириллович, это вопрос не ко мне...»

Губернатор: «А к кому? Весной все стонали: селу сеять-пахать не на чем, вы ставили предо мной задачу финансового обеспечения работ. Кредит дали, я поручился за него бюджетом, хозяйства договора подписывали. Когда пришла пора долг отдавать, вроде как и крайних нет. Кто мешает сельхозуправлению серьезно заниматься проблемой возврата кредитов?»

Начальник облсельхоза: «Занимаемся. Приглашаем группы руководителей хозяйств, заслушиваем...»

Губернатор: «Что толку...»

И здесь же зашла речь о вспашке зяби, которая, как обычно, запаздывала.

— Почему? — спросил губернатор.

— Горючее... — был ответ. — Нету.

— Пусть хозяйства расплачиваются с нынешними долгами, тогда и горючее будет. Опять мне свою голову подставлять прикажете!

Никуда губернатор не денется. Подставит «голову», а если точнее — областной бюджет.

— Я шел по пути наращивания помощи селянам и буду идти по этому пути, — подтверждает он.

— В этом году как никогда наш сельхозпроизводитель получит значительную поддержку. Мы планируем направить около двух миллиардов рублей, — пообещал вице-губернатор.

Два миллиарда — не шутка. Треть областного бюджета. Но будет ли прок...

Вспоминается старое, когда лет десять назад, откровенно гордясь, говорили мне председатели колхозов: «Брать надо и брать. Все равно спишут...»

Осталось это и сейчас. Вот выступает известный председатель колхоза, депутат областной Думы. О чем речь? Все о том же: «Руководство области должно обратиться к Чубайсу ли, к Путину... Надо решить с долгами по электричеству...» «Решить» — значит списать. Конечно, всем. Но один район должен за электричество 60 млн. рублей, а соседний, где потолковой руководители, с долгами рассчитывается. Один колхоз должен два да три миллиона, соседний — чист, как стекло. «Списывать» все долги — значит поощрять нерадивых, у которых та же самая логика: «мое» и «чужое».

Приезжаю на хутор. Огромный когда-то животноводческий комплекс. Колхоз распался на пять ли, на десять «кооперативов». Скотины мало. Лишь кое-где по углам что-то хрюкает. Но лампы и даже прожектора среди бела дня «освещают». Спрашиваю:

— Чего свет горит?

Объясняют:

— Все рассчитано. Если включать и выключать, то лампочки быстро перегорят. Покупать их — деньги платить. А когда не выключаются, дольше служат.

Вот так. За лампочки — надо платить. За электричество?.. Про это и думать смешно. Это — бесплатно.

В одном из колхозов области прошлым летом бастовали его работники. Перекрыли дороги тракторами. Не давали отгружать пшеницу на вывоз. Хотя этот самый «вывоз» — лишь очевидный расчет за взятые в кредит горючее, запчасти и прочее. А может, они и правы... Может, вовсе не туда пшеничка плыла. Сейчас понять, проверить колхозного председателя не может никто. И районного, кстати, тоже... Все — умные, все — мудрые... В моем районе взяли

кредит у Сбербанка «на проведение сельхозработ», «под гарантию районного бюджета». Пришла осень — отдавать нечем ли, не хотят. А Сбербанк — организация серьезная. И проценты серьезные. «Мы тут провернули операцию...» — загадочно улыбаясь, объяснили мне. А какие уж тут загадки... Просто-напросто взяли еще один кредит, в другом банке; этим кредитом рассчитались со Сбербанком, а на следующий день снова взяли у Сбербанка новый, уже больший, кредит, чтобы рассчитаться с займом. «Провернули...» Но как будут через полгода возвращать занятое посреди зимы, если после уборки урожая не смогли расплатиться? «Что-нибудь придумаем...» Уже «придумали». В районе прошли выборы. Глава администрации — новый. Теперь пусть он «придумывает».

И он придумал. Строки газетного отчета с планерки в сельхозуправлении: «С каждым днем приближается тот момент, когда районное агропромышленное объединение должно вернуть Сбербанку 22 млн. рублей. До 1 января хозяйства обещали погасить 50 процентов задолженности, но кроме „Голубинского” и „Тихого Дона” никто о своих долгах не вспомнил. Продукции нет, продать уже нечего... единственный реальный путь... вновь брать ссуду, чтобы расплатиться со Сбербанком».

Добавлю, что этот «реальный путь» весьма сомнителен. Он ведет только к увеличению долга. К отсрочке неминуемого банкротства теперь уже всего района.

Бюджет... Бюджет за все эти «придумки» и «хитрости» ответит. «Задержки» да «невыплаты» зарплат, пособий... С нищих — по копейке... Авось не заметят. Но это очень заметно!

Примерно 7 миллиардов — наш бюджет областной. А вице-губернатор обещает на поддержку села 2 миллиарда.

Понимаю благие намерения. Но как легко распорядиться чужими деньгами — тем самым «бюджетным мешком», который в руках. Тоже ведь, в конце концов, «не мое».

Пример в подтверждение. В нашем районе администрация, Управление сельского хозяйства брали в Сбербанке кредит «для села». Все бумаги оформили, оставалась последняя. По каким-то правилам требовалось, чтобы начальник Управления сельского хозяйства подписал обязательство, что возврат кредита он гарантирует в том числе и личным имуществом, своим домом. Тут и начался спектакль под названием «Мое». Начальник управления отказывался подписывать обязательство наотрез. Ему объясняли, что это, в общем-то, понарошку. Никто его не тронет. Простая формальность. А он говорил: «Нет!» Потому что это — «мое», не какое-нибудь бюджетное. «Под бюджет» он любую бумагу подпишет. А вот «мое» — это и есть «мое», тут не семь, а сто раз отмеришь.

Итак, десять лет «перестраивается» наша деревня, чтобы шагать путем новым. Дела идут все хуже. И уже потеряна вера. В «перестройку» ли, в дорогие сердцу колхозы. Именно — дорогие! До прошлого лета все начальство сельское районное, которое, как говорится, на глазах не сдавалось, суетясь под лозунгом: «Не мы колхозы создавали, не нам и разрушать!»

— Ждем!

— Заставим пары пахать!

— Теперь у нас право менять руководителей! Мы возьмемся!

Мыкались по колхозам «уполномоченные» да «ответственные». Моя «зона», твоя «зона»...

А вот нынешним летом (таким добрым для земледельцев: с дождями, с теплом!), — нынешним летом увидел я, что настроение моих «районщиков» иное. Так было с весны и до самой осени.

— Неплохая озимка из зимы вышла, но надо же ее поддержать, надо работать. А они... Приеду, показываю, говорю... Все без толку...

— Скотина стоит, ревет от голоду... Рядом — зеленка... Ну неужели нельзя хоть один агрегат пустить... Это же ваше молоко, ваша жизнь...

— Два дня молотили. Нормально пошло, приладились. Просят: дайте аванс, детей в школу собрать. Дали. Забыли и про детей, и про уборку, пьют неделю, все комбайны стоят.

И выводы, негромкие, с глазу на глаз:

— Все. Конец. Ничем не поможешь.

— Раньше галдели: «Черная дыра, черная дыра...» Брехали. А вот сейчас — точно: дырища! И уже не залатаешь.

— Нет. Видимо, так оно и есть: если «не мое», то оно так и будет — «не мое». И теперь уже все. Капец!

Мои собеседники, каждый из них уроженец сельский, закончившие сельхозинституты и к пятидесяти своим годам прошедшие долгую школу: бригадир, управляющий, главный специалист колхоза, председатель, районный руководитель. Таких собеседников было не менее десяти. В отличие от прежних лет нынче ни один из них не был оптимистом. Все сказали: «Конец». Нынче ли, завтра, через два года... Но коллективным хозяйствам придет конец.

Может быть, еще потому они были так единодушны (но только с глазу на глаз!), что в нашем районе, когда-то передовом, а нынче разваленном, так очевидны успехи хороших самостоятельных хозяев: Штепо, Олейников, Колесниченко, Кузьменко, Крючков, Вьюнников... В колхозах что ни год, то — мороз, то — засуха, то — жук кузька. Все мешает. А у них — 30, 40, 50 центнеров с гектара. И от года в год все больше земли они обрабатывают. Начинали с 30, 50, 100 гектаров. А сейчас — 1000, 1500, 2000... (Отсутствие земельного кодекса, купли-продажи-залога земли им не мешает.) Работают, их труды налицо: чистейшие поля, урожаи, собственные склады, заправочные станции, мастерские, теплые стоянки для техники. И наращивание производства. Вот уже начали покупать да арендовать разбитые животноводческие фермы, чтобы заниматься разведением свиней, коров. В колхозах все это — «нерентабельно», «невыгодно». А Колесниченко, Олейников, Кузьменко взяли 5 корпусов бывшего животноводческого комплекса совхоза «Маяк», отремонтировали и поставили на откорм 1000 голов свиней. Это так очевидно, такой контраст по сравнению с колхозным развалом. Тем более, что самостоятельным хозяевам государство помогло лишь на первых шагах, в 1991 — 1993 годах. И все. Теперь и уже давно не получают они льготных кредитов «на сев и уборку», исправно платят налоги, сполна рассчитываются за электричество. А все у них — рентабельно и выгодно.

Вот областные сводки. В 2000 году личные крестьянские хозяйства произвели 16 процентов всего зерна, 21 — подсолнечника, 18 — гречихи. Это — пятая часть всего растениеводства. И если колхозные показатели неуклонно из года в год сокращаются, то фермерские постоянно растут. Только за 2000 год объем фермерской пашни увеличился с 1 миллиона гектаров до 1 миллиона 330 тысяч гектаров. На 330 тысяч гектаров! Почти при том же количестве фермеров. Значит, растут наделы... В некоторых районах области фермерство уже опережает разваленные колхозы по объемам производства: Котельниковский, Октябрьский и другие.

Еще одно — основное! Самостоятельные хозяева поверили (все же десять лет!), что они — надолго и, может быть, навсегда. Это очень важно, потому что свои доходы они безбоязненно вкладывают именно в сельхозпроизводство, а не вывозят в заграничные банки. Красноречивый пример: крестьянское хозяйство Галины Владимировны Касым, прежде — главного бухгалтера совхоза, Клетский район. Начинала она в 1993 году с 21 гектара — обычный пай. Теперь у нее с мужем 1400 гектаров пашни, полный набор тракторов, комбайнов, автомобилей, здание машинно-тракторной мастерской, зернохранилище, свинарник-маточник, маслобойка, цех по производству керамзитных блоков. Вместе с мужем занимались коммерцией: брали дешевое зерно в районе, вывозили его на Север, там покупали делянки леса, рубили и привозили в район, продавали. Так из года в год. Но все заработанные деньги вкладывали в сельхозпроизводство. Отсюда и результат. Озимая пшеница дает по 25 центнеров с

гектара, подсолнечник — 13. Ближайшая перспектива: уже в этом году прибавить пашню на 500 гектаров, доведя до 2000. Поставить на откорм 500 голов свиней. В хозяйстве 13 наемных работников, которые вовремя получают заработную плату. За арендуемую землю пайщикам, бывшим колхозникам, выдается по 2 тонны зерна в год. Они очень довольны, потому что сплось да рядом за «пай» и соломы не допросишься. Словом — все идет хорошо.

Когда-то, в далекие уже годы, рассказывал я о В. А. Парчаке из Быковского района, тогда был разговор:

- А если вам дать две тысячи гектаров? Справитесь?
- Можно.
- А три тысячи?
- Справлюсь, опыт уже есть.
- А если пять тысяч?
- И пять тысяч можно...

Засмеялись мы тогда вместе: «Съест-то он съест, да кто ему даст...»

А вот теперь это уже — дело реальное. Колхозы разваливаются, земля — в запустении, животноводство, как и прежде, идет на убыль, у людей нет работы. И волей-неволей иногда приходится районным властям (именно от них это зависит!) расставаться с теми идеями, на которых выросли.

Чернышковский район. Хутор Захаров с 1929 года — колхоз «Бедняк», потом — «Советская Россия», им. Калинина, в годы перестройки — ТОО «Захаровское», которое в 1997 году развалилось от бедности и хозяйственных неурядиц, разделилось на шесть фермерских коллективов и хозяйств. Разделение не помогло. Все растаскивалось, пропадало: животноводство, земля, техника, производственные помещения. Хорошо пошли дела лишь у механизатора Ю. А. Чекалова. За три года он стал весьма успешливым фермером. А в феврале 2000 года в КФХ (крестьянское фермерское хозяйство) «Чекалов» были приняты 139 хуторян с остатками скотины, с непаханой землей. Словом, весь хутор. Земли более 5 тысяч гектаров. Чудес на свете не бывает. Божий рай в Захарове не наступил. Но, обретя настоящего хозяина, уже весной было посеяно, а осенью убрано 1000 гектаров ячменя и 700 гектаров подсолнечника, посеяли 1100 гектаров озимой пшеницы (в прежнем «кооперативе» при том же народе посеять удалось лишь 130). Для скота заготовили 500 тонн сена и ячменной соломы столько же. Для 200 голов свиней есть фураж. Восстановили разбитую столовую, пилораму, плотницкий цех, выстроили помещение для холодильника, отремонтировали медпункт. Появилась своя овощная плантация, бахчи, а значит — овощи, арбузы. Собираются восстановить здание бывшего школьного интерната, чтобы открыть детский сад, решили построить баню. Зарплата людям выплачивается ежемесячно. (До этого, при АО и ТОО, словом, при колхозе — пять лет не видали зарплаты.) И все это лишь за один неполный год, когда хозяином в Захарове стал не колхоз «Бедняк», а КФХ «Чекалов», а точнее, Юрий Александрович Чекалов.

Семидесятилетний Виктор Иванович Штепо, в прошлом прославленный директор совхоза «Волго-Дон», дважды Герой Социалистического Труда, ныне — тоже прославленный! — фермер (во все времена — и сегодня — к нему самых знатных гостей возят), — так вот, Штепо сейчас горюет: «Был бы помоложе на десять лет, я бы весь бывший совхоз забрал и все бы сделал».

Бывшая знаменитость — «Волго-Дон» — сейчас доживает свой век в разоренье и горести: остатки полудохлого стада (недавно элитного, 6000 литров средний надой), погубленное овощеводство (по 600 центнеров с гектара получали). Я верю, что Виктор Иванович свой бывший совхоз смог бы «забрать и сделать».

А что значит «забрать»?

Ведь всякий день на страницах газет, по телевидению обязательно какой-нибудь «мудрый» заявит, что все беды села оттого, что нельзя землю продать или в банк заложить. Старая беда: искать «палочку-выручалочку», которая волшебным образом все изменит.

На мой взгляд, универсальных законов нет и не будет. Нынешних хватило для того, чтобы в нашей области уже 400 крестьянских хозяйств имели в своем распоряжении от 500 до 6000 гектаров пашни. Чего еще надо?

Законов достаточно, но по-прежнему «закон — что дышло, куда повернешь, туда и вышло». А главные «вершители» законов — на местах, в районах, в областном центре. От их доброй воли, энергии зависит очень многое.

Строки из доклада Г. Н. Никулина, руководителя областного АККОРа, на конференции, посвященной 10-летию фермерского движения:

«Коллективные хозяйства у нас по-прежнему находятся в центре внимания всех органов, а о фермерских хозяйствах голова ни у кого не болит».

Это — не просто слова, это десятилетний, зачастую горький, опыт. Новая техника по льготным ценам — для коллективных хозяйств. Льготные ГСМ весной да осенью — коллективным хозяйствам. (Даже 10 процентов, «фермерская» доля, определенная главой администрации области, до фермеров доходит ополовиненная. А почему 10? Если земли у фермеров 20 процентов?) И многое другое, каждодневное, ежегодное, начиная с 1990 года до 2000-го.

Но если в 1990 — 1992 годах фермер был неким диковинным зверем, явно ненашенским, чужим, то теперь, когда привыкли и поняли, когда вот они, осязаемые результаты: 20 процентов продукции полеводства. И люди, которые стали гордостью области: Мельников, Миусков, Парчак, братья Гришины... Они прошли через тяжелые испытания, выдержав неразбериху «сплошной фермеризации», потом — «равные условия», когда фермеру лишь дышать разрешалось (да и то не в сторону колхоза), живут и работают и нынче, в эпоху безразличного к ним отношения.

За великий труд, который нельзя замолчать (средний урожай за десять лет по 30 — 50 центнеров с гектара! И никаких засух!), за труд и крестьянскую мудрость их теперь награждают орденами и почетными званиями. Но они по-прежнему — нелюбимые пасынки всяческих сельхозуправлений, потому что являются их могильщиками. Зачем В. И. Штепо пять этажей областного Комитета по сельскому хозяйству и два этажа управления районного?! Виктор Иванович открыто назвал последних «заслуженными работниками по развалу сельского хозяйства».

Август 2000 года. Калачевский район. Коллективное хозяйство «Калачевское».

Стояли мы кучно возле машины, на капоте которой была развернута карта полей колхоза. 150 гектаров... 300... 120...

— Берите! — предлагал начальник сельхозуправления. — Чего молчите, мужики!

Мужики-фермеры переминались с ноги на ногу, вздыхали, вспоминали прошлое.

— Мы ведь еще вчера возле вашего крыльца стояли с протянутой рукой. А вы нам, помните: «Бери на солонцах... Ха-ха-ха! Бери на гранях... Ха-ха-ха... Хозяйствуй!» Вот и дохахакались. Ни себе ни людям.

Мужиков-фермеров, приехавших на раздачу земли и не больно спешивших брать ее, понять можно. У кого за пять, а у кого и за десять лет работы созданы свои плохие ли, хорошие, но производственные базы, где стоит и ремонтируется техника, где склад горючего да зерновые ангары. Есть ли смысл гонять трактора да комбайны туда и обратно? И земли, которые сейчас предлагают, запущены до бурьяна в человеческий рост. Там работы на годы. Вот если бы?..

Это «если бы» я понимал. Николай Николаевич Олейников стоял рядом. Зачем он приехал? Земли у него вроде хватает. Нынешней осенью они с напарником только озимых 1200 гектаров посеяли. Но он приехал. Хотя его и не звали.

— А вот если... — сказал я. — Если наперед прикинуть и уже сегодня отдать земли второго отделения, — указал я вдаль, а потом на карту. — Вот эти поля. Николай Николаевич, я думаю, возьмет. И Якутин, и Андрей Штепо,

Кузьменко, — перечислял я крепких фермеров, чьи земли лежали в тех же краях.

— Нет! Нет! — чуть не хором стали возражать мне районные начальники. — О тех полях пока речь не идет.

— Но ведь пойдет, — настаивал я. — Мы ведь через два года, а может, раньше вот так же соберемся и будем те поля навязывать. Давайте сейчас отдадим. Пока они меньше запущены. Пока интерес к ним есть. Ведь колхоз все равно развалится. Дело только во времени. Чудес не бывает. Четыре миллиона долгов... Вы же прекрасно понимаете — не бывает чудес.

— Нет! Нет! Нет! — ответили мне хором.

А нынешний председатель колхоза наставительно произнес:

— Надо думать об людях.

Я лишь вздохнул.

Милые мои «думальщики об людях». Сколько вас?.. Долгие годы этим хозяйством руководил один «думальщик». Помню его знаменитую фразу: «Мне Героя положено присвоить. Я ни одного гектара фермерам не дал». Потом был другой да третий. «Об людях думали», но себя не забывали. Колхоз развалился на глазах.

Теперь вот еще один, молодой, с высшим сельскохозяйственным образованием, в подмогу ему «спецы» — экономисты да бухгалтера. Но чем они думали, когда полгода назад брали в банке миллионный кредит, векселями, с грабительским дисконтом. Считай, 500 тысяч потеряли. Вот-вот, осенью отдавать придется весь миллион, да еще с процентами. В колхозном кармане — вошь на аркане, после «уборки урожая» — мыши из амбаров сбежали. Банковский счет давно заблокирован, потому что долгов (лишь за год!) 4 млн. рублей. Работники, у которых хоть немного варит голова и руки шевелятся, разбежались. В воинскую часть (за тридцать километров), на железную дорогу (чуть подалее), даже в Москву (за тысячу верст!). А песня та же: «Об людях надо думать!» И рядом стоящие «спецы» районного сельхозуправления подпевают хором: «Об людях...» О каких людях? Строки из письма: «Нас, пенсионеров, за людей вообще не считают. Говорит Кирьян (так у нас преда зовут): „У вас уже паи давно кончились, и вам ничего не положено“. Соломы спросить у Кирьяна, он тоже не даст. А про себя Кирьян не забывает, он особняк себе закатил, машины покупает то „Жигули“, а потом какой-то джип иностранный купил. А в колхозе осталось всего десяток-полтора скотины, землю половину побросали, свиную ферму перевели...» Это письмо из другого района, а колхозная жизнь — одинаковая! «Об людях...» Если по-честному — это о себе забота. Председатель колхоза, десятого по счету за пять лет, видел, куда идет: все развалено и разбито. Но пошел. Может, успеет домик в райцентре построить. Должен успеть.

И эти крепкие мужики — «спецы» сельхозуправления. Худо ли, бедно, но зарплату получают, все при автомобилях, тоже государственных. Чего искать? И где чего найдешь в забытом богом райцентре? Так что лучше «думать об людях».

Постояли мы, поталдычили, с тем и разъехались.

Нет, не 1991-й нынче год и не 1992-й, когда лишь пальчиком помани — и схватят любую землю, солонец ли, «границы». А. П. Вьюнников — не дурак. За десять лет опыта набрался. Земли ему хватает, два старых коровника купил не просто так. На «красную тряпочку» вместо настоящей наживки его не поймашь. Он — хозяин. Как и другие, которых собрали районные «спецы».

Так ничем разговор и кончился. Отложили, ничего не решив.

Да и не могли решить. Потому что Н. Н. Олейников, А. П. Вьюнников и те, что рядом с ними, принимают решения, думая не только о дне сегодняшнем, но и о завтрашнем. В хозяйствах, которые они создали и создают, будут работать их дети и внуки. А вот районные руководители думают лишь о том, как нынче очередную дырку заткнуть. Зачем им послезавтрашний день, когда их завтра могут переизбрать или просто снять. И еще: пусть разваленные, но

колхозы — основа их жизни: зарплата и положение. Повторю: Н. Н. Олейников и другие — их могильщики.

Как можно любить своего могильщика? Тем более помогать ему? На словах, открыто мешать им нельзя. Не то время. А вот на деле — все тот же кукиш, но теперь в кармане: «Накось выкуси...»

А полюбить его надо, потому что другого выхода уже нет. Особенно для таких хозяйств и хозяев. Разговор о земле и «об людях» происходил в конце лета. А уже зимой «Калачевское» оказалось в положении катастрофическом: крупный рогатый скот забрал банк за долги, электричество отключено за неуплату, денег ни гроша, продать нечего, в долг ни запчастей, ни горючего не дают, потому что старые долги нечем платить. А значит, на полях будет сплошной бурьян.

Но если бы летом 2000 года отдали землю фермерам, то уже осенью все было вспахано, все лето эту землю утюжили бы культиваторы, очищая от сорняков, в августе посеяли бы озимую пшеницу, в 2002 году собрали бы урожай. Себе и людям. А теперь вот ни себе ни людям. И разве об одном «Калачевском» колхозе речь? Их подавляющее большинство.

Слава тем колхозам, которые выжили и живут! Слава их председателям — мудрым, энергичным людям! Но таких коллективных хозяйств — единицы, потому их наперечет и знаем.

Основная масса — «кризис», «глубокий кризис», «полный развал», еще раз цитирую вице-губернатора. И еще раз: «Можно сколько угодно рекомендовать самые совершенные... технологии, наделять село дефицитными семенами и ГСМ... но отдачи, возврата вложенных средств нам не дожидаться от разваленных хозяйств...»

Горькое признание, но честное.

Нужно понять и еще одно, может быть, главное: страна вот уже десять лет входит в новую экономическую систему. Возврат возможен лишь при условии: капитана — на рею, офицеров — за борт, к штурвалу становятся революционные матросы. Но наши лидеры-аграрники, руководители всех рангов от Москвы до райцентра, давно уже не матросы-революционеры, сытно кормятся они со стола властей и потому способны лишь на «мягкую оппозицию». Очень мягкую. Чтобы, не дай бог, не потерять того, что они «завоевали» лично для себя. «Резкие заявления» звучат лишь с трибун на предвыборных сходках да «встречах с народом». Но только лишь «заявления». Мягкое кресло руководителя никто не покинул в знак протеста против «антинародных реформ».

Месяц назад вновь избранный наивный (он — из журналистов) глава администрации моего района попытался сместить начальника райсельхозуправления за очевидный развал, предложив ему уйти. Тот ответил решительно: «Не уйду! Буду руководить! Буду судиться! В развале колхозов виновато правительство!»

И вправду, зачем уходить? Всего лишь сельхозуправление района... Но кабинет просторный и теплый. Два государственных автомобиля («Волга» и «Нива») и персональный шофер. Зарплата. Бесплатные курорты (в последние годы — во время уборки урожая, «чтобы нервы не мотали»). За годы развала к былому неплохому жилью добавились еще два домика, последний, как и положено нынче, в трех уровнях. И еще кое-что есть «для жизни». И это всего лишь какого-то райсельхоза начальник. Поэтому твердое: «Буду руководить!» Воистину кому — война, а кому — мать родна.

И все-таки есть ли выход и что нас ждет?

Для меня помаленьку, но становится все очевиднее: колхозы, теперь уже точно, обречены на развал и гибель прежде всего потому, что их руководители и работники за десять лет ничего не поняли и тянут прежнюю заунывную песнь: «Когда к нам повернутся? Нехай губернатор солярку ищет! Нехай президент...» Какой президент? Турецкий! Это не шутка по мотивам знаменитой картины. Руководитель колхоза из Дубовского района, как пишет газета, «из-

мученный всеми житейскими проблемами, обратился с просьбой о помощи» к президенту Турции и канцлеру ФРГ. Такой вот уровень понимания.

Тем более, что нынешний год трудностей селянам только прибавит. Во-первых, кончилось бесплатное электричество. Придется платить. Россия вступает во Всемирную торговую организацию. Страны Евросоюза предупредили наше правительство о необходимости снизить уровень господдержки сельхозпредприятий. Правительство отрапортовало: в 2001 году субсидировать практически не будем, поможем лишь уменьшить проценты по банковским кредитам. Для всех, конечно, крестьян.

Но рядом иное: 1,3 миллиона гектаров земли у нас в области находится в пользовании личных крестьянских хозяйств, а начинали с 18 тысяч гектаров. Всего фермеров — 12 тысяч. Но половина всей земли находится в руках 400 хозяев. У каждого из них от 500 до 6000 гектаров. 20 процентов всего полученного урожая области — у фермеров.

В моем Калачевском районе лишь 6 фермерских хозяйств произвели третью часть зерна района. Кричащий факт. Очевиднейший. Новые хозяева давно уже не ходят с протянутой рукой. За десять лет они доказали свою жизнеспособность, и потому завтрашний день — за ними. Это очевидно. Для всех. Кроме тех властных структур, для которых привычен ли, выгоден, идеологически близок именно колхоз. А крестьянин-хозяин если не «агент капитализма», то — бельмо на глазу, нелюбимый пасынок, хотя уже взрослый и во многом кормилец. Словом, чужак.

Пора трезво оценить итоги прошедшего десятилетия. «Судите по делам его»...

Не краснобаиство, не болтовня с трибун и телеэкранов сделали известными на всю область Парчака и Петрова, Белоштанова и Мельникова, Кузнецова и Штепо. Не былинные, а земные богатыри. Руководители колхозов, кооперативов, фермеры. Всех вместе, их уже полтысячи. Разве мало? За десять лет они прошли огни и воды новой экономики.

Вот она, на мой взгляд, единственная надежная опора, на которой стоит нынешнее и строится завтрашнее сельскохозяйственное производство области. Все действия областных, районных властей, управленцев и специалистов, все новые методы, все проверенные временем экономические инструменты («Продовольственный фонд», «Лизинг», «Кредитование ГСМ», РАО и т. д.) должны работать не на всех, а на Олейникова, Колесниченко, Крючкова, Бьюнникова, Егорова, Гришиных, Фроловых, СПК «Морозовка», на коллективные хозяйства Телитченко, Яменскова, Белоштанова — словом, на тех, кто умеет и хочет работать. Их уже много.

Старым песням: «Когда повернутся...» да «Когда оглянутся...» — должен прийти конец. На колу мочало нельзя жевать долго. Можно и помереть. Мочало, оно и есть мочало. Из него лишь лапти плести.



ЮРИЙ КАГРАМАНОВ

*

ИСЛАМ, РОССИЯ И ЗАПАД

Есть на земле такие превращения
Правлений, климатов, и нравов, и умов.

А. Грибоедов.

Сюрпризы шахматной доски

Бьется, кричит золотой петушок со своей высокой спицы: опасности, о которых еще недавно никто и не помышлял, собираются на наших южных границах. В стороне, где давным-давно никакого серьезного противника у России не было. Происходит что-то странное и для бывших советских людей, скажем откровенно, не очень понятное: к югу примерно от 40-й параллели, в пространстве от Северной Африки до Молуккских островов, бушует религиозная буря с совершенно не ясными на сей день последствиями.

Это «атмосферическое явление» обычно называют «исламским фундаментализмом» — термин довольно расплывчатый, «растекающийся» по множеству стран и регионов, где содержание его весьма существенно меняется. Полагаю, что для его понимания можно и нужно обозначить пространственно-временной центр возникновения этого явления.

Любое серьезное обозрение современного состояния мусульманского мира начинать надо с Иранской революции 1979 года.

Многие из нас помнят, в котором часу утра Камиль Демулен призвал народ идти на штурм Бастилии, но кто что-то знает или помнит, если знал, об уличных боях в Тегеране в феврале 1979 года, о штурме тюрьмы Эвин («тегеранской Бастилии»)? Между тем сегодня, двадцать с лишком лет спустя (срок, достаточный для объективной оценки), Иранская революция представляется событием, сопоставимым с «великой» Французской даже в глобальном плане, а уж для мусульманского мира имевшим совершенно исключительное значение.

Такое невнимание можно объяснить традиционным «востоконеведением», которое Россия разделяет с Европой. Восток отдан на откуп специалистам, а широкая публика довольствуется самыми поверхностными знаниями о нем. Нынешняя информационная прозрачность, реальная или мнимая, мало что изменила в этом смысле. Во всяком случае, в отношении мусульманского мира, особенно тех стран, где возобладал фундаментализм. В составе «мировой деревни» эти страны остаются «темным углом» (или, может быть, точнее сказать — становятся им), «выселками», о которых известно немногим более, чем во времена, когда их посещали первые европейцы.

Конкретно об Иране. В русском сознании «голубая родина Фирдуси» занимала очень скромное место. Персидская классическая поэзия — да, находила и находит ценителей, но ее голос умолк пять столетий назад. Современная же Персия в политическом отношении была (до середины XX века и еще немного позже) прямо ничтожная величина. Не сравнимая, например, с Турцией.

Турция — близкий противник, на какое-то время «обложивший» восточное славянство с юга, от Дуная до Дона, великая держава, участница «европейского концерта», и всякая виктория, одержанная над ее войсками, имела громкий резонанс. Тем более что, будучи продолжательницей и наследницей Халифата, она как бы представляла перед Европой весь мусульманский мир. И наконец, *the last but not the least*, это Порта однажды села на Константинополь, русскому сердцу дорогой и близкий, и скинуть ее с этого места стало русской имперской мечтой, едва не осуществившейся в результате победы в войне 1877 — 1878 годов. И казавшейся близкой к осуществлению в ходе Первой мировой войны.

А Персия — страна, расположенная далеко «за горами, за долами», никаких чувствительных касательств к России не имеющая. И все, что с нею у нас связано, оставалось и остается в тени. Возьмите удивительный Персидский поход Петра Великого, в котором, впрочем, сам царь не участвовал (точнее, вернулся с полдороги). Все последующие продвижения русских в южном направлении были достаточно осторожными и поэтапными, а здесь — сразу на тысячу километров переместилась вперед русская граница! Вся Северная Персия, с южным берегом Каспийского моря, была присоединена к России (правда, только на несколько лет, ибо по смерти Петра персидские завоевания были утрачены). Но кто сейчас помнит, что эти земли были когда-то окрашены «русским» цветом? Если бы подобный прорыв осуществился на турецком направлении!

Две последующие войны, относящиеся уже к первой половине XIX века, также оказались забытыми — отчасти потому, что персы были легко разбиты и воевали-то их не Суворов и Кутузов, а всего лишь Тормасов да Паскевич. Даже славный Двенадцатый год, известный во всех подробностях, персов «не вместил». Хотя они там не были лишними: когда Наполеон шел на Москву, «навстречу ему» пыталось наступать персидское войско, ведомое французскими «спецами». Но кто об этом помнит?

Такова история. Но — *tempora mutantur*: на пороге XXI века мы увидели, сколь быстро растут новые «центры силы» к югу от наших границ: на «великой шахматной доске» Евразии Иран становится весомой и потенциально опасной фигурой. Недаром Соединенные Штаты включили его в число двух-трех стран, для защиты от которых они хотят усовершенствовать свою противоракетную оборону.

Геополитика, однако, имеет дело с уже готовыми величинами, не слишком задумываясь над тем, откуда они берутся и почему вдруг идут на убыль или вовсе исчезают. Уподобляя мир шахматной доске, она становится в тупик и не может объяснить, почему так случается, что за толчеей фигур, как это однажды представилось набоковскому Лужину, неожиданно открывается «обнаженный беспомощный король», которого и защищать-то не имеет смысла. И наоборот, откуда возникают такие короли, за которых остальные фигуры, от пешки до ферзя, «со всюю фурией», как в старину говорили, устремляются на неприятеля и не сдают их ни в каком случае.

Главный вопрос, касающийся Ирана, состоит сегодня в следующем: почему эта страна претендует на то, чтобы быть лидером мусульманского мира и в некоторых отношениях уже им является?

Как они вернулись на «дорогу в Мекку»

Говорить правду и хорошо стрелять из лука: такова персидская добродетель...

Ф. Ницше.

Распространенное на Западе сравнение Иранской революции с Французской и Русской оправдано, в частности, тем, что ей также предшествовало широкое умственное движение, в котором слышатся определенные отзвуки

европейской традиции свободолюбия и тираноборчества. Но вот что резко отличило иранскую интеллигенцию: в революцию она шла, не воюя с религией, а, наоборот, вступив с нею в союз; более того, она положила ислам в основу своего мировоззрения и активно «продвигала» его в народном сознании. Последующее возрождение имама Хомейни к вершинам власти и построение в Иране своеобразной формы теократии невозможно представить без усилий интеллигенции.

Отчасти такому направлению ее действий способствовал сам Реза-шах, взявший курс на паганизацию страны, дополнявшей в его глазах политику вестернизации. В отличие от европейских товарищей по несчастью, он с духовенством постоянно враждовал и пытался, сколько возможно, восстановить языческое прошлое. Дошло до того, что в 1976 году он заменил мусульманский календарь (от Хиджры) новым, ведущим отсчет времени от воцарения Кира Великого, как он официально назывался (из тех Ахеменидов, один из которых однажды приказал высечь море плетью).

Впрочем, и без таких компрометирующих коннотаций вестернизация страны (резко ускорившаяся в 60 — 70-е годы в связи с ростом доходов от нефти и значительным увеличением компрадорского слоя, перенявшего западные вкусы, а с другой стороны, приобщением широких масс к западному информационному миру, ломкой традиций и т. д.) вступала в труднопримиримое противоречие с унаследованной духовной традицией, в основе которой был и остается ислам. Разрешить это противоречие призваны были иранские интеллектуалы.

Они вернулись «на дорогу в Мекку», но теперь эта дорога, как выразился писатель Джелал Але Ахмад, пролегла через «запрещенные территории». Эти интеллектуалы уже были «заражены» Западом и так или иначе перерабатывали его в своей крови. Они начинали в детские годы с «Отверженных» и «Старухи Изергиль» и кончали Сартром, Беккетом и кинематографом Феллини. И приходили к двоякому выводу. С одной стороны, они понимали, что опыт Запада должен быть усвоен всесторонне не только в плане технических достижений, но также, и даже прежде всего, в духовном плане; с другой — полагали, что Запад быстро идет к упадку и тащит за собою в бездну мусульманский мир. Признаком такого упадка является сам человек — «дичающий среди процветания» (тот же Але Ахмад), теряющий самого себя и как бы распадающийся на части.

И они воззвали к духовенству как единственной силе, способной еще спасти мусульманский народ. В то же время они отдавали себе отчет в том, что ислам не оправдывает их надежд в упомянутом смысле, если сам не будет реформирован. И постарались — те из них, кто был на это способен, — так или иначе помочь делу.

Реформаторские усилия в исламе обозначают общим термином *салафизм*, что переводится с арабского как «возвращение к праведным предкам» и примерно соответствует западному термину «фундаментализм»¹. Уже в прошлом веке в нем выделились два основных направления. Одно из них, восходящее к хиджазскому реформатору Мухаммеду аль-Ваххабу (1703 — 1787), поставило целью полную изоляцию от Запада. Второе направление назовем соревновательным: признав все достижения Запада, оно вознамерилось так преобразовать ислам, чтобы мусульманский Восток смог пойти по пути аналогичного развития; залогом, что такое развитие возможно, послужил известный факт, что в первые века своего существования мусульманский мир значительно опережал в культурном отношении Европу (исключая Византию).

Тут действительно есть некая загадка. Еще в начале II тысячелетия в части наук и некоторых искусств мусульманский Восток шел впереди, в те време-

¹ Последний обязан своим существованием сборнику «Fundamenta», вышедшему в США на пороге XX века, представляющему собою манифест консерватизма.

на Роджер Бэкон и Раймунд Луллий призывали изучать арабский язык наряду с греческим и латинским. Превосходство мусульман ощущалось и на бытовом уровне. Грубоватые крестonosные рыцари должны были испытывать некоторое смущение, встречаясь с мусульманскими паладинами не на поле боя, но *ad verbut audiendum* (для выслушивания друг друга): нехристи дивили исходившими от них благоуханиями и тонкими манерами, неизвестными Европе. Но потом с науками и искусствами «что-то случилось», и Восток впал в длительную «спячку», которую так выразительно описал Лермонтов: «Род людской там спит глубоко / Уж девятый век... У жемчужного фонтана / Дремлет Тегеран» и т. д.

Реформаторы прогрессивного толка причину этого усмотрели в искажении изначального «послания», которое заключает в себе Коран. Так, известный поэт и философ Мухаммед Икбал, до последнего времени почитавшийся как «духовный отец» Пакистана, еще в 20-е годы призывал сорвать с ислама «коросту», которая на нем образовалась, и привести в движение его «динамическую сердцевину». Что должно позволить мусульманским странам занять достойное место в мире наряду с Европой.

Иранские реформаторы нового поколения начали там, где остановились их прогрессивные предшественники. Ведущей фигурой здесь явился преподаватель университета в городе Мешхед Али Шариати (1933 — 1977), которого на Западе называют «мусульманским Лютером». Первый по важности тезис, сформулированный Шариати, был тот же, что у Мухаммеда Икбала и других мыслителей того же направления: свобода плещет крыльями меж строк Корана, и надо просто суметь должным образом их прочесть.

Шариати разделяет мысль Камю: «Я бунтую, следовательно, существую». Человек имеет «право на бунт» против кого угодно и чего угодно, включая сюда и религиозные установления. Вера, пишет Шариати, должна быть только свободной: «Молитва несознательного индивида, лишенного способности к бунту наподобие животного, не достигнет своей цели»². Это принципиально порывает с практикой, от века принятой в мусульманском мире.

Но далее Шариати расходится с прогрессивной ветвью салафизма: он не считает нужным или, во всяком случае, достаточным просто «догонять Запад», который, по его убеждению, движется «не туда». Такая перемена взгляда имела объективные основания: в 60 — 70-х годах обозначилась опасность, что «корабль» западной цивилизации несет на острые скалы, а его команда, вместо того чтобы подтянуться, наоборот, все больше расслабляется и разбредается кто куда.

Беда западных людей, пишет Шариати, что они сокрушили все бастилии, но одну тюрьму, наихудшую, оставили или, вернее, создали ее заново — это тюрьма собственного естества, «самости». «В „самости“ томится свободное „я“ человека... Вырвавшись из всех и всяческих тюрем, он оказался беспомощным перед стенами *этой* тюрьмы... Ибо в данном случае тюрьма и заключенный — одно и то же»³.

Освободить заключенного из его последней тюрьмы может, согласно Шариати, только духовная сила и ее носитель — духовенство. Для этого оно должно значительно расширить свои функции. Шариати называет клерикализм «худшим видом тирании в истории человечества», но только в том случае, если духовенство остается «косным». Совсем другое дело «революционное» духовенство: оно может и должно взять на себя руководство общественной жизнью. Особо важную роль призван сыграть духовный глава правоверных — имам.

Духовное лицо, называемое имамом (не путать с почетным титулом, которым награждают богословов), играет совершенно особую роль у шиитов. Вся

² Shari'ati Ali. *Humanity and Islam*. — In: «*Liberal Islam. A Sourcebook*». Oxford, 1998, p. 189.

³ *Ibid.*, p. 193.

Иранская революция имеет акцентированно шиитский характер и должна быть понята в этом своем качестве.

Исходное положение шиизма следующее: пророк Мухаммед нашептал на ухо своему деверю Али (мужу дочери Фатимы, ставшему впоследствии четвертым по счету и последним из «праведных» халифов) нечто такое, чего он не доверил никому другому. Если кораническое Слово является достоянием всех мусульман, то шииты, кроме того, считают себя носителями живого Предания. Суть его — в трансляции определенного духовного типа, первым олицетворением которого явился Али. Его иконические черты: предельная скромность и непритязательность, душевная мягкость, справедливость, внимательность к «малым сим». Плюс ко всему воинская доблесть и — что следует особо подчеркнуть — готовность жертвовать собою.

Сунниты (до сих пор это, напомним, основная ветвь ислама) в большей степени рационалисты: для них кораническое Слово есть необходимое и достаточное удостоверение Божественного присутствия. У шиитов в большей степени, чем у суннитов, религиозность является актом любви, побуждением «сердца» и, следовательно, в большей степени имеет личный характер. Надо было быть шиитом, чтобы сказать так, как сказал Хафиз: «Прозренья сердца — свыше нам ниспосланное чудо, / Все ухищрения ума пред ним — пустое дело».

Шиизм называют иногда «христианской струей в исламе». Это, конечно, преувеличение, но в некотором смысле шииты оказываются ближе к христианству, чем сунниты.

Из сказанного вытекает и различие в положении религиозных авторитетов. У суннитов, собственно, нет духовенства в привычном христианам смысле: любой член общины, хорошо знающий Коран и умеющий «вести» молитвенное собрание, может быть выбран на роль муллы. У шиитов духовные окормители не столько выбираются, сколько сами «обнаруживаются», как считается, из числа тех, кто является таковыми «от Бога». Что касается верховного окормителя, называемого у шиитов великим имамом, то он в их глазах так же непогрешим, как Папа Римский в глазах католиков, тогда как сунниты считают, что никто из земнородных притязать на непогрешимость не смеет. Но и последнее различие в некотором смысле оказывается выигрышным для шиитов: из признания человеческой слабости суннитами выводится необходимость строго следовать традиции, тогда как шииты следуют за имамом (называемым иногда «имамом времени»), ищущим и находящим во временной тьме единственно правильный путь.

Вернемся к взглядам Али Шариати. Преимущества имамата для него несомненны; главное же в том, что имам зависит не от чьего-либо выбора, но от признания. Это — против суннитов, но также и главным образом против современной (западной по своему происхождению) демократической процедуры. Шариати ее не отвергает, но считает, что она должна иметь более ограниченное применение, чем то, которое она имеет. Демократическая процедура, пишет он, исходит из того, что народ должен быть решающим фактором. Ислам же, на его взгляд, ставит во главу угла иной принцип: «Народ не есть решающий элемент, он есть признающий элемент». Нельзя назначить кого-то гением, пишет Шариати, и точно так же — имамом; им становится тот, у кого есть соответствующие качества. «Имамат не является демократической процедурой в формальном смысле слова. Имам не обязан поступать так, как того требуют члены общества. И он не должен ставить главной своей целью благосостояние и счастье народных масс. Его первая задача в том, чтобы вести *умму* (сообщество верующих. — Ю. К.) к совершенству, выбирая для этого наиболее правильный и наиболее эффективный путь, даже в том случае, если он несет обществу великие страдания»⁴.

⁴ Цит. по кн.: Dorradj M. From Zarathustra to Khomeini. London, 1990, p. 148, 149.

Али Шариати глубже, последовательнее других выразил то, что «носились в воздухе», и не только в интеллигентской среде. Уже в 60-х годах иранские интеллигенты пошли «в чайхану» (по-русски «в народ»), распространяя в массах, и не без успеха, «новую правду» об исламе. Таким образом, «место» для великого имама было подготовлено еще до того, как он появился на горизонте.

Не перегнешь — не выпрямишь?

В дни, предшествовавшие революции, над Ираном стояла полная луна, в лике которой, как утверждали многие иранцы, можно было разглядеть черты аятоллы Хомейни.

Возвращение Хомейни в Тегеран в феврале 1979 года сравнивают с возвращением Ленина в Петроград в апреле 1917-го. Сравнение явно неудачное: Ленина в то время мало кто в России знал, и еще меньше было тех, кто его хотел. Напротив, Хомейни (благодаря передачам зарубежного радио всем хорошо известного) действительно ждали, подавляющей массой народа он был признан и призван. И спустя десять лет, когда он умер, проведя страну через тяжелейшие испытания, в отношении к нему мало что изменилось. Сегодня, спустя еще десять с лишком лет, человек, однажды предъявивший «верительные грамоты» «от Бога», остается почти незыблемым авторитетом в Иране, и не только там.

«Горизонталь» мнения народного *добровольно* высказалась в пользу восстановления духовной «вертикали», взявшей на себя функции политической власти. В результате возник принципиально новый общественно-политический строй, не имеющий прецедента ни в Европе, ни в мусульманском мире. Конституция Ирана не отличается сколько-нибудь существенно от западных конституций; и демократические процедуры, как утверждают наблюдатели, соблюдаются здесь более добросовестно, чем во многих странах Третьего мира, считающихся демократическими. Но высший надзор над всеми институтами власти осуществляют духовные лица — *рахбар* (вождь, глава нации) и состоящий при нем Наблюдательный совет. Во всех делах последнее слово остается за ними. По-персидски это называется *велаите факих* (власть теологов).

Заметим, что у мусульман нет такого четкого разделения между кесаревым и Божьим, какое существует у христиан. Уже факт отсутствия (в основной ветви ислама — у суннитов) духовенства в полном смысле этого слова до некоторой степени стирает различие между миром и священством. Но только — до некоторой степени. В принципе, различие, конечно, сохраняется (даже у суннитов, тем более у шиитов): царство Аллаха — не от мира сего. Это особенно подчеркивается в ранних, так называемых мекканских, сурах Корана. В мединских сурах, более поздних и более «государственных», священство претендует на более жесткий контроль над светской жизнью, но и здесь есть понимание, что возможности его далеко не безграничны. И шиитское духовенство или, во всяком случае, та его часть, что именуется традиционалистской, отдает себе отчет в том, что прямое вмешательство мулл в дела государства несет определенные опасности.

Но и полное отделение государства от религии отнюдь не является, как многие думают, счастливой находкой, долженствующей определить их взаимоотношения раз и навсегда. Вообще нет ничего на этом свете, что установилось бы раз и навсегда. Это относится и к демократии в ее современных формах. Уж сегодня-то вряд ли есть необходимость специально это доказывать: даже на Западе, где она функционирует наиболее успешно, демократия все больше приобретает черты охлократии на современный манер.

И не так она свободна от религии, как хочет это показать. Ведь абсолютизация «воли народа» тоже есть религия, именно народобожие. С. Л. Франк писал, что «воля народа» может быть так же глупа и преступна, как и воля отдельного человека. Да и заполучить ее, так сказать, в чистом виде технически совсем не просто, если вообще возможно. Уравновесить «волю народа» может

что-то духовное водительство, но тут возникает другой вопрос: кто, кого и каким образом поставит водить? Допустим, сам народ каким-то не вызывающим сомнений способом определит кого-то на роли водителей. Но так мы опять упираемся в «волю народа», которая может быть... (См. выше.) Все это значит не то, что дело обстоит так уж безнадежно, но лишь то, что «последних», «твердых» ответов на поставленные вопросы нет. Или, вернее, так:

На все как бы есть ответ,
Но без последнего слова.

(З. Гуннуис)

И хорошо, потому что иначе зачем бы тогда была нужна история?

Человечество призвано не единожды, но постоянно проходить между Сциллой и Харибдой — принципом равенства и принципом иерархии (духовной прежде всего). В этом отношении иранский опыт оказывается уникальным. Оговорюсь, что я не призываю учиться у иранцев теократии, которая для христианского мира есть давно пройденный этап.

Долгое время в событиях, сопровождавших Иранскую революцию, трудно было усмотреть что-либо позитивное. Бросались в глаза крайности, неизбежные при всяких революциях; причем в данном случае проявления левого экстремизма, хорошо знакомого Европе, переплетались с проявлениями экстремизма исламского, «средневекового».

Толпы, врывающиеся в дома и устраивающие самосуд над «приспешниками шаха»; революционная молодежь, демонстрирующая против «буржуазных свиней»; косые взгляды, сопровождающие на улице толстяков; *пасдараны* («стражи исламской революции»), охаживающие кнутом женщин, вышедших из дома в коротких юбках; распахнутые двери тюрем: всех покаявшихся заключенных выпустили на свободу, непокаявшихся расстреляли на месте. Впрочем, вскоре тюрьмы наполнились снова, а казни продолжались. По многим признакам рахбар должен был быть отнесен к числу тех изуверов, что «Служат огнем и железом / Великому Богу Любви» (Вольтер).

Пугающие акции на «фронте» культуры: разгромлены кинотеатры и всякого рода увеселительные заведения; «на время» (оказалось — на три года) закрыты все университеты (усилиями главным образом студентов, составивших один из основных отрядов революции); запрещены Моцарт и Бетховен — «за монархические симпатии». За то же — Фирдоуси или по крайней мере его поэма «Шахнаме» (основа национального эпоса), прославляющая шахов. Запрещены даже шахматы, где на шестидесяти четырех квадратах шах и его прихвостень визирь, *фарзи* (в Европе ставший ферзем), занимают не подобающее им центральное место.

Но все это оказались «гримасы», которые Иранская революция постаралась смахнуть со своего лица с течением времени. Сначала получили окорот левые. Исчезли с улиц плакаты явно советского происхождения с рукастыми пролетариями, исполненными праведного гнева, и империалистическими гадами в виде шипящих змей. Уже к 1983 году все леворадикальные партии в стране были запрещены, а социалистические акценты в политике, которую проводили власти, исчезли или были смягчены. Не произошло ни огосударствления экономики (в том объеме, на котором настаивали левые), ни радикального перераспределения земли в деревне. В целом линия традиционного ислама в экономической сфере взяла верх: частная собственность ограждена законом, свободное предпринимательство поощряется и рыночная стихия не сковывается; разве что постулируется необходимость иметь «исламский рынок», а не какой-либо другой. Ничего смешного в таком словосочетании нет: рыночные отношения во многом зависят от уровня взаимного доверия, которое создается в неэкономической сфере, а моральная атмосфера в стране такова, что не благоприятствует чрезмерному скоплению богатства в одних руках

и, наоборот, поощряет или, во всяком случае, оправдывает ограничение потребностей. Это, в общем, тоже соответствует шиитским традициям. В отличие от суннизма, в шиизме больше духовного аристократизма и в то же время заметнее стремление к самоумалению, «безвидности»; соответственно и заметнее сочувствие к человеческой немощи в любых ее проявлениях.

Вынуждены были отступить и поборники культурного изоляционизма — исламские радикалы и солидаризовавшаяся с ними наиболее отсталая часть духовенства. Сам аятолла Хомейни, первые годы испытывавший колебания в данном вопросе, в конце концов занял позицию «просвещенного ислама» и твердо выступил равно против «вигилантов» из числа студенческой молодежи и «безграмотных мулл» (по его собственному определению): те и другие пытались закрыть лица женщинам и прекратить доступ в страну западной культурной продукции, в первую очередь кинематографической. На последний счет высочайший вердикт был таков, что нельзя смотреть откровенно эротические и жестокие сцены, а все остальное смотреть можно и даже полезно, ибо там «много поучительного»; и что там есть чуждого мусульманам, должно не выводиться из поля зрения, но «органически отторгаться». Что касается женщин, то их положение совершенно несопоставимо с тем, какое они занимали в традиционном мусульманском обществе: женщины служат в армии, заседают в меджлисе (одно время женщина занимала пост вице-президента Ирана), а в последнее время даже примеряются на роли мулл (на Западе аналогичные новации осмелились ввести у себя только самые либеральные ветви протестантизма), правда, кормящих только верующих своего пола.

Как видно, внутренняя логика Иранской революции отвечает принципу: «Не перегнешь — не выпрямишь». Очевидно, что самые крайние ее крайности остались позади. Либерализация режима заметно ускорила на пороге нового века, хотя, как далеко она пойдет (и не пойдет ли она слишком далеко), пока сказать трудно. Ключевым здесь остается вопрос о *велае факих*. Было ли вмешательство духовенства в общественно-политическую и культурную жизнь своего рода «скорой помощью», которая однажды уедет туда, откуда приехала? Или духовенство все-таки сохранит контроль над этими сферами — в полном соответствии с существующей конституцией? Повторяю: опыт Ирана уникален, и, какой бы выбор ни был сделан, в любом случае он будет иметь мировой резонанс.

«Больше чем человеческое»

Все, что я мог узнать об Иране, я узнавал из книг и периодической печати. Мне остро не хватало визуальных впечатлений, «крупных планов». И тут мне повезло: в мае 2000 года в Москве прошел показ восьми иранских фильмов, позволивших наконец заглянуть в этот доселе «темный угол».

«Самый человеческий кинематограф» — такой отзыв довелось мне услышать об иранском кино еще до того, как я с ним познакомился. Но этот отзыв скорее пристал бы к кому-то или чему-то другому, например, к итальянским неореалистам. Кстати говоря, оказавшим заметное влияние на новое иранское кино. Один из фильмов, «Лоточник» М. Махмалбафа (1986), даже снят по мотивам рассказов Альберто Моравиа (разумеется, действие перенесено на иранскую почву).

Но если человек, как говорят, «больше самого себя», то об иранском кино следует сказать, что оно «больше чем человеческое». При том, что никакой назидательности в религиозном смысле здесь нет. Каждый фильм начинается с обязательного титра «Во имя Бога», но дальше имя Господа не поминается всуе. Как правило, вообще не поминается. Если, конечно, не считать ритуальных выражений типа «слава Богу». «Эффект присутствия» вышних сил достигается чисто художественными средствами — движением камеры, хорошо представленными паузами, музыкальным сопровождением и т. д.

Музыка (по характеру европейская или смешанная европейско-иранская) здесь, пожалуй, особенно важна. Она не столько соответствует тому, что про-

исходит на экране, сколько контрастирует с ним. Чаще всего она нетороплива, величава, трагична, иногда в ней звучат какие-то угрожающие ноты. Она как бы открывает глубину второго или, точнее, первого, высшего, плана бытия, свободного от земных ритмов. Так облака неторопливо плывут над землей людей, какую бы она ни выглядела суетливой, судорожной или, наоборот, оцепенелой. (В итальянских неореалистических фильмах прорывы в высоту редки: на память приходит концовка феллиниевской «Дороги» и еще два-три эпизода в других фильмах.)

Пожалуй, единственный эпизод, прямо относящийся к религии, — в «Голубом платке» Б. Этимада (1994). Люди, собравшиеся к обеду (дом — зажиточный, люди — европеизированные в той мере, в какой это принято сегодня в иранском среднем классе), предваряют его молитвой. Видимо, это день поминовения какого-то их мученика, может быть, самого Хусейна, потому что лица мужчин мрачнеют, а женщины не могут сдерживать слез. Проходит несколько минут, все отходят и садятся обедать. Ритуализированные выражения религиозных чувств европейским скептикам кажутся лицемерием, но на самом деле здесь проявляет себя по-своему тонкая физическая организация: в итоге длительного опыта душевная подпочва приравнивается к некоему метроному, упорядочивающему эмоциональную сферу и задающему темп движению жизни в целом.

«Другая жизнь». Здесь семья есть семья и любовь есть любовь, а не «как бы». Впервые я понял К. Н. Леонтьева: люди Востока могут быть симпатичнее людей Запада. Особенно там, где мир традиций сохраняет большую власть, — на селе, среди земледельцев, равно как и землевладельцев, или в некотором временном отдалении, как в «Последней сцене» В. Карима-Масихи (1990), действие которого отнесено к 20-м или 30-м годам. Здесь живут люди, не прошедшие через санпропускник западной массовой культуры, сохранившие певучую органичность и природную пластичность, в иных краях давно исчезнувшую.

Обращаешь внимание на положение женщины, поскольку именно оно является предметом особо жесткой критики в адрес «фундаментализма». Считают, например, анахронизмом ношение чадры. Но чадра (окутывающая фигуру и закрывающая голову, но оставляющая открытым лицо) красива, особенно когда полощется на ветру. Единственное, что несколько угнетает, — это обилие черного цвета. Носят, однако, еще и какие-то накидки типа чадры (может быть, они называются иначе), светлые или цветные, — в таких накидках все женщины прекрасны. Есть в них нечто античное, в Европе позабытое⁵. А бережное отношение к слабому полу вызывает в памяти тоже прошедшее у нас, хотя несравненно более близкое время, когда женщина была «кисейной крепостью» (как где-то выразилась М. Цветаева). Что касается свободы, то, например, в фильме «Сара» Д. Мехрджуи (1992) героиня не менее свободна, чем ибсеновская Нора: она уходит от мужа, когда убеждается, что он не доверяет ей так, как должно мужу доверять жене. Я отнюдь не хочу сказать, что все хорошо в ситуации иранской женщины, наверное, далеко не так. Но на «средневековое рабство» это совсем не похоже.

Конечно, это кино, но кино реалистическое, следовательно, сколько-нибудь значительного отрыва от жизни здесь быть не должно. Украшательство совершенно чуждо иранским кинематографистам, напротив, они склонны показывать убогое, жалкое, смешное, иногда страшное и жестокое, но делают это целомудренно, так, чтобы воздействовать на чувства зрителя, а не на его физиологию, возбудить в нем участие в тех, кто заслуживает участия. К примеру, давно я не встречал такой искренней, такой пронзительной боли за судьбу «маленького человека», как в «Лоточнике», представляющем сцены современной городской жизни.

⁵ Лариса Рейснер в «Афганистане» пишет о «нашей мерзкой европейской одежде», не выдерживающей сравнения с одеждами мусульман. Напомню, что Лариса Михайловна была не только большевичкой, но и светской дамой, в туалетах знавшей толк.

Город везде город, в нем больше несчастных и (или) злых людей, но и совестливость и доброта здесь отнюдь не случайные гости. Это — тема фильма «Быть или не быть» К. Аяри (1998). Девушка, остро нуждающаяся в том, чтобы ей пересадили чье-то здоровое сердце, кажется, дождалась подходящего случая: в больницу привозят молодого человека, смертельно раненного на собственной свадьбе каким-то ревнивцем. Но хотя его положение безнадежно, семья встречает негодованием «чудовищную» просьбу, а брат умирающего даже набрасывается на врача с ножом. Вообще-то тут знаешь заранее, чем дело кончится, и все равно отраднo-интересно следить, как постепенно смягчаются люди и входят в положение совершенно им чужого, но уже задыхающегося от нехватки воздуха человека. Счастливый исход лишь на время отдалает вдруг возникшие дополнительные помехи: во-первых, выясняется, что девушка — христианка (армянка), то есть «не наша» или «не совсем наша», во-вторых, рядом возникает «стоцентный» мусульманин, у которого дочь тоже нуждается в чужом сердце (хотя ее состояние не так тяжело и она еще способна ждать другого донора) и который к тому же может заплатить за пересадку крупную сумму. Но, конечно, родственники погибшего не торгуют его сердцем, они дарят его — той, что больше других в нем нуждается.

Очевидно, больная девушка сделана христианкой, чтобы показать степень душевной щедрости дарителей. Но здесь есть несомненная символика, выходящая за рамки частного случая: мусульманское сердце — красное и, так сказать, пылающее в момент, когда его вынимают из рассеченной груди, — предлагает себя «христианскому» (как не заключить это слово в кавычки!) миру. И ведь не станешь отрицать, что последнему собственной «сердечности» нынче явно не хватает.

Новое кино Ирана убедило меня в том, о чем я и раньше догадывался: исламская революция действительно выпрямила иранское общество. Пора, однако, уточнить: нам показали *светлый* Иран. Реальность же в ее противоречивой совокупности такова, что вынуждает задаться вопросом: это светлый Иран отбрасывает «ариманову тень» или какой-то другой?

Ab uno disce omnia

Велик Аллах!.. ужасна власть шайтана!

М. Лермонтов.

С самого начала Иранская революция заявила о себе как о мировой; и в этом она тоже сродни французскому и русскому аналогам. Через головы правительств Тегеран обратился к «народам мира» и прежде всего к «обездоленным» (имелись в виду главным образом обездоленные в духовном смысле, ибо в противном случае Запад в качестве адресата пришлось бы исключить) с призывом строить «новую жизнь» на основе заветов ислама. О том, что это была не просто риторика, свидетельствует письмо, которое Хомейни направил Горбачеву в начале 1989 года: в нем утверждалось, что ислам «легко» мог бы заполнить идеологический вакуум, образовавшийся в Советском Союзе после крушения коммунизма.

Великий аятолла настолько мыслил «в мировом масштабе», что даже слово «Иран» старался употреблять как можно реже.

Однако чувство реальности не покинуло иранских революционеров, и свою первоочередную задачу они видели в распространении революции на страны уже исламизированного мира. Главными их противниками были (и пока остаются) монархи Аравийского полуострова и те, кого называют «новыми мамлюками», — кадровые офицеры, установившие в своих странах тиранические режимы под националистическими и социалистическими знаменами. В Тегеране ждали, что под ногами тех и других вот-вот загорится земля, и все делали для того, чтобы этот вожделенный час приблизить.

Вышло иначе. Багдадский Навуходоносор (из «новых мамлюков»), видя, как с падением шаха распадается иранская армия, смекнул, что другого такого шанса история ему уже не даст, и в 1980 году сам напал на Иран. Началась длительная, на восемь лет растянувшаяся, изнурительная для обеих сторон война. Поначалу, как и следовало ждать, иракские войска стали быстро продвигаться вперед. Тогда рахбар призвал мобилизовать все силы для отпора врагу и превратить каждый город и каждое село в «новый Сталинград». Вышколенной армии противника был противопоставлен «человеческий фактор». Возрожден был старый шиитский девиз «Кровь против меча»: десятки, сотни тысяч молодых людей записывались в отряды *шахидов* (мучеников, смертников) и сразу получали символический ключик на шею, открывающий двери в рай. Позднее, уже в период наступления, появились особые «*шахиды* минных полей», подрывавшие себя на вражеских минах и таким образом прокладываящие путь другим частям.

Ход войны удалось переломить: иранцы освободили захваченные у них территории и сами вступили на территорию противника. Но теперь Ирак дружно поддержали и западные державы во главе с США, и СССР, и монархи Аравийского полуострова с их немереными финансовыми возможностями. Запад, видимо, посчитал, что «злая тварь милее твари злейшей», отождествив последнюю с Ираном. В результате превосходство Ирака в танках, самолетах, пушках и т. д., и прежде значительное, сделалось многократным. Такого обилия техники «человеческий фактор» не смог одолеть. Но и техника не могла одолеть «человеческий фактор». Сложилась патовая ситуация, которая привела к миру. Обе стороны согласились на *status quo ante bellum*.

Говорят, что последние месяцы жизни аятолла Хомейни (он умер в 1989 году, вскоре после окончания войны) провел в тяжких раздумьях о том, почему Аллах попустил богопротивному режиму устоять. Между тем Советский Союз вывел свои войска из Афганистана, а вскоре вообще распался, и наследники Хомейни попытались возместить неудачу с Ираном экспансией в восточном и северном направлении. Но в Афганистане возобладала соперничающая ветвь салафизма, а в бывших советских республиках воинствующий исламизм любого толка *пока* наталкивается на энергичное сопротивление властей.

Тем не менее в Тегеране убеждены, что огни Иранской революции светят и будут светить всем мусульманам без изъятия. Иран официально объявил себя «матерью всех исламских земель» (что несколько противоречит традиции, обеспечивающей особый статус Двух Священных Городов). Во многих случаях Иран в лице своих руководителей выступает от имени всего мусульманского мира. *Ab uno disce omnia* (устаами одного говорят все). К примеру, книга С. Рушди «Сатанинские стихи» вызвала большее или меньшее негодование у всех мусульман, но только аятолла Хомейни вынес автору смертный приговор, как если бы он был уполномочен на это уммой (мировой общиной).

Или взять арабо-израильский конфликт. Казалось бы, это «домашний старый спор» потомков Измаила с потомками Исаака, лишь косвенно задевающий персов как мусульман (другого, впрочем, толка). Между тем Иран так энергично выступает против Израиля, как если бы это был его ближайший противник.

Определенной помехой на путях мирового распространения Иранской революции явился ее шиитский акцент; большинство мусульман (около четырех пятых) до сих пор составляют сунниты. Тем не менее значение ее для *всего* мусульманского мира огромно. Иран первым бросил вызов Западу, продемонстрировав, что мусульманский народ может идти своим путем, отличным от того, каким до сих пор следовали компрадорские режимы. Энергетика Иранской революции произвела заразительное действие даже на исламистов ваххабитского толка: у тех своя, совершенно отличная стратегия, но факт, что куражу им прибавили именно иранские шииты.

К сожалению, вызов, брошенный Западу, не ограничился религиозно-культурной сферой. Тегеран постоянно держит наготове знамя джихада как священной войны с «неверными». Фронт борьбы, актуальной или потенциальной, — весь мусульманский мир, все его реальное или проектируемое пограничье. Главный враг — Соединенные Штаты, именуемые «большим шайтаном». Особая враждебность к американцам отчасти объясняется обстоятельствами, при которых возгорелась Иранская революция: Соединенные Штаты довольно опротестливо связали себя с шахом (как в иных краях связывают себя, исходя из чисто прагматических соображений, с разными «сукиными сынами») и всячески его поддерживали. Но, видимо, есть тут и другая, более глубокая причина: своими фильмами, ритмами и т. д. Америка, как никто другой, вольно или невольно подчиняет себе (здесь, как и в других местах) душу народа, и она с тем большим остервенением «сбрасывает» ее с себя, чем больше хочет остаться собою.

Демонизация Соединенных Штатов имела роковое следствие: было взято за негласное правило, что в борьбе с таким противником все средства хороши. Голос шайтана наущающего, принятый за волю Аллаха, подсказал самое одиозное из них — терроризм. Официально Иран отрещивался и отрещивается от терроризма, и тем не менее есть основания считать, что некоторые террористические организации, включая такие известные, как «Хезболла» и «Хамас», финансируются если не прямо властями, то кем-то, кто находится на территории Ирана и на чью деятельность власти смотрят сквозь пальцы.

С точки зрения ислама терроризм никоим образом не может быть оправдан; попытка «подвести» под него слова Пророка, что несправедливость позволительно устранять «прямым действием», — слишком явная натяжка. Традиционный *фикх* (мусульманское право) твердо стоит на том, что врага следует убивать в честном бою и ни в каком случае нельзя убивать женщин (если только они сами не прибегают к оружию), детей и стариков. Были, правда, когда-то (в XI — XIII веках) в Персии те, кого в Европе называют ассасинами⁶ и кто действительно прибегал к методам террора. Но, во-первых, ассасины были своеобразным орденом или сектой (точнее, сектой внутри другой секты — исмаилитов), практиковавшей оккультизм и уже поэтому существенно уклонившейся от ортодоксального ислама⁷, а во-вторых, мирных, ни в чем не повинных жителей ассасины, насколько я знаю, никогда не убивали.

Что в перспективе? Иран наращивает военную мощь, создавая арсенал вооружений новейшего типа — ядерного, ракетного (включая межконтинентальные ракеты), химического, биологического. Да и по обычным вооружениям он теперь первенствует на Среднем Востоке. А так как установка на мировую исламскую революцию сохраняется, есть вероятность того, что этот кулак когда-нибудь будет приведен в действие. Тем более, что сам кулак, коль скоро его однажды собрали, «хочет», чтобы его привели в действие. Английский историк Ф. Холлидей считает возможным провести следующую аналогию: СССР, однажды заряженному идеей мировой революции, пришлось временно добрую четверть века, прежде чем ему удалось реализовать, хотя бы отчасти, изначальное стремление к экспансии; нечто подобное может произойти и с Ираном.

Наиболее вероятным направлением иранской экспансии считают западное и юго-западное. С багдадским Навуходоносором, возможно, уже не придется ратоборствовать; в один прекрасный и скорее всего недалекий день каким-нибудь «камушком, оторвавшимся от Божьей горы», он будет сокрушен, и тогда шиитский (на две трети) Ирак может быть просто поглощен Ираном. Или ста-

⁶ Искаженное араб. *хашшишин*, «потребители гашиша», превратилось во франц. *assassins* — «убийцы».

⁷ Умберто Эко нарисовал в «Маятнике Фуко» фантастическую картину мирового оккультного заговора, высказав зловещее допущение, что «в час Икс болтающийся Маятник укажет на Аламут» (горный замок близ города Казвин, бывший твердыней ассасинов). Но в современном Иране оккультизм если и не преследуется по закону, то как минимум не поощряется.

нет чем-то вроде его «дочерней республики» (если использовать терминологию времен Французской революции). И тогда Иран может нанести удар по монархиям Аравийского полуострова, о чем он давно мечтает. Или спровоцировать в этих странах восстания против существующих режимов. Вполне вероятно и вмешательство Ирана в дела территориально далеких от него мусульманских стран. Как это уже имело место, например, в Судане, где смену власти фактически произвели посланные сюда с этой целью иранские пасдараны. Чему, кстати, не помешало то обстоятельство, что суданские мусульмане — сунниты.

Заметим, что границы распространения шиизма отнюдь не являются раз и навсегда установившимися. В самом Иране шиизм стал государственной религией только в XVI веке и только в XVIII победил окончательно. И нельзя исключать того, что под влиянием Иранской революции шиитов станет значительно больше, чем их было раньше.

Что касается отношения к Западу, включая Соединенные Штаты, то оно в последние годы (и особенно в последний год истекшего века) заметно смягчилось под давлением либеральной части хомейнистов. К тому же трезвые головы в Иране отдают себе отчет в том, что по крайней мере в обозримом будущем военное противостояние здесь ничего не даст. Как выразился один из иранских руководителей, «мы не должны тешить себя надеждой, что однажды сумеем бросить вызов нашим основным соперникам в части технологии вооружений. Наша сила не в этом, а в пробуждающемся по всему миру исламском самосознании...»⁸. Заметим, что исламское самосознание тоже бывает разное. Слава Богу, то, что пробудилось в Иране, не лишает его способности к диалогу, а лучше сказать, к некоторому взаимопониманию с христианским (без кавычек) миром, совсем напротив. Определенным залогом в этом смысле могут служить богатейшие (хоть и не обновлявшиеся длительное время) культурные традиции, ставящие Иран в исключительное положение среди других мусульманских стран.

Fundamenta

Духовная сила, позволившая исламизированной Персии сохранить ее древнее культурное своеобразие, более того, давшая ей новый импульс и в то же время окрасившая ислам определенным образом, — суфийство, или суфизм.

Возникновение суфизма, вероятно, было предопределено уже в те годы, когда под знак рогатой луны ислама подпали страны Ближнего и Среднего Востока, в которых успело пустить корни христианство и еще были живы традиции эллинской философии и культуры. Воздух в этих краях был слишком насыщен ароматами предшествующих столетий, чтобы ислам мог здесь оставаться таким, каким его принесли с Аравийского полуострова, — суховато-законническим, относительно бедным содержанием. Отталкиваясь от тех элементов мистики, тех крупниц «сердечности», какие есть в Коране, суфии сделали «свой» ислам более эмоциональным и в большей мере опирающимся на образное мышление.

Исходный жизненный и мировоззренческий принцип суфиев — отрешение от благ мира сего; парадоксальным образом оно сочетается с влечением к миру сему, только очищенным и переведенным в план искусства. Такого, например, как пение (с точки зрения ортодоксального ислама это занятие хоть и не греховное, но несколько сомнительное). Позднее к пению добавился танец, с течением времени сложившийся в известный тип радения, именуемый *зикром*.

Можно, наверное, сказать, что религиозность суфиев пропитана культурой, и, наоборот, культура в ареале распространения суфизма (а это по мень-

⁸ Mohaddessin M. Islamic Fundamentalism. The New global Threat. Washington (DC), 1998, p. 38.

шей мере весь массив мусульманских стран от Босфора до Инда, исключая Аравийский полуостров) пропитана суфийской религиозностью.

Безусловно, высшее достижение культуры мусульманского мира — персидская классическая поэзия XI — XV веков; точнее, поэзия на языке фарси, создававшаяся на территории не только нынешнего Ирана, но также Мавераннахра (среднеазиатское Двуречье), Афганистана и нынешнего Азербайджана. Вся она — суфийская и поэтому представляет собою великолепный материал для ознакомления с суфийской религиозностью. Что в ней особенно замечательного, это мировоззренческая *широта*, резко выделяющая ее на фоне ортодоксального ислама. Здесь есть богатство чувствований, есть свобода и сила мысли, вполне сопоставимые с теми, что мы находим в духовной истории Европы.

Таков верхний «этаж» суфизма. У него есть низлежащие «этажи», сближающие его с уровнем понимания «простых людей». Это сближение стало возможным в силу некоторой снисходительности суфиев к традициям народной культуры (иногда чрезмерной, доходящей, например, до абсорбции некоторых элементов шаманства). Отметим, что данное обстоятельство облегчило институционализацию суфизма на периферии мусульманского мира, в частности на Северном Кавказе и на большей (особенно северной) части Центральной Азии. Здесь произошло «наложение» ислама на местные традиции, в результате чего получил распространение, например, культ святых «местного значения», ортодоксальным исламом не приемлемый. Разумеется, между «народным суфизмом», как его называют, и верхним «этажом» суфийского богословия и высокой поэзии существует дистанция немалого размера, но есть и объединяющие их родовые черты.

Спустя год после смерти Хомейни вышел в свет сборник его стихов (газелей) под названием «Вино любви». В нем есть такие строки: «Моя жизнь близится к концу, / А возлюбленная так и не появилась... / Руки готовы приять кубок смерти, / А кубок вина я так и не увидел». Это вполне традиционные для суфийской поэзии мотивы. «Возлюбленная» — земная красавица, но взгляд поэта, обращенный к ней, проходит «сквозь нее», устремляясь к «небесной Зухре». И вино — не то, что подают в *мейхане*, то бишь трактире (у пьянейшего из суфиев, Хайяма, читаем: «Вином любви мы пьяны, не лоз вином, поверь!»).

Никого в Иране особенно не удивило, что суровый аятолла писал стихи, притом стихи неплохие, — нелицеприятные критики обратили внимание на их чисто версификаторские достоинства. Что ж, как сказал русский поэт,

Если перс слагает плохо песнь,
Значит, он вовек не из Шираза, —

то есть не из того Шираза, который воспел Хафиз, не из «колена Хафизова». А современные персы дорожат своей поэтической «генеалогией»: страна хорошо знает своих великих поэтов, но и более того, суфийские традиции пронизывают живую, творящуюся культуру (что видно и на примере Хомейни); другой вопрос, как они сегодня преломляются.

Некоторые составляющие суфизма вызывают сейчас неприятие и осуждение: это, как легко догадаться, созерцательность и «односторонний» эстетизм. Еще Мухаммед Икбал, сам поэт, упрекал суфиев в том, что они «уводили» мусульман от решения практических задач⁹. Революционеры поставили целью перестроить на старо-новых основах иранское общество и весь мир; в такую-

⁹ Суфии, писал Икбал, «широко распахнули двери в спекулятивный мир, который привлек и в конечном счете поглотил лучшие умы, какие были у мусульман, в результате чего государственные дела попали в руки посредственностей» (Muhammad Iqbal. The Principle of Movement in the Structure of Islam. — «Liberal Islam», p. 25).

то годину «ласки милой воспевать» многим представляется несвоевременным, даже если милая опознана как вполне неземная. Наиболее аскетичные из числа революционеров только одной возлюбленной отдают свое сердце — той, что служит иносказанием революции. И все же большинство тех, кто участвует в дискуссиях о суфизме, которые постоянно ведутся в Иране, готовы воспринимать образ возлюбленной только в традиционном ключе — как олицетворение потусторонней истины. Общее сочувствие и поддержку находят порывы к свободе, которые можно найти в суфийской поэзии. Как и ее внимание к «простому человеку». Высоко оценивается само образное мышление как предпочтительное, во многих аспектах, в сравнении с мышлением логическим. Остается в чести эстетика как таковая. Даже Отдел пропаганды исламской революции требует от своих пропагандистов «красоты изложения мыслей».

Таким образом, в значительной своей части суфийские традиции сохраняют силу, и это позволяет надеяться не только на взаимную благосклонность христиан и мусульман, но и на возможность диалога.

Напротив, с ваххабизмом какое-либо сближение практически невозможно. В рамках настоящей статьи я не имею возможности говорить о ваххабизме подробнее, замечу лишь, что он возник как реакция на суфизм. Органичный на Аравийском полуострове, он в последние годы бурно распространяется в других местах (как ни парадоксально, но энергетика Иранской революции подстегнула также и экспансию ваххабизма); в частности, он одержал победу в Афганистане. Ваххабизм прост и самодостаточен; и он хотел бы воздвигнуть китайскую стену, чтобы оградить себя от внешнего мира. Это в лучшем случае, в худшем же он еще и агрессивен и стремится к неограниченному расширению. Поэтому искать взаимопонимания с ваххабитами чрезвычайно трудно, их можно лишь терпеть — пока и поскольку они сами готовы терпеть мыслящих и чувствующих иначе.

Придется кое-что вспомнить

Как можно быть персом?

Ш. Монтескьё.

Этот знаменитый вопрос, а точнее, восклицание, вырвавшееся у одного из персонажей романа «Персидские письма», и в наши дни может служить эмоциональным выражением того, мягко говоря, недоумения, какое вызвал на Западе ход Иранской революции.

В январе 1980 года журнал «Тайм», объявивший аятолле Хомейни человеком года, писал: «Редко случается, чтобы такой неправдоподобный лидер сумел потрясти мир... Революция, которую он привел к победе, грозит нарушить мировой баланс власти более, чем какое-либо другое событие с того времени, когда Гитлер захватил Европу»¹⁰. Это сказано по горячим следам и под свежим впечатлением. Обратим внимание на сравнение с Гитлером: в те дни оно не выглядело неожиданным. Режим, который Хомейни установил в Иране, многие называли «исламским фашизмом».

Десять лет спустя американский исследователь и публицист Робин Райт дает более объективную оценку Иранской революции. «Только одна революция в этом столетии, — пишет она, — до такой степени поразила и напугала внешний мир — Русский переворот»¹¹. Предшественники иранских революционеров, с ее точки зрения, — большевики и еще прежде них якобинцы: те и другие низвергли пришедшую в упадок монархию (не совсем точно, ну да ладно); вот только «исламская идиома» делает иранцев ни на кого не похожими и ставит в тупик равно Запад и (коммунистический тогда) Восток.

¹⁰ «Time», January 7, 1980.

¹¹ Wright R. In the Name of God. New York, 1989, p. 38.

Мерить Иранскую революцию европейскими мерками можно и нужно, но за более близкими аналогиями следует обратиться в глубь истории. Кстати, год Иранской революции, 1979-й, по мусульманскому календарю — 1400-й. То есть мусульманский мир только-только вступал в XV век, если считать от Хиджры. Вот как раз в европейском XV, а еще больше в XVI и XVII веках, иначе говоря — в эпоху Реформации, мы и найдем материал для сравнения. Действительно, исламские салафитские движения разных толков и направлений имеют много общего с европейскими реформационными движениями.

Приведись современным европейцам увидеть воочию кальвиновских «стражей веры» или кромвелевских «железнобоких», распеваящих псалмы, они поразились бы тому, сколь их предки далеки от них психологически. Удивительна, на современный вкус, сила веры, одушевлявшая ранних пуритан и позволявшая мужчинам с улыбкой переносить любые пытки и молодым девушкам всходить на костер, как на брачное ложе. А ведь пуританство, как это хорошо известно, явилось коконом, из которого вышла современная демократия. Два основных принципа были им поставлены во главу угла. Один из них — духовное водительство. Кальвин прямо говорил, что «надо делать людям добро вопреки их воле»; во исполнение этого принципа в пуританской Англии и вслед за нею в Америке было введено «правление святых» («при непосредственном участии Христа»). Вторым принципом, однако, было народовластие: водителей должен выбирать себе народ (сам Кальвин оказался низвергнут, когда того захотел народ). Теократия, таким образом, была слита с демократией, и понадобилось длительное время, чтобы вторая отделилась от первой и даже отрелась от своего с нею родства. Подобным же образом проблематика прав человека утрачивает связь с одним из основных, если не основным своим источником, а именно проведенным Кальвином и еще прежде него Лютером уравнением верующих в правах.

Можно, следовательно, думать, что по крайней мере некоторые салафитские движения просто повторяют путь, пройденный европейской Реформацией, иногда даже сознательно: Али Шариати, например, считал Лютера и Кальвина «великими реформаторами», кое в чем созвучными современным исламским. Иранских салафитов объединяет с кальвинистами общая тенденция религиозной мысли, а именно стремление елико возможно «задействовать» Бога в делах мира сего ценой частичного разрыва более тонких и музыкальных нитей, что связывают Бога с человеком (хотя у кальвинистов этот разрыв, похоже, был более значительным).

На Западе пытаются объяснить Иранскую революцию преимущественно «снизу» такими обстоятельствами, как миграция крестьян в города, влекущая за собою трудности приспособления к новым условиям, недовольство интеллигенции своим уделом и т. д. Подобные концепции, выводящие за пределы рассмотрения религию как «самодвижущийся» фактор, свидетельствуют о забвении собственной истории четырех-пятивековой давности.

Но считать, что исламское реформаторство всего лишь следует путем, аналогичным тому, какой прошло христианское реформаторство, с известным временным лагом, было бы слишком утешительно для Запада. Во-первых, ислам не христианство. Во-вторых, диахрония не может не испытывать давления синхронии, иначе говоря, имманентный для мусульманского Востока путь развития так или иначе помечен мощным воздействием мирового времени, «хозяйном» которого является Запад, и в свою очередь оказывает обратное воздействие на него. Как уже было сказано, Иранская революция в огромной степени представляет собою реакцию на западный опыт, в основе которой — достаточно обоснованное опасение, что «этот безумный, безумный мир» утратил всякие ориентиры и движется к своему концу.

Казалось бы, на Западе нет недостатка в собственных кассандрах, предрекающих если не неизбежность, то, во всяком случае, возможность близкой катастрофы. Но почему-то аналогичные предупреждения, исходящие из мусульман-

ского лагеря, вызывают болезненную реакцию. И находить у мусульман какие-то элементы позитивной альтернативы, насколько я знаю, никто не хочет. Приходится констатировать, что в прежние времена западные люди были способны к большей объективности в отношении мусульманского мира, чем сейчас (я не говорю о тех европейских интеллектуалах, которые переходят в ислам, — они тоже демонстрируют нехватку объективности, только иначе). И это несмотря на тяжесть взаимных обид, разделявших христиан с мусульманами.

Собственно, взаимные обиды объясняются главным образом военными действиями, с незначительными перерывами продолжавшимися целую тысячу лет и резко усиливавшими взаимную вражду¹². Столь позднее произведение литературы, как «Освобожденный Иерусалим» Т. Тассо (1574), весь пронизан пафосом борьбы с неверными (удивительно ли? — ведь только-только отгремела битва при Лепанто). Лишь ослабление военного противостояния и решительное изменение соотношения сил между двумя лагерями сделало возможным более дифференцированный со стороны европейцев взгляд на мусульман. Другая тому причина — секуляризация европейского мышления. Я отнюдь не хочу сказать, что секулярно мыслящий человек способен лучше понять мусульманина, убежден, что, как раз наоборот, религиозно мыслящему христианину это удастся гораздо лучше. Но в определенный исторический период преодоление давно сложившихся предубеждений лучше удалось людям с научно-рациональным складом ума. Таков был Век Просвещения.

Вот только два примера. Один из них — «Персидские письма» (1721). Монтескьё не был в Персии, но знакомство с сочинениями современных ему путешественников навело его на мысль сопоставить нравы двух стран, Франции и Персии. Увидеть Францию, вообще Европу глазами персов — прием, позднее названный остранением. Автор при этом отнюдь не ставит их в положение неких условных мудрецов (вроде Заратро из моцартовской «Волшебной флейты»), напротив, они сами готовы восхититься мудростью Европы, сумевшей «распутать хаос» и произвести на свет немало «чудес и удивительных вещей». Вместе с тем множество французов оставляют у них самое дурное впечатление: они совсем не похожи на тех христиан, с которыми мусульмане столкнулись в эпоху крестовых походов, «они скорее похожи на тех несчастных, которые жили во тьме язычества до того дня, пока Божественный свет не озарил лик нашего великого Пророка». Положим, в этих словах звучит авторская ирония, которую позволительно счесть обоюдоострой, однако в других случаях он, вне всякого сомнения, разделяет суждения своих героев. Например, там, где говорится о «здесьних тлетворных местах, где люди не ведают ни стыда, ни добродетели». И там, где парижане и парижанки производят впечатление «бесстыжих». И там, где звучит жалоба на «себялюбивых дураков», которые «везде и всюду» и которые «расписывают себя перед вами и все разговоры переводят на собственную особу». Один из отцов европейской демократии, Монтескьё (выходец из провинциальной аристократии) считал высокий уровень личности необходимым условием свободы и демократического порядка; идеалом в этом смысле были для него герои республиканского Рима. А образцом недолжного служили парижские либертены, преимущественно из высших классов, сопоставление с которыми жителей мусульманского Востока оказывалось выигрышным для последних.

Другой пример — «Путешествие в Сирию и Египет» Вольнея (1784). Писавший под этим псевдонимом Константен де Шасбёф, один из ведущих «идеологов» конца XVIII — начала XIX века, тоже нашел в странах, которые

¹² Таков был, впрочем, общий фон. На этом фоне были возможны и совместные пирования христианских и мусульманских рыцарей в эпоху крестовых походов, и роман Алионоры Аквитанской с Саладином — целиком вымышленный, но реальный как артефакт, — которого она якобы пыталась обратить в христианство.

посетил, много отрадного на уровне простого человеческого общения. «Среди культурных народов, — пишет он, — мало найдется таких, которые были бы в столь высокой степени нравственны, как эти» (сирийцы и египтяне). И далее: «Находясь среди мусульман, я не раз задумывался над тем, что успехи цивилизации могут лишиться всякого смысла, если падение нравов достигнет той же стадии, какой оно достигло в Риме эпохи цезарей»¹³. Конечно, для просветителей, каковы Монтескьё и Вольней, мусульманский Восток являет собою скорее отталкивающую картину, ибо там деспотизм и клерикализм еще грознее, чем в Европе, но коль скоро речь заходит о человеческой «составляющей», их суждения (Вольнеем вынесенные из непосредственного общения, а Монтескьё из знакомства с соответствующей литературой) становятся не только благосклонными, но и не лишены некоторой зависти.

Однако в дальнейшем Европа утвердилась во мнении, что ей нечему учиться у неевропейских народов, которым раз и навсегда отвела роль своих благодарных учеников; по крайней мере у мусульманских народов никто ничему учиться не собирается.

Двадцать лет спустя после Иранской революции академический журнал «Мидл ист джорнал» так оценивает нынешнее положение страны: «Исламская республика Иран, похоже, становится все более интересной лабораторией, позволяющей наблюдать применение ислама в политической практике. Иран может выработать модель для других, а может потерпеть неудачу, но в любом случае его успехи и ошибки послужат уроками для всех»¹⁴. Имеется в виду — для всех мусульман. Что иранский опыт в политическом или неполитическом плане заключает в себе нечто поучительное для Запада — об этом ни слова ни в этой статье, ни в каких-то других выступлениях; во всяком случае, в тех, которые мне известны.

Хотя, казалось бы, легко заметить асимметрию: слабое место Запада есть как раз сильное место Ирана (если ограничиться этой страной), именно человеческая «составляющая». О том, как обстоит дело с человеком на Западе, сами западные эксперты делают убийственные заключения: «человек умер», «распался на части» и т. д. Понятно, речь идет всего лишь о тенденциях, но тенденциях все более ошутимых.

В отличие от западного человека, каков он есть сегодня, мусульманин вопрошает себя не «Чего я хочу?», но — «Чего хочет Бог?». В этом его сила. И эта сила позволяет мусульманам бросить вызов западной цивилизации «по всему фронту». Я думаю, что заявки на строительство «исламской науки», «исламской экономики» и т. д. надо принимать всерьез — если только не абсолютизировать, в шпенглеровском духе, религиозно-культурное их содержание в ущерб универсальному. Конечно, скорых результатов тут ждать не приходится: слишком велико отставание от Запада. И все же смеяться над догоняющими было бы опрометчиво, ибо на главном «участке фронта», проходящем через самого человека, мусульманский мир имеет на сегодня определенные и, возможно, решающие преимущества.

Правильно оценить расстановку сил в мусульманском мире нередко мешает текущая политическая конъюнктура. Америка, например, до недавних пор видела в Иране своего злейшего врага потому, что у нее с ним «личные счета». И наоборот, терпимо относилась к ваххабизму, ибо дружила и дружит на государственном уровне с Саудовской Аравией (прощая ей даже вмешательство религиозной полиции в личную жизнь аккредитованных в этой стране американских дипломатов) и пыталась дружить с талибами, перенося на них те близкие отношения, какие сложились у нее с афганскими моджахедами в

¹³ Цит. по кн.: Gaulmier J. L'idéologue Volney. Beyrouth, 1951, p. 106, 118.

¹⁴ Bulliet R. Twenty Years of Islamic Politics. — «The Middle East Journal». Vol. 53, № 2, Spring 1999, p. 195.

период их войны с СССР. И лишь в последнее время приходит осознание того, что как раз в иранском обществе основа для некоторого взаимопонимания с Западом существует, а у ваххабитов нащупать ее чрезвычайно трудно, если вообще возможно.

В 20-е годы, когда европейцы «вдруг» заметили в небе над собою низкое солнце, американский историк Ч. Берд писал: «Если когда-нибудь Восток сокрушит Запад на поле сражения, то это произойдет из-за того, что Восток полностью овладеет западной технологией»¹⁵. Сорок лет спустя П. А. Сорокин посчитал, что это пророчество в значительной мере уже сбылось, только сражения как таковые отошли в область прошлого. Действительно, Дальний Восток, приблизившийся к Западу по уровню технологического развития, идет по пути подражательных действий, хотя что у него там на душе, покажет время. Не то мусульманский Восток. Отнюдь не в технологии полагая свою силу (хотя и ею не пренебрегая), он намерен сокрушить Запад на тех «полях сражений», которые сам выбирает, не исключая таковое в более или менее традиционном смысле, в кавычках не нуждающееся.

Думаю (и надеюсь), что Запад не будет «сокрушен», но вряд ли ему удастся устоять просто в силу сложившихся автоматизмов. Трусливая любовь к радостям настоящего, о которой писал Токвиль, может на сей раз основательно его подвести. Наследникам *in jure sanguinis* (по праву крови) героев Лудовико Ариосто и Вальтера Скотта придется кое-то вспомнить, чтобы достойным образом встретить «неприятеля» (в кавычках или без).

История с географией обязывают

И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает.

Лк. 12: 55.

Ни одна христианская страна мира не имеет такого исторического опыта сожительства христиан с мусульманами, который имеет Россия. Из всех европейских стран только в России (если не считать мелкие балканские страны) есть автохтонное мусульманское население, притом весьма значительное численно. И только Россию подпирает с юга огромный мусульманский массив. И в этом опыте позитивного было больше, чем негативного. Отношение к мусульманам, проживающим в составе Российской империи, по крайней мере со второй половины XVIII века, было снисходительным по преимуществу. В пределах империи даже имела место некоторая экспансия ислама: так, обращение в ислам башкир и казахов было завершено уже при русской власти.

С конца XIX века среди российских татар получил распространение *джадидизм* — разновидность салафитского движения, той его ветви, которую я выше назвал соревновательной. Труды российских джадидов, в первую очередь Исмаила бея Гаспринского, оказали влияние на современных исламских реформаторов в Иране и других странах.

Победа большевиков первоначально была принята с энтузиазмом многими российскими мусульманами, поверившими принятой в ноябре 1917 года «Декларации прав народов России», формально предоставившей каждому народу бывшей империи право распоряжаться собою, вплоть до отделения от России. Но кызыласкеры (красноармейцы) быстро окоротили энтузиастов отделения, а через считанные годы на мусульман СССР обрушились злейшие за всю историю гонения (впрочем, таковые же обрушились на православных): власть вознамерилась затоптать в пыль обе великие религии, так, чтобы ничего от них не осталось.

¹⁵ Цит. по кн.: Сорокин Питирим А. Главные тенденции нашего времени. М., 1998, стр. 93.

Совсем затоптать не удалось, корни остались; причем у мусульман они, похоже, сохранились лучше, чем у православных. Сейчас они дают свежие победы, и следить за их ростом не только интересно, но и крайне важно для будущего России.

В разных регионах — по-разному важно. Поволжские и приуральские мусульмане, живущие не только, и даже не столько, в своих национальных республиках, сколько вне их, должны быть предметом первостепенного внимания в указанном смысле. Ибо они — обречены жить с русскими «вечно».

Северокавказские автономии и в первую очередь Чечня — этот окраинный регион стратегически важен для России, и за него еще стоит побороться, даже если допустить, что в будущем эти автономии могут стать независимыми (какое допущение не лишает смысла нынешние военные усилия: можно допустить, что автономии станут независимыми *от* России, но не *против* нее, как это имело место в Чечне).

Центральная Азия и Азербайджан, хотя и за граница, заслуживают пристального внимания как по причине традиционных связей с ними, так и потому, что в силу географического положения они становятся проводниками влияния, какое исторические центры ислама оказывают на наших «внутренних» мусульман.

Все «наше» (и бывшее «наше») мусульманство — суннитское (за исключением Азербайджана, где преобладают шииты) — отмечено печатью суфизма. На Северном Кавказе и на большей части Центральной Азии это «народный суфизм», на юге Центральной Азии и в Татарии — более развитые формы его (так, во всяком случае, было до советских гонений). Ваххабизм, близко соприкасающийся с варварством и всюду объявляющий войну суфизму, здесь так же необычен, как и во многих других местах, но оснований для его появления и роста здесь даже больше, чем, например, в Афганистане. Ибо нигде не было такого отрыва от традиций, такого пренебрежения ими, как в советской стране.

Лучшая защита от ваххабизма в рамках самого ислама — движение в его глубину. В этом смысле подает надежды Татария, всегда бывшая центром интеллектуального ислама в России. Здесь есть интеллигенция одновременно религиозная и европейски мыслящая, восстанавливающая и продолжающая оборванную линию джадидизма. Жизнь для нее давно «переведена на русский», но основой мировоззрения остается — или скорее заново становится — ислам.

Что касается бывших «наших» мусульманских республик, то они чем дальше, тем больше будут сближаться с «внешним» мусульманским миром и соответственно отдалятся от России; чтобы предсказать это, не нужно обладать выдающимися провидческими способностями. Центральную Азию, особенно в южной ее части, уже сейчас захлестывает волна исламизма, вызывая у тамошних «диадохов», наследников советской империи, беспокойство, переходящее в панику. Ветры, дующие с юга, свеивают культурные накопления советского времени, а новые веяния бывшая номенклатура, пребывающая у власти, воспринимает как враждебные и в меру своих возможностей пытается с ними бороться. С заведомо нулевыми шансами на успех.

В Азербайджане несколько иная ситуация, видимо, по причине его более длительного пребывания в составе Российской империи. В этой стране, где еще в прошлом веке М. Ф. Ахундов, гонитель ислама и русофил, призывал азербайджанцев к слиянию с русским народом, секуляризация глубже и русификация основательнее. Но и здесь существующий режим подернут дымкой обреченности, и здесь смещение в южную сторону — дело времени.

Вопрос в том, в каком именно направлении (в духовном смысле) пойдет исламизация бывших «наших» южных регионов. Исторически вся Центральная Азия и мусульманское Закавказье (отчасти и Дагестан) — зона безраздельного влияния Персии; значительная часть этих территорий даже административно входила в ее состав (Азербайджан, к примеру, до начала XIX века). Бухара, Самарканд, Гянджа долгое время были важнейшими центрами *персидской* культуры. Когда шиизм стал государственной религией в Персии, это несколько ослабило ее влияние в Центральной Азии, и все равно оно остава-

лось очень значительным вплоть до прихода русских, а в культурном смысле даже и позже. Сейчас государства, о которых идет речь, держат знамя национализма (с исламской окраской) и ориентируются преимущественно на Турцию, во-первых, потому, что большинство из них связано с нею в этническом и языковом отношении, и, во-вторых, потому, что Турция явилась пионером национализма и секуляризма в мусульманском мире и пока остается в этом отношении «правифланговым».

Опыт, однако, показывает, что для мусульманских стран национализм — временное пристанище, где, в отличие от европейских, долго они не задерживаются. А в Центральной Азии он особенно зыбок по той причине, что границы между нациями там были проведены (в 20-е годы в значительной мере) достаточно произвольно. Секуляризм, как мы знаем, тоже плохо прививается в мусульманском мире.

Наступающий ислам низводит значения языка и крови до положения второстепенных. Кстати говоря, ислам наступает и в самой Турции; более того, за последние два десятилетия Турция стала одним из интеллектуальных центров ислама (пожалуй, третьим по значению после Ирана и Египта). Так что смена идейных ориентаций для бывших «наших» в любом случае неизбежна.

Исходя из того, что сказано выше, легко сделать вывод, что иранские ориентации, безусловно, предпочтительнее, скажем, афганских. Хотя волна исламизации любого характера или цвета создает опасности на границах России. На центральноазиатском направлении она может смешать все карты и поломать все существующие режимы, и тогда единственным «волнорезом», встретившимся ей на пути, окажется русскоязычный Северный Казахстан (если, конечно, русские к тому времени оттуда не сбегут). В этом случае вмешательство России в его дела практически неизбежно, и скорее всего оно примет военный характер.

Пишет американский востоковед: Москва стремится «навязать гражданам своей страны восприятие ислама на Ближнем Востоке исключительно как надвигающуюся угрозу»¹⁶. И якобы сильно эту угрозу преувеличивает в каких-то своих корыстных целях. Такая точка зрения характерна сегодня для значительной части американской и еще большей части европейской общественности.

Я старался показать, что восприятие ислама на Ближнем Востоке не должно ограничиваться видением кривого меча с начертанными на нем сурами, что важно ощущать исходящий из центров современного ислама религиозно-культурный вызов. Вот этого ощущения Западу как раз сильно не хватает. Но, с другой стороны, Западу не хватает уразумения физической угрозы, исходящей из тех же краев. Отчасти, наверное, потому, что географически он несколько лучше от них защищен, чем Россия. И если кому-то придется принять на грудь мусульманские «туманы» и «тьмы» (оба поэтически звучащих на русском слова в языках, из которых они взяты, означают одно и то же: десятитысячное войско), в первую очередь это окажутся, наверное, россияне.

Иль «...Росс рожден судьбою / От варварских хранить вас уз»?

Но еще раз: надо различать слово и пену на губах. На слово — отвечать словом. Ветер, как известно, устремляется из мест с большим давлением в места с меньшим давлением. Так вот, надо самим создавать у себя область высокого давления — надеюсь, понятно, в каком смысле (работа, которая затребует усилий не одного поколения, но только так мы сможем остаться в ряду «исторических» народов). Чтобы дуло не от них к нам, а от нас к ним.

¹⁶ Эткин М. Ваххабизм и фундаментализм: термины-«страшилки». — «Центральная Азия и Кавказ», 1999, № 4, стр. 129.

ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА

ВЛАДИМИР ОШЕРОВ

*

HOMESCHOOLING И ЕГО УРОКИ

NPR, или National Public Radio («Национальное общественное радио»), — разветвленная компания с сотнями местных станций во всех штатах Америки, многотысячными работниками и бюджетом, исчисляемым сотнями миллионов долларов. Финансируется частично из государственной казны, частично — всевозможными фондами, спонсорами и добровольными пожертвованиями рядовых слушателей. Радиостанция имеет многомиллионную аудиторию в Америке и за ее пределами. Главные достоинства NPR — почти полное отсутствие рекламы (разумеется, постоянно слышишь имена спонсоров, но времени это отнимает немного), разнообразие тематики, хороший вкус и высокий профессионализм. Вместе с тем NPR, хотя и старается соблюдать приличия и предоставлять возможность высказываться всем сторонам проводимых дискуссий, особой объективностью никогда не отличалось, открыто занимая леволиберальные позиции в их современном западном понимании: приверженность социализму, пацифизму, феминизму, борьба за права сексуальных и прочих меньшинств, за отделение церкви от государства и прочие *causes celebres* сегодняшней интеллектуальной элиты.

Поэтому недавняя серия передач о домашнем образовании в США, выдержанная в умеренных — и даже благожелательных — тонах, показалась полной неожиданностью: ведь долгие годы домашнее образование считалось среди «прогрессивных» кругов США исключительно средством промывания мозгов, прибежищем религиозных фанатиков и фундаменталистов. Чем же вызвана нынешняя перемена?

Известный публицист Том Бетелл пишет: «Я всегда знал, что образование — одно из тех великих и безнадежных начинаний, на реализацию которых прогрессисты возложили столько надежд. Образование преобразит нас всех, общество будет трансформировано и так далее. Было очевидно, что затея эта неосуществима, и потому я игнорировал ее многие годы. Оказалось, я был не прав. Педагоги и в самом деле преобразили мир. Но никто не мог предвидеть, что они изменят его в худшую сторону».

Главной своей ошибкой Бетелл считает уверенность в том, что достигнутый к началу Второй мировой войны высокий уровень образования в западных странах вряд ли может повыситься или понизиться. Отношение к образованию было достаточно прагматичным: кто-то старался обеспечить своим детям максимум образования, другим это было безразлично — но никто не жаловался на его качество. Однако начиная с 60-х годов отношение к средней школе стало заметно меняться: от школы все чаще требовали решения социально-воспитательных задач.

Особенно это было заметно в Америке, где происходили масштабные социальные перемены, вызванные борьбой за гражданские права негров, антивоенным движением, сексуальной революцией, секуляризацией общества и отменой цензуры. Героем дня стал бунтарь, отвергавший буржуазное благополучие и конформизм. Значительная часть американской интеллигенции, осо-

бенно преподаватели университетов и школ, видели свою миссию в том, чтобы формировать у растущего поколения сознание, более созвучное веяниям времени. Разумеется, западная интеллигенция всегда сочувствовала идеям общественного переустройства и внесла немалый вклад в пропаганду социалистических и леволиберальных идей. Но до 60-х годов никому в Америке в голову не приходила мысль использовать для этого школу.

Думается, что успехи советских методов «повышения сознательности» (и фашистских тоже) не были ни для кого секретом. Именно коммунисты и нацисты раньше других смогли оценить воспитательный потенциал унифицированной, контролируемой государством школьной системы. Теперь же эстафету использования школьного образования в качестве инструмента радикальной трансформации общества приняли западные левые. Но это повышенное внимание к сфере образования сослужило плохую службу американской средней школе. В числе факторов, отрицательно повлиявших на эффективность среднего образования, — появление новых, «политкорректных» предметов — таких, как мультикультурализм, *environmental studies* (экология), *sensitivity training* (уважение к «сексуальным меньшинствам»), *sex-education* и проч., при одновременном сужении объема академических дисциплин. В результате понизился уровень грамотности, математических знаний и общей эрудиции, о чем неопровержимо свидетельствуют как показатели общенациональных стандартных тестов, так и специальные социологические исследования, проведенные среди многих тысяч учеников.

Еще одна причина снижения уровня среднего образования в США заключается в присущем современной западной цивилизации стремлении к либерализации отношений между взрослыми и детьми, желании уравнивать их «в правах» даже на юридическом уровне. На педагогическом уровне такие тенденции приводят к тому, что учителя утрачивают инициативу и теряют контроль над воспитательно-образовательным процессом, самоустраиваются от решения таких вопросов, которые дети сами решить просто не в состоянии. Но идеологическая догма — «равноправие детей» — часто одерживает верх над здравым смыслом. Мотивы при этом могут быть самыми благородными — например, защитить детей от родительского произвола в обстановке неблагополучной семьи, от употребления наркотиков, алкоголя и т. д. К сожалению, этим пользуются те, кому хочется оторвать детей от родителей, особенно от родителей строгих, религиозных, желающих воспитать детей в традициях прошлых поколений. Коммерческие интересы играют здесь не последнюю роль: достаточно упомянуть рок-индустрию, MTV, молодежные журналы.

Все это привело к тому, что взрослые не только теряли свой авторитет у детей, но и переставали вообще заниматься их воспитанием, полагая, что они уже достаточно зрелы и могут сами справиться со всеми жизненными проблемами. Но дети, как это было во все времена, нуждаются в родительской помощи и опеке до тех пор, пока не наберутся достаточного опыта. Зловещим напоминанием о том, какими опасностями чревато отсутствие постоянного взаимодействия между родителями и детьми, послужили школьные убийства 90-х годов. Ведь именно отсутствие контакта с родителями и учителями, как выяснилось в большинстве расследований, оказалось основной причиной совершенных преступлений: родители попросту не знали — да и не очень интересовались, — чем занимаются их дети.

Жалобы на низкое качество школьного образования в США, особенно в государственных учебных заведениях, зазвучали уже давно, и наиболее громко — со времени запуска в СССР первого искусственного спутника Земли в 1957 году. И на протяжении всех последующих лет повышение качества образования оставалось в повестке дня всех вашингтонских администраций, независимо от того, какая партия находилась у власти. Были затрачены и продолжают расходоваться многие миллиарды долларов, избирательные кампании полны обещаний улучшить ситуацию в школах — однако уровень подготовки американских школьников остается ниже показателей других стран, и не толь-

ко европейских, но и азиатских, сохраняющих более традиционный подход к образованию. Падение дисциплины в школе сопровождалось ростом употребления наркотиков и половой распущенностью, нашедшей выражение в резком росте числа беременностей и внебрачных детей среди школьниц, особенно негритянок. К этому добавилась еще и серия вышеупомянутых инцидентов с применением огнестрельного оружия и десятками жертв среди школьников и учителей. Поэтому ничуть не удивительно, что сегодня в Америке все больше и больше родителей ищут какие-то альтернативы школьному образованию, особенно государственному.

Начались эти поиски альтернатив со знаменитых решений Верховного суда США об отмене школьной молитвы и изучения Библии в госшколах в 1962 — 1963 годах. Тогда под предлогом конституционного отделения церкви от государства проводилась жесткая политика искоренения любых проявлений религиозности в школе, даже сугубо личных и добровольных. И почти сразу по всей Америке стали открываться новые частные школы, прежде всего религиозные. Многие родители-христиане пошли еще дальше: они стали учить детей дома. Поначалу *homeschooling* (домашнее образование) натолкнулось на сильное сопротивление властей. Было много случаев принудительного возвращения детей в школы, но родители не сдавались, и в ходе ряда выигранных ими судебных дел в нескольких штатах были созданы прецеденты, под защитой которых домашнее образование продолжало расти по всей Америке.

После того как *homeschooling* завоевало юридическое право на существование, к детям, обучавшимся дома, еще долго относились преимущественно негативно: прежде всего подвергалось сомнению само качество домашнего образования, уровень знаний *homeschoolers* (домашних школьников), педагогическая квалификация родителей. Однако социологические исследования свидетельствовали: опрос, проведенный среди двадцати тысяч учащихся из двенадцати тысяч семей, показал, что уровень знаний *homeschoolers* в целом не ниже, а выше уровня учеников государственных школ. Почти 25 процентов *homeschoolers* на один-два года опережали свои возрастные категории даже в сравнении с учащимися частных школ, а среди учеников от первого класса до четвертого такое опережение было почти стопроцентным. Эти данные были настолько впечатляющи, что руководивший обследованием социолог Лоренс Руднер поспешил заверить общественность, что они не должны ни в коем случае служить поводом для нареканий в адрес обычных школ. По его словам, это просто значило, что *homeschooling* — полноценная альтернатива.

В 1997 году подросток, обучавшийся дома, впервые завоевал первое место в общенациональном конкурсе грамотности. А в 2000 году «домашние» уже заняли первое, второе и третье места в том же конкурсе. Высокое качество домашнего образования подтвердили и общенациональные тесты для поступающих в высшие учебные заведения (АСТ). В 1998 году средний показатель у *homeschoolers* составлял 23 из 36 баллов, у обычных школьников — 21 балл. Следует отметить, что 23 — проходной балл в престижных колледжах. Более 750 колледжей и университетов уже не требуют обязательного школьного диплома и принимают *homeschoolers* просто потому, что они ничем не хуже других. Их принимают в Гарвард, Йейл, Джорджтаунский университет, в лучшие военные академии. Из общего числа *homeschoolers*, подавших документы в Стэнфордский университет в 1999 году, процент поступивших в два раза выше, чем у выпускников обычных школ.

В принципе, удивляться нечего. Во-первых, многие родители в свое время закончили колледжи и университеты, многие из них когда-то сами преподаватели в школах и колледжах. Другие просто достаточно хорошо начитанны и подвижны желанием дать хорошее образование детям. Во-вторых, ясно, что работа с малым количеством учеников или даже с одним учеником всегда будет иметь больше шансов на успех, чем обучение целого класса, пусть даже самого немногочисленного.

Спрашивается: почему же понадобилось столько времени, чтобы пробить стену неприятия? Что мешало домашнему образованию развиваться сегодняшними темпами?

Помимо предрассудков, стереотипов и юридических препон, одна из главных причин — конечно же женская занятость. Две трети американской экономики напрямую зависят от потребителей, от их желания тратить деньги. Поэтому так велико давление рекламной индустрии, кино, телевидения на сознание среднего американца: надо убедить людей раскошелиться на вещи, без которых они могли бы вполне обойтись, — иметь самую последнюю модель автомобиля, одежду самой последней моды, самый современный компьютер, телевизор и прочую электронику, жить в доме с тремя ваннами и гаражом на четыре машины... Чтобы «потянуть» все это и не ударить лицом в грязь перед соседями и друзьями, многие женщины идут работать, отдавая предпочтение карьере и деньгам перед домом и детьми. Им при этом твердят, что таким путем они «самоосуществляются».

С одной стороны, мы видим как бы неостановимые и внешне естественные тенденции постиндустриального общества: снижение рождаемости, распространение безбрачного сожительства, дезинтеграцию традиционной семьи. Все это — ради того, чтобы лучше жить, полнее осуществить свой индивидуальный потенциал, взять от жизни максимум. Но у красивой жизни, как выясняется, есть не очень красивая изнанка — общее старение населения, духовное обнищание, разобщенность, упадок культуры, рано повзрослевшие, не по возрасту искушенные, но не обремененные совестью дети; новые, устрашающие проблемы — массовая наркомания, ранние беременности, стрельба в стенах школ. С другой стороны, сохраняется потребность в душевном тепле и взаимопонимании, в том, чтобы делиться с другими, а не только грести под себя; потребность в детях, в полноценной, духовно насыщенной семейной жизни. Так ли уж это отошло в прошлое?

Как ни старается консьюмеристская цивилизация, в Америке еще свежа память о больших семьях, о застольях в Рождество и День благодарения, когда многочисленные родственники съезжались с разных концов страны, чтобы повидаться и поделиться своими радостями и заботами, свежи воспоминания о ежевечернем семейном ужине. Да и сегодня еще много таких семей среди религиозных американцев — христиан, мусульман, иудеев, но особенно среди новых эмигрантов из Латинской Америки и Азии, у которых большие семьи и процент которых в общем составе населения Америки растет не по дням, а по часам. Данные последней переписи показали, например, что белое население Калифорнии (самого населенного штата) и Нью-Йорка (самого большого города) уже сегодня стало «меньшинством». Данных о том, насколько это влияет на семейную динамику самих белых, у нас нет, но факт остается фактом: все больше американцев после долгого перерыва начинает возвращаться к традиционной семейной жизни.

Еще один источник сомнений в целесообразности homeschooling — вопрос о так называемой социализации. Много было сказано о том, что домашние ученики замкнуты, нелюдимы, не способны на нормальное общение с обычными школьными ребятами, то есть с большинством своих сверстников. Утверждали, что они — тепличные существа, не приспособленные к самостоятельному существованию в современном мире. На деле и это оказалось далеким от реальности. Прежде всего homeschoolers отнюдь не сидят дома взаперти — общения с другими детьми у них хоть отбавляй: они ходят в библиотеки, музеи, на спортплощадки, концерты, участвуют во всевозможных общественных мероприятиях. Внешкольное образование вовсе не ограничивается семьей. В некоторых штатах уже приняты законы, позволяющие детям, обучающимся в семье, посещать в общеобразовательных школах уроки музыки, рисования, физкультуры, а также занятия для особо одаренных детей.

Конечно, для детей, никогда в жизни не учившихся в школе, это иногда сопровождается определенными сложностями. Например, один мальчик, сидя

в классе во время экзамена и почувствовав голод, вытащил из сумки свой бутерброд и начал есть, ничуть не стесняясь окружающих. Понятий об определенных правилах внутреннего распорядка для него не существовало, пока ему не объяснили, что на экзаменах и вообще на уроках есть нельзя, что для этого существует специально отведенное время и место. Многие дети не научены поднимать руку в классе, просить разрешения пойти в туалет и т. д. Но все эти навыки усваиваются очень быстро.

Кроме того, семейное образование уже настолько распространилось, что семьи, живущие по соседству, формируют домашние группы детей и коллективно нанимают репетиторов по отдельным предметам. Главное — индивидуальный подход и малая величина соотношения «ученики — учитель». Фактически в домашнем обучении осуществляется в полной мере идея снижения числа учеников в классе, за которую борются с такой настойчивостью профсоюзы учителей — главные противники домашнего образования.

Исследования также показывают, что после трех-четырёх лет домашнего обучения даже застенчивые и ранимые дети становятся увереннее в себе, независимее, они лучше справляются с возможными трудностями в отношениях с другими детьми, более адекватны в конфликтных случаях. Их труднее травмировать насмешками, оскорблениями и применением силы. Такие дети могут постоять за себя и даже стать лидерами в своих возрастных группах.

Так что и с социализацией дело обстоит не так уж плохо. Главное — устраняется негативная социализация, характерная для современной американской школы: культ спортсменов, чемпионов, красавцев и красавиц, презрение к тем, кто в чем-то уступает «стандартам», не может «быть как все», застенчив, не блещет умом или внешней привлекательностью. Как показали обследования в тех школах, где имели место недавние убийства, желание отомстить за подобные насмешки как раз и было наиболее распространенным мотивом, толкнувшим подростков на преступление. А поскольку влияние сверстников на детей, обучающихся дома, минимально и им не надо стараться выглядеть «крутыми» в глазах приятелей, то и с родителями у них легче устанавливаются добрые отношения, улаживаются конфликты. Дети становятся более уважительными к старшим и трудолюбивее в учебе.

В сфере домашнего образования сегодня существует целая сеть организаций и компаний, помогающих родителям в этом трудном деле. Составляются программы по всем предметам, сопровождаемые учебными и методическими пособиями. Материалов такого рода — великое множество. В процессе многостороннего, каждодневного обмена информацией Интернет играет все большую роль. Функционируют десятки разнообразных сайтов и форумов, светских и религиозных, где можно получить консультацию или учебное пособие, установить контакты со сверстниками и т. д. По существу, обслуживание всей сферы домашнего образования становится прибыльным бизнесом, как тому и положено быть в Америке. В настоящий момент число *homeschoolers* приближается к двум миллионам человек.

Как же реально происходит обучение детей дома? В каждой семье свои порядки, свои навыки. Например, семья Рэндалл-Швенднер, принимавшая участие в передачах NPR, очень много времени уделяет чтению. Родители читают вслух детям, и дети сами много читают самостоятельно. Из местной библиотеки берутся аудио- и видеокассеты, записываются образовательные передачи некоммерческого телевидения по истории, географии, биологии. Единственное, чего они не используют, — это учебники. Находят другие виды пособий, нанимают репетиторов, проводят групповые занятия вместе с другими семьями *homeschoolers*. Главное — гибкость и индивидуализация, позволяющие детям больше вывить свои способности.

Для семьи Уоткинс главным мотивом домашнего обучения детей было желание оградить их от вредных влияний. Когда-то эти влияния выражались в курении в школьном сортире, в прогулах, сегодня же все куда серьезнее. Детей нельзя оставлять без присмотра родителей — на них влияет все: сверстни-

ки, телевидение, кино, вся масскультура, наполненная насилием, сексом, прославлением знаменитостей. Вопрос об академическом образовании как таковом в этой семье не игнорируется, но он не главный.

Распорядок дня в домашних условиях достаточно строгий, но более гибкий, чем в школе. Вот как, например, проходит день в одной протестантской семье. В ней шестеро детей — от шести месяцев до одиннадцати лет. Мать, конечно, не работает, хотя у нее высшее педагогическое образование. С восьми часов утра, после завтрака, дети занимаются выполнением индивидуальных заданий разной степени сложности, в зависимости от возраста. Предметы — чтение, письмо, математика. Так до полудня, с небольшим «бутербродным» перерывом. Мать всегда находится рядом, готовая помочь или проверить. В обед дома появляется отец, работающий неподалеку. Он успевает провести 20 — 30 минут с детьми, читая и обсуждая отрывки из Библии. Занятия продолжаются до двух с половиной часов, после чего дети могут приняться за свои личные дела и помогать по дому. Вечером за ужином вся семья обсуждает события дня.

В другой семье учебе уделяют всего четыре-пять часов в день, без особого расписания. Основные предметы — чтение, письмо, математика. Отец дает задания детям по разным предметам, и они должны раз в неделю представить письменную работу на заданную тему. Когда дети были еще маленькими, отец много читал им, и до сих пор они собираются всей семьей, читают вслух статьи и книги на самые разнообразные темы, а затем их обсуждают. Особое внимание уделяется вопросам нравственности. Они обсуждаются всей семьей, и повод для этого может быть любым: реальное событие, достижения науки и техники, художественная литература. По меньшей мере два часа в день дети помогают родителям по хозяйству. На игры и развлечения отводится час-полтора. Отец семейства по профессии краснодеревщик, у него нет высшего образования, но он много читает, и в доме хорошая библиотека, включающая несколько энциклопедий. С точки зрения родителей, самая плодотворная часть домашнего образования — общесемейные беседы о нравственности. В колледж никто поступать не собирается, и упор делается на освоение знаний, необходимых в повседневной жизни.

Разумеется, в случае, когда для детей планируется высшее образование, учеба ведется более организованно и в соответствии с требованиями общенациональных тестов, от результатов которых зависит и поступление, и возможность получения грантов, ссуд и стипендий.

В семьях, где ведется homeschooling, как правило, сидение перед телевизором не поощряется. Исключение составляют образовательные программы или программы для малышей. А во многих христианских домах телевизора вообще нет — выбросили на помойку. И, судя по отзывам и детей, и родителей, об этом почти никто не жалеет.

Еще одно новое для Америки явление. Все больше мужчин предпочитают сидеть дома с детьми и заниматься домашним хозяйством, тогда как жена выступает в роли кормильца. Согласно статистическим данным, в 1991 году число мужчин-«домоседов» с работающими женами составляло 3 385 000 человек. И это число продолжает расти. Но одновременно многие женщины, занимающие высокооплачиваемые должности в различных секторах экономики, увольняются ради того, чтобы посвятить себя домашним заботам. Согласно опросам, 59,5 процента таких женщин утверждают, что пребывание дома имеет положительный эффект для их самоощущения, 75 процентов констатировали улучшение в семейных отношениях, причем мужья стали больше помогать по дому. По данным Бюро переписи населения США, 36 процентов американских домохозяек имеют высшее образование. При этом опросы показывают, что до 60 процентов женщин, оставивших работу, не собираются туда возвращаться. Таким образом, и женщины, и мужчины в США все более склонны жертвовать большими заработками и чисто материальным комфортом ради своих детей и семейного благополучия.

Журналист Дана Мак пишет: «Это возросшее родительское присутствие дома как женщин, так и мужчин отражает значительный и довольно неожиданный сдвиг в настроениях американцев. На протяжении более чем двадцати лет число женщин, готовых бросить работу и сидеть дома с детьми, когда это было им по карману, оставалось стабильным, на уровне 30 процентов. Внезапно в конце 80-х и начале 90-х годов это число подскочило до 56 процентов».

Даже среди работающих женщин очень высок процент тех, кто предпочел бы быть дома, если бы не нужда в дополнительных заработках. Таким образом, «работающая женщина», этот символ женского освобождения, гордость феминисток и свидетельство их успеха, оказывается на поверку не столь уж притягательным. Да, есть реальные психологические рычаги консьюмеристского общества, требующие все больших и больших расходов на удобства и развлечения, но они отходят на второй план, когда речь идет о более глубоких потребностях человеческой личности.

Успех домашнего образования — еще один симптом кризиса, переживаемого феминизмом в наше время, кризиса, о котором за последние годы написано уже немало. Феминизм начался с законной и справедливой борьбы за политические права женщин, прежде всего за право участвовать в выборах. Другое дело — современный феминизм, у которого множество оттенков — от движения за право «владеть своим телом» (то есть права на аборт) до лесбиянства и крайних мужененавистнических теорий. Хотя приверженцев у них не так уж много, именно эти последние часто проповедуются на кафедрах «women's studies» («женоведения») в ряде американских университетов. Но и феминизм мейнстрима потерпел неудачу, которая состоит совсем не в том, что феминизм не достиг поставленных целей. Как раз цели были достигнуты с ошеломляющим успехом. Беда в том, что сами цели оказались ложными, и это стало очевидным, как только пришло время подводить итоги.

Движение за домашнее образование было прежде всего реакцией на общее неблагополучие в государственных школах, но сегодня уже ясно, что homeschooling — нечто большее, чем один из возможных вариантов среднего образования. Оно проявило себя еще и в качестве инструмента восстановления прочных семейных отношений, семейных традиций, которые еще недавно казались обреченными на исчезновение. Оно заставляет нас по-новому (лучше сказать — по-старому) взглянуть на то, какими должны быть взаимоотношения детей и взрослых, учителей и учеников. Уроки homeschooling стоит учесть.

Нью-Йорк.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МАРИНА АДАМОВИЧ



ЮДИФЬ С ГОЛОВОЙ ОЛОФЕРНА

Псевдоклассика в русской литературе 90-х

Еще в недалеком прошлом жизнь российского читателя была проста и невинна: тянет его Чехова почитать — он берет «Ионыча» или «Крыжовник», а то и «Чайку»; хочется Солженицына — под рукой «Бодался теленок с дубом»... Жизнь читателя 90-х сложна и непредсказуема. Берешься все за ту же «Чайку» — а вместо знакомой драмы чеховских героев получаешь детективную драму Бориса Акунина. «Ионыча» пишет С. Солоух, а «Бодающегося теленка» — Катаевы, их теперь в русской литературе двое, не считая прежних: Братья Катаевы. Эксплуатация классического наследия современной российской литературой достигла массового размаха. Заимствуются названия, имитируется стиль — скажем, на интернетовских страницах «Голубое сало» (сайт Вяч. Курицына: <http://www.guelman.ru/slava/salo>), где можно прочитать новые творения Достоевского, Толстого, Тургенева и других; или в романе В. Сорокина с тем же названием — «Голубое сало»; имитируется жанр (например, жанр классического детектива — у Б. Акунина) или просто пишется продолжение любимого произведения (так, Ник Перумов пишет многоотное продолжение «Властелина колец» Толкиена). Когда мы имеем единичный случай «заимствований», мы вправе отвлечься от литературы и начать обсуждать этическую сторону проблемы. Но когда перед тобой целый пласт текстов, построенных на эксплуатации классики, возникает желание понять, откуда в современной русской литературе, в новой генерации писателей конца 90-х возникло это направление — «псевдоклассики»?

Здесь мы должны опять заговорить о постмодернистском мироощущении, поглотившем мир, и в том числе — российского творческого человека. И хотя сегодня уточняют — «постпостмодернизм», но нынешний постпостмодернизм, на мой взгляд, всего лишь новая фаза развития того же мироощущения, его зрелости, что ли.

В постмодернизме, декларирующем принцип плюрализма, неприятие авторитарности и легитимности прежней культуры является эстетическим и философским фундаментом. Состояние «радикальной плюральности», отказ и от *ratio*, и от веры в общепризнанные авторитеты, эпистемологическая неуверенность, отрицание историзма как закрепленной целокупности прошлого, настоящего и будущего, специфическое видение мира как хаоса, лишенного причинно-следственных связей, иерархии и ценностных ориентиров, «мира децентрированного», представляющего лишь в сознании, — все это подвигает, скажем, Михаила Эпштейна в его небольшом философском эссе «Имя века» заметить о грядущем столетии: если прошедшие эпохи мы можем определить как времена повелительного и изъявительного наклонений, то будущий век,

Адамович Марина Михайловна — литературный критик, эссеист. Сотрудничала в журналах «Литературное обозрение», «Континент»; в настоящее время — официальный представитель «Континента» в США. Неоднократно публиковалась в центральных российских журналах и в литературном Интернете. В «Новом мире» выступала с эссе и со статьей «Этот виртуальный мир...» (2000, № 4).

проявившийся уже сегодня, мы вправе назвать *эпохой сослагательного наклонения*. В таком определении грядущего, помимо прочего, содержится весьма характерная для постмодерна общая лингвистическая тенденция воспринимать «мир как текст».

Да, современный мир представляет собой, по выражению Деррида, картину «универсума текстов», в котором отдельные безличные тексты до бесконечности ссылаются друг на друга и на всё сразу, и все вместе они являются лишь частью «всеобщего текста», эдакой текстуализированной действительностью и историей («интертекстуальность», по Кристевой). Мир как текст — готовый и приспособленный к самым различным вольным субъективным интерпретациям. «Мировая книга» — метафора высокой классической эпохи — во времена постмодерна становится обыденной реальностью (именно таков культурологический интернетовский проект того же М. Эпштейна — «Книга книг», гипертекст, имитирующий работу человеческого мозга, ставящий задачу материализации любой аллюзии, возникающей при чтении основного, базисного текста). К концу двадцатого века коммуникативная теория удачно совместилась с теорией игр, трактующей (по Хейзинге) культуру как игру в широком смысле и утверждающей идею вечной и органичной речевой агонистики (борьбы-соревнования). При этом взамен старых апробированных способов легитимации, самореализации в социуме, здесь предлагается иная форма — перформанс.

Перформанс — это и рисующие молчаливые слоны Комара — Меламида, и вокал Д. А. Пригова, и собачий вой Кулика... И в том числе — интересующая нас постмодернистская игра с художественным текстом классики.

Итак, любая игра, как давным-давно заметил все тот же Хейзинга, имеет глубокую связь с идеей порядка, канона, который и вносит в игру сбалансированность ее элементов и приводит к необходимой их гармонии. Вот почему всякая игра сопряжена с *понятием эстетического*, с идеалом красоты. В теории игр мне этот момент кажется наиболее важным для объяснения внутренних мотивов обращения постмодернистского писателя к классике в качестве прямого и непосредственного *объекта* медитаций и рефлексий. Русская литературная классика имеет четко очерченный ореол славы у отечественного читателя — славы *литературы совершенной*; русская классика, с ее оформленным этическим и эстетическим кредо, с ее сбалансированными нормами, порождающими особый эффект гармонии и эстетичности, заменявшая в большой мере философскую и общественную мысль, — такая классика необычайно привлекательна и удобна для игровой литературы постпостмодернизма, крепко-накрепко завязанной на эстетике игры, на прекрасном и гармоничном (даже в качестве их анти-: безобразном и хаотичном) — и еще кое на чем...

Нет и не было никакой «необходимости» Акунину переписывать последний акт пьесы Чехова «Чайка» — хорошо написана пьеса. А вот удовольствие от переписывания он явно получил. И хотя мы обычно не знаем, почему получаем удовольствие от одних вещей, а не от других, удовлетворение Акунина от игры в Чехова объяснить на самом деле легко. В своей знаменитой работе «*Homo ludens*» Хейзинга определил фундаментальные признаки любой игры — вне зависимости от поля деятельности. Так вот, первым и главным им было заявлено: «Всякая Игра есть прежде всего и в первую очередь *свободное действие*. Игра, по сути, избыточна. Потребность играть становится настоящей лишь постольку, поскольку она вытекает из доставляемого игрой удовольствия». Писать чеховским словом, погрузиться в атмосферу его пьес — искушение, труднопреодолимое для последнего поколения российских беллетристов-постпостмодернистов, с легкой совестью деконструирующих любой авторитетный дискурс.

Все мы помним героев чеховской «Чайки». Герои акунинской разыграны тщательней. Прежде всего уже в перечне действующих лиц нам сообщается их точный возраст: Аркадиной — 45 лет, Треплеву — 27, Тригорину — 37, Заречной — 21... Оно и у Чехова было понятно, что Маша — чуть старше Нины, а обе они значительно моложе Ирины Николаевны... К чему же такая педантич-

ность со стороны нового автора бессмертной пьесы?.. Именно что — «бессмертной», то бишь точный возраст героев у Акунина есть индикатор их... смертности. Дело в том, что все персонажи акунинской «Чайки» — потенциальные самоубийцы. Я это заявляю серьезно и с полной ответственностью. Ведь если мы обратимся к другому произведению того же автора (то есть Г. Чхартишвили) — толстому исследованию «Писатель и самоубийство», то узнаем вполне научную статистику: «Суицидная кривая... поднимается вверх на участке 15 — 24 года, потом... на пятом десятке жизни, затем... после 70 уже окончательно погибает кверху... У героев нашей книги (писателей. — М. А.) критических возраста тоже три, но второй из них несколько смещен по оси времени... перед сорокалетним рубежом... в тридцать пять, тридцать семь, тридцать девять лет». И так далее. К самоубийцам первого периода относятся Нина Заречная (21) и Маша (24); второй период представлен Борисом Алексеевичем Тригориным (37), третий кризисный период не должны пережить Полина Андреевна, Илья Афанасьевич Шамраев, Ирина Николаевна Аркадина, Евгений Сергеевич Дорн и Петр Николаевич Сорин. Интересно и дополнение Акунина к чеховским ремаркам: у Чехова — «шумят деревья, воеет ветер», у Акунина — еще и рокот грома со вспышками зарниц; Треплев — «один», а рядом — «большой револьвер» (кто ж не помнит советы Антон Палыча о ружье на стене, которое должно выстрелить в последнем акте); вот и Шамраев замечает: «Самоубийство — это так романтично»... Между тем романтизм — это не то направление, к которому принадлежит творчество Акунина, прославившегося своей детективной серией «Приключения Эраста Фандорина».

И давайте для пользы дела на минуту отвлечемся на сыщика Фандорина. Литературный проект Акунина «Приключения Эраста Фандорина» — все та же интересующая нас эксплуатация классики, на этот раз — классического жанра детектива. Проект включает все жанры классического криминального романа: конспирологический детектив, шпионский, герметичный, политический, великосветский, декадентский, мистический, детектив о наемном убийце, о мошеннике, о маньяке и проч., и проч. Вообще интерес постмодернистской прозы к «чистым жанрам» бросается в глаза. Деконструировав всю прежнюю эстетику классической литературы, погрузившись в тотальный плюрализм, литературный постмодернизм кончил на сегодня тем, что увяз в рыхлом, бесформенном тексте. Галлюцинозная почти шестисотстраничная эпопея «Мифогенная любовь каст» П. Пепперштейна и С. Ануфриева — не единственный пример тому, хотя пример впечатляющий¹. Здесь кстати и остроумное замечание Курицына о «бесхозном постмодернизме», который устал от своей виртуальности — ведь «жив автор, который расписывается в ведомости, который осознал свои частные и классовые интересы». Словом, похоже на то, что постмодернистский псевдоклассик 90-х пытается спасти свою «локальную истину» через ясность жанра. Акунинские псеводетективы — это *проект, суперигра* с читателем и — с жанром собственно детектива. Тексты Акунина — сложное строение, полное аллюзий и пересечений с самыми неожиданными культурными слоями пережитых эпох и литератур, а в контексте постмодернизма — уже не раз разыгранный перформанс. Здесь даже литературный псевдоним Григория Чхартишвили — тоже классический: Б. Акунин — Бакунин, анархист, пытавшийся взорвать классический девятнадцатый век. Чистая попытка возвращения к свободе.

Да, анализ любой постмодернистской игры с классикой неминуемо обращает нас к общей трактовке истории, которая, согласно постмодерну, развивается хаотично и непоследовательно, вне иерархии и логики. Тем не менее и в такой истории можно проследить развитие некой собственной логики, а имен-

¹ «Галлюцинозный роман» — не ругательство, а определение жанра: «галлюциноз как речевая позиция» — так оценивается критиком М. Рыклиным стиль этих авторов. Сам же Пепперштейн уверяет, что в «Мифогенной любви каст» повторена «традиция русского романа» с аллюзиями из китайского и дальневосточного классического духовного романа.

но — логики *утраты человеком своей свободы*. Блестяще осуществляя свободу в античной «заботе о себе», в «искусствах существования» (термины М. Фуко), к нынешнему времени вконец детерминированный человек исчерпал возможности нормирования собственного существования и, следовательно, возможности быть свободным. В сложившейся ситуации классический «архив» оказывается интересен для постмодернистских языковых игр именно тем, что он является своеобразным *последним* историческим моментом осуществления человеческой «заботы о себе» (хотя бы и в форме религии). Таким образом, к концу столетия именно классический «архив» становится ближайшей к нам возможной точкой возврата к античным «искусствам существования», а следовательно, к обретению утерянной свободы. Игра пошла сложная и серьезная. По своим жестким правилам. В некотором смысле Акунин поедает то же «голубое сало», что и Сорокин: гений классиков, принесший им вечную славу. Только Акунин использует еще и авторитетный дискурс жанра, и замечу к чести автора — акунинская деконструкция классики не выходит за пределы собственно литературы, без социальной заявки на власть, о чем — ниже.

Обратим внимание, что детектив Эраст Петрович Фандорин в «Чайке» тоже присутствует — косвенно, в качестве предка чеховского доктора Дорна (Фандорин, Фондорин, Дорн, одна из ветвей многочисленной обрусевшей семьи). Сложно сказать, имел ли в виду автор эту родственную связь, придумывая свой первый детектив, но, во всяком случае, в его чеховской игре семейственность важна. И вот почему. Замкнутый хронотоп классической литературы дарил читателю тесный мир родственников и знакомых, пространство обжитое и узнаваемое, время связанное и плавнотекущее. Даже пророк будущего века Федор Михайлович Достоевский выстраивал свои романы именно в таком замкнутом хронотопе. Чехов же, пожалуй, впервые населил свой мир незнакомцами и прохожими, время лопнуло — что та струна из ремарки «Вишневого сада»; его хронотоп — открытого типа. Потому-то по всем законам построения художественного произведения никакие фандорины в собственно чеховском поместье поселиться не могут — связь времен прервалась — и навсегда. Что же на самом деле происходит в акунинской усадьбе, наполненной тенями прошлого, дыханием смерти, где самоубийцы становятся убийцами — совсем иной жанр?.. Вот именно, что жанр-то — иной. Смешивая жанр драматического произведения (комедия Чехова) с повествовательным (детективное расследование в духе Достоевского, где вполне возможна ремарка: «Следит глазами за Дорном» — а попробуйте-ка это на сцене изобразить, какие же глазищи иметь надо!), Акунин смешал и Чехова с Достоевским, смешал диаметрально противоположные хронотопы в один, выдав постмодернистский метахронотоп. Для чего? — а для того, чтобы не потерять право повторить за Чеховым, что сие произведение — комедия, вопреки трупу на сцене. Но — и вопреки самому Чехову.

Чеховская комедия была жанрово классифицирована — согласно традиции определять смешное «в соответствии с идеологическими или моральными целями автора, как и природой его художественного мышления» (это — В. Пропп, но тут и М. Бахтин поддержит: смех — «это позиция, с которой можно было бы заглянуть по ту сторону господствующих форм мышления и господствующих оценок»). Называя же свою «Чайку» по-прежнему «комедией», Акунин не имитирует жанр чеховского произведения (как Фандорин имитирует Холмса). И в этом суть проделанной деконструкции: *разыграть* чеховский дискурс и выстроить дискурс подлинной «комедии положений». Одним словом, сделать комедию — шуткой. С шутовской толпой самоубийц-убийц, с тенями прошлого, с иронией над значимыми чеховскими трагедийными фразами, с домашним детективным расследованием... Здесь, в акунинской комедии, вполне уместен и доктор фон Дорн, член экстремистской организации защиты животных, мстящий охотнику, писателю Треплеву, за убитую чайку. Пошутить — и получить удовольствие от розыгрыша. Пастиш Чхартишвили — чистый постмодернистский пастиш. Цель которого не только в изна-

шивании стилистической маски (традиционная функция пародии, утверждающей на фоне комического нечто нормальное, нормативное). Нет, пастиш Чхартишвили — это нейтральная стилистическая мимикрия, ибо все в этом мире — комично и беспорядочно, все — аномально, и в этом — подлинная норма мира. Точнее — заявленная норма эстетики постмодернизма, активно легитимизирующей себя в том числе и как псевдоклассика.

Вслед за Акуниным-Чхартишвили вспомним и Нодара Джина, «Повесть о любви и суете» — еще одно обращение к Чехову, к его «Даме с собачкой». Джиновская «незнакомка» магически оборачивается вполне узнаваемой сочинской девахой (кровь с молоком, глаза и все остальное на своих традиционных классических местах), а чеховская история — вполне постсоветским перестроечным анекдотом о курортной «королеве красоты», которая, и только которая (известное дело — как все «крестьянки»), любить умеет... А чтобы у читателя сомнений в том не возникало, Н. Джин постоянно и настойчиво поминает Чехова, трепетную Анну и ее собачку (имея в виду, что в мире вообще все повторяется и все связано).

Чехов выбирается псевдоклассиками отнюдь не случайно. Его разорванный хронотоп впервые указал на грядущий мир хаоса. Он оказался близок лишнему иерархической модели постмодернистскому миру, в том числе и течению псевдоклассиков. Правда, хаос здесь живет по новейшим физическим теориям — как система локальных централизованных конструкций. Что вполне согласуется и с теорией игр, ведь одним из признаков Игры является ее локальная сконцентрированность, жесткое ограничение места и времени. Игра идет *здесь и теперь*, а в другом «здесь и теперь» идет другая игра. Локализовать, систематизировать многоголосную субъективность хаоса можно не только через жанровый канон. Н. Джин ведет свою партию, эксплуатируя так называемый прием паратекстуальности (отношение текста к своему заглавию, послесловию, эпиграфу и т. п.). Постоянно напоминая читателю о Чехове — именами героев, настойчивыми признаниями рассказчика в любви к чеховской «Даме с собачкой», имитацией сюжетных ходов новеллы и проч., и проч., Нодар Джин локализует свою чеховскую игру на уже обжитом, согретом классиком местечке в русской литературе. Так же поступает и С. Солоух, хотя делает это искусно, выдерживая удивительную чеховскую ноту — молчанием, выстраивая свои тексты исключительно на современном материале, без подбадривающих ссылок на «именитых».

«Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева» С. Солоуха — прекрасная иллюстрация локальной систематизации постмодернистского мира, локализации при помощи знака. Вот где материализовалась лотмановская мысль о классицизме как мире «знаков разного порядка, где... необходимо лишь знать язык», только миром этим теперь выступила сама классика. «Клуб...» — по признанию Солоуха в одном из интервью — «книга о... тех людях моего поколения, которые любой ценой хотели устроиться в тогдашней жизни. Фигурально выражаясь, готовых принорваться к ней любой частью своего тела, буде она только востребована». Тем не менее, если мы вспомним чеховского Пришибеева, рассказ-то — о другом: «И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно»; он, унтер Пришибеев, смешон и нелеп в этом новом мире. Но Пришибеев нужен Солоуху для обозначения «места и времени»: Пришибеев — это *знак советской предперестроечной жизни*, требующей от личности конформизма или — уничтожающей тебя, знак, позаимствованный из классической, традиционной культуры. Каждая из глав романа — одна из судеб, вместе образующих хаос жизни. Но вращающиеся по разным орбитам герои Солоуха объединены общим названием романа: все они — члены клуба унтера Пришибеева, того самого, чеховского унтера. Таким образом, Солоух одним словом, лишь фамилией чеховского героя, погружает читателя в нужный контекст, локализует место действия. И это — общий принцип тонкой и деликатной прозы С. Солоуха, автора суперновых «Крыжовника», «Ионыча», «Дамы с собачкой» и других известных классических произведений

(его последний сборник рассказов «Картинки»). Прозаик использует чеховский дискурс в качестве великого немого, но от этого не менее значимого контекста чеховский текст не разыгрывается, он *используется* как авторитетный *знак*, символ. Это именно случай применения «приема найденных вещей», распространенного в комбинированной живописи, а в литературе бытующего в качестве термина «украденный объект» (когда романист помещает в свой текст куски объявлений, надписей на стенах, рекламы, а также словесные клише, устойчивые фразеологические обороты и т. д.). Солоух «крадет» знаковые названия чеховских произведений, которые для нас давно стали «коллективным кодом», «говорящими фамилиями», и блистательно разыгрывает *собственное* представление на *чеховской* сцене.

И разве не очевидно, что для игр псевдоклассиков важна не вся полифоническая вселенная, но определенная локализованная и структурированная классическая мини-система в мире культурного хаоса. Псевдоклассики широко используют прием паратекстуальности или пишут пастиш на конкретное классическое произведение или стиль конкретного классика — потому что им необходима уже готовая конструкция. В этом ощущается сильное *желание опередиться в истории культуры и цивилизации*. Ведь классическое литературное наследие имеет в межкультурном и межвременном контексте характер знака. Таким образом, псевдоклассик невольно все-таки вступает в реальный *диалог* с выделенным из общего ряда классическим произведением, он предлагает свое именно взамен, *на место* конкретного деконструированного классического, — любое иное пространство, выгороженное в мире хаоса, ему просто неинтересно, ибо в таком «пространстве вообще» не произойдет его собственная легитимация. В этом смысле для художественной литературы «художественные» деконструкции чеховских текстов у Акунина и Солоуха более эпатажны, нежели поразивший кое-чье воображение текст «Голубого сала» Сорокина.

Собственно говоря, «Голубое сало» — не что иное, как рядовая попытка писателя-постмодерниста поднять прошлые авторитеты классической литературы — действие, логично вытекающее из общей установки трактовать литературу как одну из реальностей мира-текста. Хотя перформанс Сорокина все-таки точнее вписывается во «власть произнесения» того же М. Фуко: говорить и означает обладать *властью говорить* в борющемся за власть обществе. Прав, прав Ж. Ф. Лиотар, утверждающий, что в мире-тексте заявленная постмодернизмом делегитимация прошлой культуры сопровождается сильным стремлением легитимизировать себя, любимого, утверждением новой авторитарности.

Дискурсия «Голубого сала» выходит за пределы литературы — это больше культурно-социальный эпатаж, чем художественно-литературный пастиш, это социальный, анархический бунт во имя свободы, понятой как вседозволенность. (Связь романа Сорокина с одноименным сайтом на Рунете кажется мне показательной; литература Интернета, как ни одно из литературных течений, связана самой своей природой с внелитературной реальностью.) Сорокинский текст — акт прежде всего поведенческий, с учетом все еще бытующей в России традиции почитания писателя как общественного лидера. Именно — с учетом, а не с отрицанием, деконструкцией этой роли. Так в романе Сорокина появляются еще и реальные пародийные персонажи — под псевдонимами (ААА — Ахматова, рыжий мальчик — Бродский и другие) или без (политические деятели — Сталин, Гитлер и другие). Сорокин деконструирует не только художественный дискурс крупнейших российских писателей, но и всю дискурсию классического лидера — как *общественного* лидера, как *идейного* вожака и пророка. Так *роман* «Голубое сало» откровенно меняет место своего обитания и становится *заявкой, направленной на социум*. Целью такой социальной эпатажной заявки является и деконструкция традиционной общественной нормы, и *собственная социальная легитимация* через особую роль речи как «борьбы за власть». Концентрируя силы деконструкции на социально-культурном феномене лидерства, писатель, может, и незаметно для себя, но отказывается от плюралистического постмодернистского «мира-текста» в пользу легитимации

мировоззренческой, авторитарной, идеологической и поднимает вопрос о *собственном общественном лидерстве* — в духе прежней традиции «горлана-главаря». Косвенное подтверждение моей мысли можно найти, скажем, в стилистике рецензии Льва Пирогова на роман С. Ануфриева и П. Пепперштейна «Мифогенная любовь каст»: они «чистят себя под самим Сорокиным... играют в творцов, наслаждаясь демиургической ролью». «Сам Сорокин», «демиург» — такой плюрализм смахивает на диктатуру. Да, Сорокин монологичен в «Голубом сале», роман его глубоко рационален, механистичен — то есть *несвободен*, (некогда Курицын написал о Сорокине — правда, в качестве похвалы: «...это похоже на длинный-длинный секс уже за пределами страсти». Что тут добавить...). Это не случай половецкого степняка, сделавшего из черепа славянского князя чару для вина, — в такой «деконструкции» чувствуешь величие варвара, святотатство — но с полным погружением в сакральность, мистику и метафизику мира. Случай же выпаривания «голубого сала» — это вариант дикаря, пообедавшего Куком, здесь нет карнавальная агонистики постмодернистского мира, здесь мрачно пережевывают кости врага, справляя необходимую физиологическую потребность.

Тогда как мистика и метафизика знакомы нашим героям. Псевдоклассика 90-х не на шутку озабочена созданием собственной мифологии. И если проследить логику развития постмодернизма, то становится понятно, что мифологическая значимость и есть реальный итог писания постмодерниста-плюралиста. Примером такого «чистого мифотворчества» в современной постпостмодернистской русской литературе является многотомное продолжение «Властина колец» Толкиена, написанное вышеупомянутым питерским прозаиком Ником Перумовым («Гибель богов», «Эльфийский клинок», «Летопись Хьэрварда», «Русский меч» и др.). Считая себя не более не менее как выразителем языческих славянских верований ранней христианской эпохи времен Всеслава Полоцкого, Перумов полагает своей непосредственной задачей мифописание новой языческой постхристианской эры, мифотворчество нового постхристианского мира грядущего тысячелетия — новой античности на славянском манер. Полагая, что оригинального создателя истории хоббитов подвели его католические пристрастия, Перумов деконструирует авторитетный дискурс Толкиена и провозглашает свой собственный мифологический дискурс, в котором «Свет и Тьма просто два физических понятия, два равновеликих энергетических потока, с помощью которых можно творить любые дела». Вполне демократично и плюралистично. Если же говорить всерьез, в писаниях Перумова, на мой взгляд, наиболее четко проявилась тенденция постпостмодернизма заново ввести себя в русло истории, обрести метаисторию, структуризировать себя во времени. Оценивать степень весомости заявки на новый историзм пока рано (смущает, как всегда, низкий уровень текстов), но не замечать его вовсе — тоже ошибка. Ибо тенденция к мифотворчеству заложена в постмодернизме по определению и все сильнее проявляет себя на этом «мирном» этапе. Примером такой озадаченности мифотворчеством в новой литературе стала и «Мифогенная любовь каст» Пепперштейна и Ануфриева — попытка пастиша на военную прозу с обильными «украденными объектами» из советской культурной, поп-культурной и фольклорной действительности. Но речь здесь идет, думаю, не столько о деконструкции авторитетного дискурса советской литературы, сколько о строении собственной начальной мифомодели, микрокосма примитивной, неязыческой культуры с «анонимным фольклорным миром».

Как еще одна забота литературной касты постпостмодернистов интересен роман Братьев Катаевых «Пятнашки, или Бодался теленок со стулом». Фабула романа проста и не вызывает интереса сама по себе, это эпатажные приключения двух девиц — Алисы и Кати (за которыми, кстати, стоят вполне реальные прототипы нынешней литературной тусовки Рунета). Напомню: «Бодался телёнок с дубом» А. Солженицына посвящен борьбе за свободу литературы в полицейско-идеологическом советском обществе. Солженицын определяет жанр

своей книги как «Очерки литературной жизни». Братья Катаевы однозначно интерпретируют его как *плутовский роман*. Однако, пытаясь деконструировать солженицынский дискурс, Братья подводят сами себя, потому что по отношению к роману Солженицына авторы создают не пастиш, но — классическую пародию, выставив эстетику постмодернизма в качестве новой авторитарной нормы. Почему это происходит? Да потому, что новые Катаевы и не собирались деконструировать иерархическую систему взглядов, не собирались вписывать конкретно Солженицына в мир-текст; их роман, в контексте солженицынского «Телёнка», — это явная апология нынешней литературной элиты. Которая может утвердиться на российской литературной сцене, только осмеяв и вытеснив элиту прежнюю: и прежнюю классическую, и прежнюю советскую, и прежнюю постмодернистскую в лице мэтров — Пелевина, Сорокина («вихрастый толстячок с маслянистыми глазами и козлиной бородкой»), Курицына («астенически сложенный брюнет с большой и круглой, как кочан капусты, головой»), Вербицкого («известный нацбол», «экстремист и ленинист-урреалист») и других.

Политически окрашенные вызывающие поступки Солженицына, описанные им в «Телёнке», заменены Братьями на эпатажные поступки нынешней тусовки; перипетии с книгой Солженицына заменены не менее напряженными перипетиями борьбы за стулья у героев нового «Телёнка». Народная поговорка, использованная Солженицыным с качестве символа вечной, непреходящей борьбы человека за право свободы, в романе Братьев Катаевых чуть видоизменяется (вместо «дуба» — «стул»), и метафора власти — «стул» — реализуется в ходе романа во вполне конкретный стул, а точнее — пирамиду бендеровских стульев, на которую пытается залезть тусовочная братия (в галерее Марата Гельмана представлена новая инсталляция Ильи Кабакова «Жидкий стул». На перформанс собрались Амазонка, Алексрома, Макс Фрай, Ежи, Тёма Лебедев, Баян Ширянов — словом, нынешняя литературная компания Интернета. «Перед взорами гостей предстало высокое сооружение, смутно напоминавшее обелиск. В основании стоял обычный унитаз»). Борьба Солженицына за власть идеи, за свободу личности и творчества здесь превращена в карнавальную суету современных бендеров, в веселое состязание за право материальной власти в образе стула с бриллиантами, венчающего «обелиск». Плутовские интриги молодой российской тусовки выписаны иронично и легко. Пародийный же момент подчеркнут тем, что, подобно Солженицыну, Братья Катаевы пишут свои «очерки» тоже о реальных участниках сегодняшнего литературного круга: Андрей Чернов, Михаил Вербицкий, Вячеслав Курицын, Дмитрий Галковский, Владимир Сорокин — люди «первоначальной эпохи накопления» постмодернизма — вынуждены уступить место новым «классикам»: Баяну Ширянову, Марату Гельману, Максиму Фраю, Настике Грызуновой, Линор Горалик, Амазонке и проч., и проч.

Появление на авансцене постмодернизма очередных карнавальных масок не должно удивлять: в русской литературе выросло еще одно поколение хомолюденсов, игра которых, как и предрекал Хейзинга, обязательно вызовет к жизни общественные группировки, породит элиту и «тайные общества»: «клуб приличествует игре, как голове — шляпа». И хотя Марк Липовецкий всего три года назад имел основания сказать в своей книге «Русский постмодернизм», что именно это правило игры не сработало, позволю себе уточнить ситуацию: уже работает. С падением советского строя пала и советская литературная элита, однако смутное время перестройки способствовало формированию целой структуры клубного существования российских писателей (и не только постмодернистских); эпоха же «мирного строительства» постпостмодернизма характеризуется уже *налицем* новой литературной элиты. Мы действительно склонны не замечать ее по двум понятным причинам: во-первых, она молода, а мы все еще живы и деятельны, во-вторых и главных — она, судя по всему, недотягивает в смысле талантливости (во всяком случае, я не могу без натяжки рекомендовать ни одно имя из нынешней литтусовки). Исследователи же

традиционной русской литературы привыкли к определенному высокому уровню художественных текстов, поэтому молодые писатели последнего поколения у них не вызывают профессионального интереса. Но замечу: этих молодых людей мало волнует их непризнание со стороны корифеев; ведь корифеи — день вчерашний. Новую элиту, судя по всему, мало заботит и собственная неталантливость — в эпоху победившего газетовского демоса, в эпоху торжества массовой культуры (породившей и мироощущение «постсовременности», и литературный постмодернизм в том числе) срабатывает закон толпы: новых элитчиков много, и они настойчиво поддерживают друг друга на плаву. И разве не таков любой карнавал, за внешней пестротой которого скрывается монолитная пассионарная толпа?.. Перформанс постпостмодернизма как этапа зрелости постмодернизма породил-таки свою элиту. И она погналась на своем бриллиантовом стуле публичной литературной славы (тем паче, что и учителя ее известны тем же). Более того. Помимо добывания реального социального «стула», постпостмодернистская литература пытается и осмыслить себя, вставить в контекст метаистории. Плутувский роман Братьев Катаевых несет в себе еще и четкую задачу *мифотворчества новой элиты*. (Замечу, что даже у Слаповского, прозаика совсем иного уровня, в его плутовском романе «День денег» проявилась та же тяга к мифологизированию своей тусовки. Тройку замечательно живописных героев Слаповского окружает веселая компания персонажей, в именах которых легко прочтываются реальные деятели сегодняшнего творческого мира. Автор сознательно эксплуатирует эти имена в своем плутовском мифописательстве, не стараясь уйти от оригиналов (Андрюша Немизеров, Витюша Поливной, чей дед у Чапаева служил, Андрюша Дмитровский и т. д.). В этом — нешуточность развернувшейся общей игры. Но в этом же я вижу и начало конца.

Любая игра, симпатична она вам или нет, захватывает она вас или оставляет равнодушным, — *любая игра лежит вне этики*. Она не добра и не зла, она — игра. Тем не менее важно, чтобы игра была *честной* — в этом, собственно, и заключена ее этичность и добропорядочность, в этом ее эстетическая ценность: в разыгрывании принятых правил. Так вот, литература разрушается, если начинается нечестная игра и художественные тексты оцениваются и ценятся не по художественно-эстетическим меркам, а по клубно-тусовочным, тогда и Пепперштейн — Ануфриев создают «нирвану концептуализма» (М. Рыклин), «стоцентное попадание в корпус текстов, культовых для поколения девяностых» (С. Кузнецов), а Акунин — «самый интересный писатель русской литературы» и принадлежит «очень высокой литературе» (В. Курицын), тогда Сорокин — «последний человек, о котором можно сказать — Великий русский Писатель» (В. Курицын), тогда «сто лучших писателей» и состоят из Ширянова, Братьев Катаевых, Пепперштейна... Тогда деконструкция приобретает характер карательной операции с целью социальной легитимации. Некогда Хейзинга сказал: игра — это «борьба за *что-то* или показ этого *что-то*». Цель «за *что-то*» у псевдоклассиков зачастую преобладает над процессом «*что-то*». Вот когда и начинается плохая, нечестная игра. Эта тенденция в постпостмодернизме уже заявила о себе. Хотя... псевдоклассики русской литературы — молоды, и я бы поддержалась от окончательных выводов и оценок их игр.

А вот промежуточные итоги подвести можно. Постмодернистскую литературу часто называют литературой молчания: построенная на цитировании, взявшая за основу принцип интертекстуальности, ничего не утверждающая сама, плывущая по волнам плюрализма и всеобщего примирения, эта литература действительно молчит, погруженная в хаос культуры. Хаос (с локальными завихрениями) стал ее формой вечной жизни, вне времени и пространства. Но синонимом хаоса выступает пустота. А синоним пустоты — смерть. И отнюдь не случайно один из моих сегодняшних героев — Акунин-Чхартишвили — в культурологическом очерке «Писатель и самоубийство» пишет о выборе смерти как о естественном и свободном выборе человека, как о доказательстве его свободы, *эталоне честной игры хомолюденса*. В таком контексте явление так

называемой псевдоклассики поневоле начинаешь принимать за здоровое желание излечиться от своеобразного суицидного комплекса эпохи постмодерна. Что взамен?.. Обложка книги П. Пепперштейна и С. Ануфриева «Девяностые годы» — авторский эскиз: Юдифь с головой Олоферна, девочка-подросток с мечом в одной руке, с отсеченной головой старика — в другой, молодая литература («детская») с мертвой головой литературы старой, классической («идеологических конфликтов»). Интерпретация изображенного, замечу, не моя, а — Пепперштейна. Мне же остается только указать на очевидное: самоубийство заменили на убийство.

Итак. Псевдоклассике 90-х присуще желание определенности и четкости, попытка *преодолеть* субъективность постмодернистского мироощущения и, следовательно, — *рыхлость постмодернистского текста* с помощью формообразующих элементов классического произведения, ей присущи попытки ввести себя в метаисторию. Чем опасны эти игры? Прежде всего тем, что происходит формализация классики, уподобление ее *приему* в современной культуре. Классический «архив» используется как примитивный архив, досье из которого может помочь «позаботиться о себе». Совершенно очевидно, что псевдоклассике импонирует добрая российская традиция считать: «Поэт — больше, чем поэт». Что ж, русский классик всегда предлагал широкий авторитарный дискурс, превышающий собственно литературный, это было органично для традиционной отечественной культуры, так уж она сложилась. Современному постмодернисту-псевдоклассику невольно или вольно, но приходится не в последнюю голову осознать себя и в общественно-социальном плане, к тому его подводит и постмодернистская эстетика игры-перформанса. Здесь не подойдут ни келья, ни камера-одиночка. Здесь нужен помост, сцена, подиум — и толпа. Вот текст псевдоклассиков и начинает претендовать на публицистическую определенность и общественную значимость. А это уже — другая игра.

ГАРРИ ПОТТЕР НА МИРОВОЙ СЦЕНЕ

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ



КТО ПРИДУМАЛ ФУТБОЛ, ИЛИ ГАРРИ ПОТТЕР В ШКОЛЕ И ДОМА

Когда в конце 1999 года в авторитетном списке бестселлеров «New York Times» первые три строки заняли книги Джоан Ролинг о маленьком волшебнике Гарри Поттере, стало очевидно, что западный мир столкнулся с новым, доселе неизвестным феноменом. Сначала англоязычные, а затем и другие развитые страны охватила эпидемия чтения. Нежданно-негаданно детская литература доказала свою конкурентоспособность с такими монстрами, как поп-музыка и игровая индустрия.

Не в пример недавнему советскому прошлому, когда все наше переводное новое было на Западе хорошо забытым старым, российские издатели откликнулись довольно оперативно, и первая книга «Гарри Поттер и философский камень» вышла в свет в декабре 2000 года. Среди языков, на которые была переведена эпопея о Поттере, русский оказался на почетном 36 месте.

Отечественное издание вкупе с многомиллионными тиражами книг Ролинг во всем мире спровоцировали наших критиков на сногшибательные откровения. Суммировать их можно буквально в паре цитат: «Финансовый секрет успеха прост» (Г. Шульпяков). «Скорее всего, никакой Ролинг нет. Есть проект „Гарри Поттер“, задуманный и воплощенный издательством „Блумсбери“. Просчитанный маркетологами и исполненный с помощью компьютера последней модели» (А. Солнцева).

Создалось впечатление, что целый ряд критиков, среди которых Г. Шульпяков и А. Монахов, А. Метелкина и Д. Ольшанский, лично уязвлены фактом существования феномена. Самое оскорбительное в деле о Поттере то, что о его приключениях читают миллионы, автору платят сумасшедшие гонорары и Голливуд озабочен проблемой немедленной постановки блокбастера о юном герое. А общим местом нашей массовой психологии и является категорическое неприятие успеха.

Впрочем, и в этом мы далеко не оригинальны.

Отступление 1. Историческое. На следующее утро после первого выступления «The Beatles» в Америке уважаемая «Геральд трибюн» сообщила: «Они на 75 процентов состоят из рекламы, на 20 — из прически и на 5 — из музыкальных всхлипов».

Между тем за все последующие годы никому не удалось повторно добиться фантастического успеха ливерпульской четверки. И это понятно, если учесть, что сказать о «Beatles»: музыканты — явно недостаточно. Они были и остаются общественным явлением с ярко выраженным, по четкому определению

Александров Владимир Юрьевич — филолог, переводчик, автор статей на литературные темы. Родился в 1960 году. Закончил филологический факультет Волгоградского пединститута. Публиковался в журнале «Знамя», газетах «Русская мысль» и «Ex libris-НГ». Работает редактором телеканала «Культура». В «Новом мире» печатается впервые.

нию советских учебников истории, всемирно-историческим значением. Информационная революция, упразднив расстояния и границы, неожиданно породила во всем мире новую историческую общность людей — битломаны. На какое-то, пусть очень непродолжительное, время музыка абсолютно ненасильственно перевесила на чаше весов общественного мнения политику и религию.

Собственно говоря, благодаря «The Beatles» в 60-е вся планета предприняла единственную в своем роде попытку объединиться не на почве идей перманентной революции или исламского фундаментализма, а на почве музыки. Простые и доступные идеи четырех ливерпульцев в совокупности с их музыкой очаровывали, и люди начинали верить в то, что «все, что тебе нужно, — это любовь». Миллионы верили «Beatles», готовы были идти за ними.

Это, конечно, была утопия. Джон Леннон в одной из последних песен, подписанных легендарным тандемом Леннон — Маккартни, сформулировал ее очень просто: «Дайте миру шанс».

«The Beatles» дали миру шанс. Другое дело, что мир не смог им воспользоваться. Возвращаясь к «The Beatles», люди вспоминают о тех временах, когда мир еще был единым.

Возьму на себя смелость утверждать, что Джоан Ролинг может стать явлением того же порядка.

Сегодня сравнение битломании и поттеромании уже почти стало общим местом. Основания для этого видны невооруженным глазом: во-первых, оглушительная всемирная популярность, во-вторых, почти полное изначальное неприятие высоколобой критикой, в-третьих, непрекращающиеся нападки со стороны религиозных деятелей и организаций.

Особенно показательно третье. Участившиеся анафемы в адрес Джоан Ролинг недвусмысленно свидетельствуют о признании ее силы. Недавно «Книжное обозрение» сообщило о показательном сожжении книг о Поттере. К сожалению, психология «Молота ведьм» никак не хочет стать достоянием истории и время от времени громко напоминает о себе. Пастор Флетчер Бразерс, создатель сайта с красноречивым названием «Деревня Свободы», снабдил свои антипоттеровские комментарии ссылками на Евангелие. В 19 штатах США были предприняты попытки законодательно запретить книги Ролинг. В них усмотрена пропаганда язычества и сатанизма.

Что ж, если тоталитарное сознание столь решительно отвергает книги Ролинг, значит, в них есть что-то конструктивное.

Городской Маугли. Когда-то меня потряс своей простотой, граничащей с гениальностью, ответ режиссера Чхеидзе на вопрос корреспондента: почему он решил ставить именно «Отелло»? Чхеидзе ответил: «Хорошая пьеса».

Пожалуй, только так можно всерьез объяснить причину успеха Гарри Поттера. Это хорошие книги. Как прозорливо заметил один из наших рецензентов: «Джоан Ролинг поставила на беспроегрышную карту: на детей — и выиграла». Но хороших книг, к счастью, не так мало. А успех, выпавший на долю поттерианы, беспрецедентен.

«Книжное обозрение» процитировало авторитетное мнение западной критики. Там феномен объясняется тем, что «в ее книгах говорится о важнейших детских страхах — страхе быть покинутым, страхе одиночества, боязни не оправдать надежды родителей. Книги Ролинг убеждают детей в том, что они справятся со всеми трудностями».

Если не обращать внимания на то, что примерно так же допустимо написать об очередной серии «Кошмара на улице Вязов», можно присоединиться к этому мнению. Дети всегда любили страшные сказки, будь то Гофман или Гауф. Обычные детские страшилки порою концентрируют в себе столько ужаса, что Стивену Кингу впору менять профессию.

Но рука не поднимается отнести книги Ролинг к жанру «ужастиков». Страх в них присутствует как неотъемлемая, но отнюдь не доминирующая сторона жизни. Они намного богаче.

Обратимся к началу истории. К первому роману серии — «Гарри Поттер и философский камень». Чудом выжив после трагедии, унесшей жизни обоих родителей, годовалый Гарри оказывается в абсолютно чуждой ему среде. Он живет с чужими людьми в чужом ему невообразимом мире Маглов. Этот мир — «каменные джунгли», которые стремятся проглотить ребенка, приучить его жить по законам этих самых джунглей.

Чем вам не кипплинговский сюжет?

Но проблема в том, что *каждый* ребенок на Земле по-своему Маугли. Для того, чтобы стать по-настоящему взрослым, ребенку необходимо обучиться как раз тем вещам, от которых его ежеминутно лицемерно отучают взрослые. Ему нужно научиться лгать, приспособливаться и т. п. И самое главное, ему нужно отучиться верить. Прямо по Самойлову:

Мы с тобой в чудеса не верим,
Оттого их у нас не бывает.

Но ребенок-то верит в чудеса, и именно это позволяет ему преодолевать все страхи. Даже если на сегодняшнем утреннике Снегурочка была не настоящая, настоящая где-то все же существует.

Эта святая вера может сохраняться у ребенка почти до перехода в подростковый период, несмотря на все происки взрослых. Здравый смысл природы и фантастическое воображение защищают малыша от раннего цинизма.

Подростковый возраст — время разочарований. Подросток уже расстался с иллюзиями, детство для него закончилось. Но взрослые не принимают его за равного, и отсюда агрессия, жестокость. Он-то уже выучил законы джунглей и исполняет их более рьяно, нежели недалёковидные взрослые.

Киплинг оставляет своего героя на пороге взрослости. Так честней. Волк из Маугли получает отменный, человек из него уже не получится никогда. Превращение не может произойти, и Киплингу не изменяет чувство меры.

Не изменяет оно и Джоан Ролинг. Чудо застаёт Гарри Поттера на пороге подросткового периода. Приглашение в школу волшебников Хогвартс он получает именно тогда, когда, по логике вещей, он должен утратить веру в волшебство. Когда из необыкновенного в своей обычности ребенка должен проклюнуться неколебимый в своей заурядности маленький взрослый. Очередной Магл.

У каждого малыша есть свой Хогвартс. Из тех, кому удастся сохранить его в себе на всю оставшуюся жизнь, получают незаурядные люди. Не Маглы.

Ролинг дает возможность Гарри и его одноклассникам, а вместе с ними и всем читателям продлить детство. Подобно Пеппи и Карлсону, которые не умеют взрослеть, все учащиеся Хогвартса защищены от опасности превратиться в среднестатистических взрослых. Они могут сделать это лишь путем предательства, измены идеалам, и тогда им светит прямой путь в объятия зловещего Вольдеморта, опасность которого мы, взрослые, всегда недооцениваем.

Младшеклассники читают Гарри Поттера в захлеб, потому что это их родное. Для них Хогвартс — это что-то по соседству. Они не будут стремиться попасть туда, потому что они уже там. Пока там. Для подростков Гарри Поттер нечто вроде сильнодействующего транквилизатора-антидепрессанта. Наедине с ним они чувствуют себя вполне комфортно, вопреки всем вывертам возраста.

Пока в человеке жив ребенок, он будет верить в Поттера. Он будет верить в торжество добра над злом. Пусть неокончательного, временного, как это и происходит у Ролинг.

Противники Гарри Поттера — это безнадежно повзрослевшие люди. Они совершенно незаменимы и полезны в любой сфере деятельности.

«Учиться, учиться и еще раз учиться». Несомненная удача Джоан Ролинг — выбор сюжета. Предполагаемый объем эпоса о Гарри Поттере — семь романов, соответствующие семи годам обучения в западной школе.

Положа руку на сердце, спросим, что может быть скучнее, чем школа? Как бы ни были хороши учителя, жесткий регламент расписания более всего противоречит свободолобивым устремлениям ребенка.

Тема Ролинг — школьные будни, жанр — роман воспитания. Шаг за шагом, день за днем, год за годом мы, вместе с ее героями усевшись за школьную парту, познаем мир, получаем оценки — словом, занимаемся чем-то довольно неинтересным. Но вот парадокс: дети во многих странах самозабвенно читают ее романы и выстраиваются в огромные очереди за новыми.

А дело, наверное, в том, что писательнице удалось разрешить проблему, которая на протяжении веков казалась неразрешимой, как квадратура круга. Проблему мотивации. Гарри Поттеру знания нужны не потому, что так принято, что когда-нибудь и где-нибудь они непременно пригодятся, а потому, что уже сегодня и сейчас ему предстоит с помощью этих знаний решать вопросы жизни и смерти.

И учиться в Хогвартсе весело и интересно. На уроке физкультуры вместо того, чтобы в тысячный раз прыгать через «коня», можно полетать на метле. На дом тебе зададут сочинение о волках-оборотнях, а на уроке строго спросят, насколько хорошо ты умеешь превращать мышь в шкатулку.

А благодаря этому и жизнь в обычной и совсем не волшебной школе тоже становится хотя бы более приемлемой. В конце концов, если Ролинг чему-то и учит, так только умению находить необычное в повседневном. Ее героини необыкновенны не только тем, что наделены волшебным даром, но и тем, что умеют не скучать. Их учеба требует постоянной напряженной работы воображения, а это усилие способно скрасить любые будни. Ролинг предлагает нам блистательную грамматику фантазии.

Слава Богу, дети лишены скепсиса всезнания, сопровождающего ограниченность. Они не зашорены, а потому способны почувствовать и оценить свежесть восприятия мира Джоан Ролинг. А больше всего можно позавидовать ровесникам Гарри. Так сложилось, что книги о Поттере выходят в свет раз в год, начиная с 1997 года. Тогда одиннадцатилетний Гарри поступил в первый класс Хогвартса. В этом году ему стукнет пятнадцать и начнется пятый год обучения. Герой растет, и вместе с этим меняются акценты в повествовании. И нынешние западные пятиклассники прекрасно понимают и разделяют тревоги сегодняшнего Поттера. Вероятно, их выпуск теперь останется в истории как единственный подлинно поттерианский.

Утверждают, что общий тираж книг Джоан Ролинг за последние три года превысил 60 миллионов экземпляров. У нас же по поводу Ролинг то тут, то там раздаются возмущенные голоса: что-то ее слишком хорошо печатают! Что-то тут не так!

Да почему же не так? Подлинная детская литература всегда издавалась и будет издаваться огромными тиражами, потому что на нее всегда есть спрос. И сегодня, когда весь остальной мир с восхищением говорит о том, что Ролинг удалось то, что казалось уже безвозвратно утерянным, что она смогла вернуть ребенку интерес к книге, мы становимся в третью позицию и заявляем о своем принципиальном несогласии. С кем? С детьми?

У нас Ролинг даже обвинили в том, что ее книги строятся по банальной схеме ролевых игр, а оттого так популярны. Интересно, а у автора этого упрека есть другие схемы построения? Кажется, известно всем и каждому, что ролевая игра всегда была, есть и будет одним из главных способов познания мира для ребенка. И только поэтому, а не почему-то еще компьютерные игры приобрели такую популярность. И Ролинг не слямзила принцип из Силиконовой долины, а просто посмотрела на детей с интересом и доверием.

Или говорят, что Ролинг написала не сказку, а очередное и не очень высококачественное фэнтези. Здесь тоже следовало бы разобраться. В принципе, фэнтези мало чем отличается от сказки. Разве что адресностью. Собственно,

фэнтези — сказка для чуть более старшего возраста (по наблюдению братьев Стругацких — для младших научных сотрудников).

Но во всем мире «Гарри Поттером и философским камнем» зачитываются именно учащиеся начальных классов. И у них не возникает сомнений по поводу сказочности повествования.

Итак, во всем мире книги Джоан Ролинг признали дети. А это факт, против которого, как говорится, не попрешь. Сегодня в англоязычных странах критика рассматривает Ролинг как одно из первых имен послевоенной детской литературы наряду с Толкиеном и Роальдом Далем (кстати, абсолютно неизвестным нашим детям). Она органично влилась в ряд первых имен мировой детской литературы, таких, как Астрид Линдгрэн и Туве Янссон. И в конце концов, разве так уж плохо, что дети стали читать книги о маленьком волшебнике вместо того, чтобы интересоваться ценами на героин?

Отступление 2. Извинительное. Впрочем, я готов взять назад почти все свои замечания в адрес критиков, писавших о Гарри Поттере, поскольку, похоже, они ознакомились только с текстом книги «Гарри Поттер и философский камень», выпущенной издательством «Росмэн». Судить по этому изданию о творчестве Джоан Ролинг можно лишь с той же степенью достоверности, как о музыке Моцарта, послушав ее в исполнении слепого скрипача из пушкинской трагедии.

Без Заходера Винни-Пух никогда бы не стал российским национальным героем, а без Демуровой мы бы еще долго гадали, в чем достоинства странной девочки Алисы из страны чудес. Так уж сложилось, что судьба любой иноязычной книги зависит от переводчика и редактора.

Ролинг, скажем честно, у нас не повезло. Прежняя советская система с двумя издательствами на всю страну, печатавшими переводные книги, как ни странно, была не так уж плоха, поскольку переводом и редактированием занимались исключительно профессионалы. Теперь другие времена. У большинства издателей сложилась неистребимая иллюзия, что для перевода достаточно знать язык иностранный, вместо того чтобы владеть родным. Но мне известно множество примеров, когда блестящие переводы получались после работы с подстрочником именно у переводчиков, не владевших языком оригинала. И нет ни одного примера, когда бы перевод удался человеку, не умеющему как следует писать на родном.

Несчастье Гарри Поттера в том, что его перевели не по-русски. В результате получилось нечто среднестатистическое и неудобоваримое. Переводчик И. Оранский зачистает просто калькирует английские фразы, отчего текст становится тяжелым и труднопроизносимым. За пределами русского перевода остались и словесная игра Ролинг, и многозначные имена, и речевые характеристики персонажей. Перевод изобилует неточностями, приблизительностями и неоправданными вольностями. Почему, к примеру, в названии газеты «Ежедневный Пророк» было опущено первое слово, известно только переводчику.

В целом же волшебная сказка звучит в издании «Росмэна» как очередной бульварный роман, созданный для чтения исключительно в метро. Волшебство исполнено чересчур топорно, а потому буднично. К тому же, кажется, издателям в оригинале не хватило чудесных превращений, поэтому русский перевод их дополнил.

Замечательную жабу по имени Тревор у нас решили переделать в черепаху¹. Хочется надеяться, что сделал это не переводчик, все же посмотревший в

¹ Лакировочная редакторская правка, заменившая «некрасивую» жабу приятной во всех отношениях черепахой, искажает оригинал сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Школе колдунов и ведьм должна соответствовать живность из фольклорных поверий: крысы, летучие мыши, жабы (все это у Ролинг наличествует). Черепахи же к европейским «малым мифологиям» никакого отношения не имеют. (Примеч. ред.)

словаре, что значит слово «toad». Однако на странице 337 русского издания мы читаем:

«„Что вы задумали?“ — донеслось из угла комнаты. Все трое резко повернули головы, увидев застывшего в кресле Невилла, державшего в руках свою свободолюбивую черепаху, — судя по всему, та опять попыталась улизнуть, и Невилл оказался в углу именно потому, что искал ее».

Не обращая внимания на откровенные стилистические и смысловые ошибки, в изобилии сопутствующие этому короткому тексту, представим себе эту свободолюбивую и пытающуюся улизнуть черепаху вместе с головокружительной сценой погони. Тем более, что на следующей странице вам еще добавят:

«Невилл выпустил из рук своего Тревора, который упал на пол и тут же скрылся в неизвестном направлении».

Между тем в Рунете мне известны два симпатичных сайта поклонников Гарри Поттера, выставивших свои непрофессиональные, но старательные, выполненные с любовью переводы.

О гномах-вредителях. Сказочные сюжеты подсчитаны и собраны в указатель Аарне-Томпсона. «Морфология сказки» Проппа давно вошла в обязательную программу американских киношкол. Функции сказочных персонажей расписаны до мелочей, и ни у кого не возникает сомнений по поводу принадлежности тех или иных героев. Даже в классике XX столетия (у того же Толкиена) гоблин непременно служит злу, а эльф добру.

Все дети знают, что сказочное пространство располагается за тридевять земель, в тридесятом царстве и что события там происходили в незапамятные времена.

Все, кроме Гарри Поттера. Так сложилось, что до одиннадцати лет он жил в принципиально антисказочном мире, где любое упоминание о волшебном каралось по всей строгости домостроя. Очутившись в Хогвартсе, он вынужден постигать сказку, начиная с азав.

И тут выясняется, что в конце 90-х годов XX века многое переменялось в сказочном королевстве. Обитатели Средиземья и Авалона перебрались в Лондон и окрестности, учредили Министерство магии, воспитав в своих рядах достойных бюрократов, и зажили собственной диаспорой, не особо мозолящей глаза законопослушного населения, но и не слишком скрытой от него.

При этом, учитывая малочисленность и декларированную удаленность волшебного племени от мира людей, колдуны и ведьмы ощутили себя хранителями консервативного духа. Они не приемлют ни современных средств связи, предпочитая им почтовых сов, ни современных средств передвижения, продолжая бороздить воздушное пространство на метлах. Родными им до сих пор видятся Средние века, о которых в учебнике Гарри сказано:

«Люди обыкновенные, не принадлежащие к волшебному сословию (широко известные как магглы²), в Средние века предпочитали держаться подальше от магии, при этом испытывая серьезные трудности в ее определении. В редких случаях, когда им действительно удавалось изловить колдуна или ведьму, публичное сожжение не имело какого-либо эффекта. Колдуну или ведьме было достаточно произнести основополагающее охлаждающее заклинание, а затем имитировать страдание, наслаждаясь тем временем освежающими и веселящими прикосновениями огня. Небезызвестная Венделин Бесноватая настолько полюбила процесс публичного сожжения, что позволила себе в различных облициях взойти на костер не менее сорока семи раз». (Перевод мой. — В. А.)

² Вероятно, именно так (а не следуя переводу И. Оранского) нужно передавать слово Muggle. В русской традиции перевода существует обычай сохранять удвоенные согласные в экзотических случаях и писать имена нарицательные со строчной буквы.

Джоан Ролинг достаточно тонко пародирует современные реалии и переиначивает сказочные. Гоблины у нее стали специалистами по банковскому делу. Если вспомнить, что в «Тени» Евгения Шварца людоеды служат оценщиками в ломбарде, видимо, мы имеем дело с всеобщим добрым отношением к финансистам. Эльфы окончательно переквалифицировались в прислугу. Злые волшебники либо занимают чиновничьи должности, либо воспитывают подрастающее поколение. Привидения пижут уставы закрытых клубов. Волк-оборотень оказывается добрейшим существом. Гномы, вероятно отчаявшись что-либо отыскать в насквозь перекопанных недрах Объединенного Королевства, занялись вредительством садов и огородов. Сцена их отлова и удаления с садового участка — одна из самых забавных во второй книге.

Министерство магии более всего озабочено сведением к минимуму контактов с обычными людьми. Создается впечатление, что волшебники — просто дети. Они не пускают непричастных в свой мир точно так же, как дети не принимают посторонних в свою игру, защищая себя самих от бесцеремонной вторжения. И естественно, дети оказываются главной реально действующей силой. Гарри Поттер, Рон и Гермиона — настоящие правители волшебного мира. Взрослые маги не столько помогают, сколько не мешают им. Так осуществляется ролевая игра, в которой ребенку дается возможность соперничать и участвовать в мироустройстве не в обещанном далеком будущем, а сегодня и сейчас. Их ответственность соизмерима с величием момента, поскольку противостоит им реальный и мощный враг — Вольдеморт.

Впрочем, Ролинг неистощима не только на выдумки, она еще и мастер остросюжетного повествования. В ее романах присутствуют традиции английского сатирического, фантастического и детективного романа.

И при всем том это сказка. Классическая сказка конца второго тысячелетия.

И как во всякой сказке, зло в ней всегда полярно добру. Как всегда, побеждает здоровое начало, необходимое для нормального развития ребенка.

«Гарри Поттер и Орден Феникса». Сейчас Джоан Ролинг переживает довольно сложный момент. Ее четвертый роман «Гарри Поттер и Огненный Кубок» оказался несколько слабее трех предыдущих. Он тяжеловат, многословен.

Можно понять тридцатипятилетнюю писательницу из Эдинбурга. Когда на тебя, скромную школьную учительницу, внезапно сваливается всемирная слава, огромные деньги, голова не может не пойти кругом. Четвертый роман — свидетельство смятения. Впервые с момента начала эпопеи Ролинг стала заслушиваться собственной речью.

Хочется надеяться, что талант и трудолюбие помогут ей преодолеть кризис. Произойдет ли это, мы, возможно, узнаем после 16 ноября этого года. На этот день назначена двойная премьера: фильма «Гарри Поттер и философский камень» и пятой книги эпопеи «Гарри Поттер и Орден Феникса».

В любом случае Джоан Ролинг уже совершила невозможное. Дети, повторяю, оторвались от экранов компьютеров и взяли в руки книги, а поттериана уже переведена на десятки языков, включая исландский.

Пока мы чужие на этом празднике жизни. Верю, что пока.

Полюбят ли Гарри Поттера наши дети? Решать им. Думаю, что полюбят, поскольку, к счастью, лишены как снобизма, так и квасного патриотизма. Они нормальные люди, а потому их родина там, где хорошо. С Гарри Поттером им не будет плохо.

И все-таки удивительная страна эта Англия. Во второй раз за последние сорок лет ей удастся создать нечто, упраздняющее границы и деление на нации и народности. Неужели футбол тоже придумали они?

ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ



ЧУЖОЕ ДЕТСТВО

Книга Джоан Ролинг «Гарри Поттер и философский камень», на мой взгляд, никак не тянет на литературный шедевр и вряд ли достойна внимания с этой точки зрения, но говорить тем не менее есть о чем. За эту книгу проголосовали деньгами, и деньгами огромными. Тиражи книги в Америке и Англии исчисляются миллионами. Невозможно списать такой успех только на необычайно умелую рекламную кампанию. Любую книгу надо читать, а это всегда труд. И если бы не было чего-то увлекающего в самом тексте, его раскрутить было бы очень нелегко, да и едва ли вообще возможно.

Как книга продается в России? Показателем коммерческой успешности книги является в числе прочих ее разовый тираж, чем он выше, тем дешевле себестоимость каждого экземпляра и тем больше вложенные средства, которые должны вернуться от продажи тиража. Если книга хорошо продается, выгодно сразу печатать большие тиражи. Если книга продается медленно, никакое разумное издательство не пойдет на то, чтобы огромные деньги лежали без движения в виде забитых складов и книжных полок магазинов. Это очевидное замечание необходимо, чтобы попытаться оценить продаваемость книги «Гарри Поттер и философский камень». Разовые тиражи, которыми выпускает книгу издательство «Росмэн» (мне на сегодня — начало апреля 2001 года — известно два издания) — владелец эксклюзивных прав на издание книги в России, — 30 тысяч экземпляров. Это не много, если учесть необычно мощную рекламную кампанию, проведенную прежде, чем книга в декабре 2000 года появилась на прилавках — вполне по западным стандартам — под Рождество. Я не припомню, чтобы о какой-то другой книге, о необыкновенном ажиотаже вокруг нее, говорили в новостных программах ТВ, как это было с книгой Ролинг. 30 тысяч — это просто ничтожно мало по сравнению с тиражами в Америке и Англии. Это меньше, чем разовые тиражи детективов Б. Акунина: они выходили одновременно 30 тысячами в мягкой обложке и 40 тысячами в твердой. Это меньше, чем такой, безусловно, успешный проект того же «Росмэна», как книги Григория Остера. Разовый тираж «Вредных советов» достигал 100 тысяч экземпляров. Может быть, еще все впереди. Может быть, тупой постсовковый ребенок еще не понял своего счастья и, того гляди, погонит своих безголовых родителей скупать «Гарри Поттера» тоннами. Может быть. Мне в грандиозный успех Ролинг в России верится с трудом, и я попробую эту точку зрения обосновать.

Настоящая книга отличается от имитации одним простым свойством, которое по сути своей граничит с чудом. В настоящей книге читатель может видеть и видит даже то, что писатель не описывает. Читатель может безо всякого усилия и насилия над героями представить себе их поведение в ситуации, отсутствующей в тексте. Может увидеть, как выглядит пейзаж за спиной героя. Читая, например, Толстого, на это не обращаешь внимания, но, когда отдаешь себе в этом отчет, это впечатляет. Если вспомнить более близкие к «Гарри Поттеру» примеры, то у Толкиена это требование видимого целого полностью выдержано — фантастический мир построен, и читатель может рассматривать всю панораму этой вселенной, а не только те яркие пятна, которые выхватывает внимание писателя. Достигается такой эффект, наверное, тем, что детали, которые воспроизводит настоящий писатель, — это детали порождающие, они приводят в движение целые пласты читательского опыта и

создают в результате «семантический смерч до небес», как замечательно сказал Сергей Стратановский. «До небес» — не ниже, иначе в описании возникнут пустоты и Ничто примется пожирать сотворенный мир.

Книга Ролинг написана абсолютно не так. Она не создает свой мир, а использует повседневный бытовой опыт читателя. Книга состоит из картинок, разговоров и довольно хаотичных действий. Но картинки в книге — совершенно плоские, отсутствие перспективы полное. Двигаются картинки по белому листу бумаги (нет прописанного фона), то и дело проваливаясь в пустоту. Поступки героев, как правило, ничем не мотивированы, объяснения, приводимые задним числом, похожи на слова, сказанные профессору Плейшнеру: «Это все в шифровке». Ролинг использует, собственно, одну мотивировку: Гарри Поттер — волшебник, силы его практически безграничны, но он ими пользоваться не умеет и не знает, что же он может. Эти его волшебные силы приходят ему на помощь тогда, когда они очень нужны. Читателю остается поверить автору на слово и только охаты! Надо же, а Гарри-то и это может: летать на метле лучше всех, никогда этому не учившись; обжигать прикоснувшегося к нему врага собственной раскаленной кожей. Да, в принципе, он может делать все, что понадобится автору. Это настолько слабая внутритекстовая мотивация, что, строго говоря, никакой мотивацией не является. Детали у Ролинг не говорящие, а проходные. Сказали — и забыли. Например, когда Гарри с товарищем приходят впервые в гости к добродушному великану Хагриду, у него над входом висят калоши. Именно над входом висят — это должно, по видимому, означать, что Хагрид довольно странный человек. Но больше эти калоши ни разу в тексте не упомянуты, ни над входом, ни на ногах Хагрида. Читатель так и не дожидается объяснений — почему же калоши Хагрида над входом висят? Ну, может быть, собака у него калоши любит погрызть? Нет, тишина. Или возьмем описание зала, в котором должна состояться церемония принятия героя в школу волшебников: «Гарри даже представить себе не мог, что на свете существует такое красивое и такое странное место». Дальше можно уже ничего не говорить. Это — замена зримого зала ярлыком. Куда труднее самим описанием заставить читателя поразиться странности и красоте этого помещения. (Для сравнения. Слова Алисы у Льюиса Кэрролла: «Почему это место такое странное?» — следуют за описанием и из этого описания естественно вытекают). Бертран Рассел говорил, что постулирование настолько же выгоднее доказательства, насколько воровство выгоднее честного труда. Ролинг занимается чистым постулированием. Она ничего не создает. Ее мир — это мир, где вместо вещей расклеены рекламные этикетки, и пафос тот же: «Нигде вы такого не найдете — только у нас». Можно довольно долго продолжать, но мне кажется — незачем. Чтобы убедиться в полной несостоятельности текста, достаточно прочитать первые десять страниц. Ничего дальше не изменится — не надейтесь, будет точно так же. Ролинг не Астрид Линдгрэн, не Джон Рональд Толкиен, она не писатель, а имитатор.

Но вернемся в начало. Почему миллионные тиражи в Америке? Если это такой никчемный текст, значит, его может написать любой грамотный человек и таких текстов много? Почему же все-таки такой уникальный успех пришел именно к «Гарри Поттеру»?

Всякий талант неизъясним. Талант бестселлера тоже. Но можно высказать несколько предположений. Я рискну предположить, что ажиотаж вокруг книги создали не дети, которым она вроде бы предназначена, а взрослые — те, кто читает издания в серых обложках без картинок (это специальные издания, которые делаются, чтобы взрослые, читающие «Гарри Поттера» в метро, не испытывали неловкости). По детям книга ударила рикошетом. Книги покупают взрослые, поэтому для того, чтобы детская книга хорошо продавалась, нужно, чтобы она нравилась как раз взрослым. У ребенка нет взрослой заштампованности, и он вполне может представить себе совершенно новый мир. Взрослому нужны нерядовые усилия, чтобы играть в незнакомые игры. Поэтому нужно написать так, чтобы взрослые играли в привычные игры, но чуть-чуть приправленные острым соусом волшебства. Менять ничего не надо,

более того, менять ничего и нельзя. Все должно быть насквозь узнаваемо и привычно, но немного не так. Платформа не 9 и не 10, а 9 и три четверти. Волшебство наброшено на повседневность, как легкий прозрачный флер. И эта самая повседневность вдруг обретает неожиданные приятные оттенки — какую-то новизну. «Край света за первым углом» (Юрий Кузнецов). Если показать мир почти такой же, как повседневность, лишь немного другой, автор освобождается от необходимости описывать конкретные вещи и положения, и это очень облегчает чтение. Все насквозь узнаваемо, с одной стороны, и все немного необязательно — с другой. Гарри Поттер — это английский взрослый, который со всем своим знанием и опытом вернулся в свою закрытую частную школу, где в свое время, будучи мальчиком, немало настрадался. Но теперь, много лет спустя, когда даже самые горькие слезы высохли, эта школа полна для него очарования — это ведь его собственное детство. И возвращается он не таким, как был, — маленьким и слабым, он возвращается всемогущим волшебником. Он может посчитаться со всеми своими недругами, но он даже этого не будет делать, он просто спасет их всех скопом от лютой гибели и — самое главное — выиграет для факультета Кубок школы, а это и есть предел мечтаний и для школьника, и для взрослого. Ну, может быть, этот взрослый кубок называется немного не так. Они там играют не в футбол, а в квиддич (гибрид баскетбола, бейсбола и мото... нет, метлобола?). Ну, это ничего. А мы вот играли в баскетбол, или бейсбол, или футбол. А в общем, у нас ведь все так и было. Ах, детство, детство. И взрослый, серьезный человек — менеджер крупной компьютерной фирмы — затянется вкусной сигарой и подумает: «Надо же, время уже первый час, вот ведь зачитался. Еще могу быть совсем ребенком. Надо обязательно, чтобы дети прочли. Книга замечательная». И дети читают. Они находят в книге свое — компьютерную игру. Легонький квест с элементами реал-таймового мордобоя. Последние главы, где Гарри спасает человечество от злого волшебника, — это в точности такая игрушка. Семь уровней, которые надо пройти, сражаясь, но и решая головоломки. Таких игр много. Книга построена по правилам рекламного ролика — броские, обязательно узнаваемые и желаемые картинки, в подтексте которых фраза «съешь меня» или для разнообразия «выпей меня». Реклама — это уже стрельба дробью — никто не уйдет. И Ролинг собирает из рекламы коллаж.

Но по тем же причинам, в силу которых «Гарри Поттер» имеет сумасшедший успех в Америке, он не слишком хорошо продается в России. Его покупают, как правило, из любопытства: «Надо посмотреть, с чего это они там с ума походили». Но нет главного, что делает книгу столь привлекательной для западного читателя, — нет этого опыта повседневности, настолько скучной и серой, чтобы ее нужно было околдовывать. Наша российская действительность настолько нескудная, в ней столько «чудес», что хочется, напротив, чтобы она стала посерей и поскудней, а то ведь можно, замечтавшись одним чудесным вечером, получить обрезком трубы по голове в пустом подземном переходе. Всюду, где англичанин узнает привычные с детства вещи, российский читатель проваливается в пустоту — ему не хватает описаний, таких, как у Линдгрена, в книгах которой воссоздан реальный Стокгольм. В России есть и реклама, и компьютерные игры, но нет здесь того опыта повседневности и того опыта детства, к которому каждой фразой апеллирует Ролинг. Получилось почти так: нам предложили перевод текста английского шлягера, и мы читаем его, только догадываясь о том, что есть еще и мелодия, и голос.

Судя по тому успеху, который имеют книги Ролинг, она необычайно тонко почувствовала ту степень банальности, до которой можно опуститься, не слившись с ландшафтом, или ту минимальную высоту, на которую можно подняться, от ландшафта не отрываясь. Такое чувство конъюнктуры — это много, и это много имеет реальное суммовое выражение — десятки миллионов долларов.

Пишите бестселлеры, господа писатели, если, конечно, сумеете.

Заключительная реплика. Ответили ли наши авторы, по-разному оценившие книги о Гарри Поттере, на вопрос о причинах их головокружительного повсеместного успеха? Мне кажется, что главный ответ у них прозвучал вскользь, но, как ни странно, он совпал у обоих. В. Александров замечает, что волшебная школа Хогвартс, во многом так похожая на школу обыкновенную, помогает ребенку примириться с учебой в этой обыкновенной, скучной школе (неужто непременно скучной?!). А В. Губайловский фактически вторит ему, говоря, что в книгах Ролинг флер волшебства наброшен на самую что ни есть повседневность. Здесь-то, предполагаю, собака и зарыта. «Проект» Джоан Ролинг — адаптационный.

Любая волшебная сказка и — идя глубже — любой миф, едва ли не любое религиозное верование предполагают (до сих пор предполагали) *иномирие* и *двоимирие*. То же можно сказать и о любых утопических и революционных доктринах, которые переносят представление об «ином царстве» в «царство будущего».

Бедный студент Ансельм из фантастической новеллы Э. Т. А. Гофмана «Золотой горшок», «сбросивший бремя обыденной жизни», обретает имение в Атлантиде, во владениях золотой змейки Серпентины, и тождественно оно той «порядочной мызе», которой владеет сам рассказчик как идеальной «поэтической собственностью» своего ума. Такая мыза дается *взамен* солидной недвижимости на земле, *взамен* *realty*.

У Ролинг принципиально все по-другому — никакого зазеркалья и никакого толкиенизма. Противопоставление мира магов и мира «Маглов» (обывателей — филистеров на романтическом языке Гофмана) — поверхностно-бутафорское. Задача же: вписать в среду «Маглов», в среду серьезной, неукоснительной, взрослой жизни, живое и непокорное детское воображение. Главный герой имеет доступ в платную школу волшебства благодаря тому, что его покойные родители оставили в наследство кругленькую сумму в банке — не простым, конечно, а колдовском, охраняемом в подземелье гоблинами. Летательная метла достается ему отличной марки — они разнятся конструкцией и дизайном, как мотороллеры. Общежитские корпуса волшебного колледжа соревнуются, кто больше наберет очков за примерное поведение, хорошую успеваемость и спортивные достижения (вместо привычного футбола — командная игра на школьный кубок в воздухе, верхом на метлах). По окончании курса продвинутые выпускники получают возможность отправиться за рубеж в рамках какой-нибудь экологической или гуманитарной программы — изучать драконов в Румынии, например. И так — во всем. Рождественская елка, пасхальные каникулы в школе колдовства и ведовства — писательница не ощущает здесь ни малейшей нестыковки: внутренний смысл праздников утрачен.

Советский писатель Лев Кассиль отделил *Кондуит* от *Швамбрании*, гимназическую рутину от игры смысленных детей в Свой Мир. Пришла революция, упразднила «кондуит» с вписанными туда враждебными баллами, но отменила и Швамбранию как сбывшуюся в революционно-эсхатологической перспективе и ставшую уже не нужной мечту. Буржуазная писательница Джоан Ролинг (это не оценка, а констатация, как и в первом случае) выпустила в свет *Кондуит* и *Швамбранию* в одном флаконе. Она приучает ребенка к «бремени обыденной жизни», подсвечивая ее бликами необыденности, но давая понять, что эта жизнь — единственно возможная, что *другой жизни*, другой реальности нет и быть не может. Она оберегает детей от будущих разочарований, от пресловутого синдрома утраченных иллюзий, подстерегающего романтиков и идеалистов.

Хорошо ли это? Пусть каждый решает сам. Говорят: это лучше, чем колоться героинем. Согласна. Но причины «улётов» глубоки, и сработает ли паллиативное средство?

Кстати сказать, не вполне корректно, по-моему, сравнение «Гарри Поттера» с битлз. Размах славы, может статья, похожий, а смысл ее — другой. Ливерпульская четверка — одно из воплощений протестной инаковости: там было и неприятие «репрессивной цивилизации», и движение к «Востоку на Западе», и психоделика, и прочие признаки молодежной *контркультуры*. «Гарри Поттер» — воплощение спокойного и разумного конформизма в облатке из чар³.

³ Примечательно, что в этой *английской* книжке — относительный дефицит юмора. Джоан Ролинг не станет давать «вредных советов».

Симпатичная выдумка Джоан Ролинг (художественные требования, предъявляемые ей одним из наших авторов, на мой вкус, неоправданно завышены), сочетающая привлекательность сказки, детектива, триллера и ролевой игры, не имела бы все же оснований стать литературным событием и не стоила бы судов-пересудов, если бы не неожиданные масштабы успеха. Его-то и можно счесть знаком эпохи. Он означает, что время молодежных бунтов, Великого Отказа а-ля Маркузе, слогана «Лучше умереть от голода, чем от скуки», который мятежные студенты 1968 года легкомысленно писали на стенах Сорбонны, — что это время прошло не только давно, но прочно и надолго. Что наступил (временно, разумеется) тот самый «конец Истории», о коем нам засвидетельствовал Френсис Фукуяма. И что, если действительно удастся вырастить «поттерианское поколение», это будет первое абсолютно неромантическое поколение «цивилизованного мира», которое попутно опровергнет максимум одного из католических философов: «Человек — животное, кормящееся трансцендентным». (Совсем не хочу сказать, что поколение это окажется вне морали: Ролинг строит сюжет на традиционной борьбе со Злом, хотя не очень понятно, откуда Зло взялось и почему злобствует.)

А впрочем: что значит «надолго»? И будут ли точно так же обстоять дела в России? Поживем — увидим.

Ирина Роднянская.



Р Е Щ Е Н З И И. О Б З О Р Ы

ТРИСТА ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА, ИЛИ ВЕЧНОСТЬ У РЕКИ

Алан Черчесов. Венок на могилу ветра. Роман. СПб., «Лимбус Пресс», 2000, 526 стр.

Так случилось, что новый роман Алана Черчесова уверенно вошел в финальную тройку лауреатов премии имени Аполлона Григорьева и только на самом финише уступил первенство сборнику стихов Веры Павловой. «Четвертый сон» Павловой и черчесовский «Венок...» не очень-то сопоставимы не потому только, что — стихи и проза. Слишком несхож замах: проба поэтизации сокровенно-полузапретных детских воспоминаний и любовных полетов в стихах Павловой и почти утопическая по нынешнему времени попытка Черчесова в очередной раз создать современный национальный эпос на романной почве. И еще один контраст. Ироническая отстраненность лирической героини Павловой, только и делающая возможной поэтизацию материй заведомо непоэтичных, зримо противостоит позиции рассказчика у Черчесова, ни в малой степени не разбавленной иронией.

Так ли, иначе ли, но обширная пресса роману — лауреату Григорьевской премии была обеспечена. Отклики на черчесовский «Венок...», как и положено в столь провокативных случаях, весьма противоречивы. Многие рецензенты пафосная стилистическая манера автора романа приводит в раздраженное недоумение. Ну а, скажем, З. Марданова, наоборот, говорит о «легко различимой особенности художественной манеры Черчесова, которую можно определить как „наслаждение словом“»¹. Читателю, воспитанному на стилистических изысках концептуалистов и иже с ними, притерпевшемуся к неперемennomu сопряжению вычурности слога и иронической поэтики, черчесовское «наслаждение словом» вполне может показаться избыточным, нарочитым. Ну право же, что, как не цепь излишеств и плеоназмов, такое вот описание вошедшего в лес дотошного и недоброго человека, ищущего разгадки тайны: «Выбежав к чаше, Казгери встал, пощупал ладонями воздух, напряг слух, подкосил глоткой вдох и шагнул осторожно к трусливым кустам, притворяющимся, будто они смотрят мимо!»

Конечно, легко возразить, что герои Черчесова живут в некоем абсолютном, мифологически первоначальном мире, лицом к лицу с одухотворенной природой, что каждый здесь одинок и замкнут в своем собственном поединке с мирозданием... Отсюда, дескать, и пассажи вроде «подкосил глоткой вдох». Контраргументы и тут понятны до очевидности: помилуйте, какой там эпос, ведь уже прочитан Фолкнер, а сто лет одиночества наедине с судьбою тоже явлены публике тому назад тридцать лет и три года (1967)!

Подобное столкновение как действительно прозвучавших, так и возможных реплик хвалителей и хулителей черчесовского эпоса можно было бы продолжать и далее. Однако хвалы «мастерству» владикавказского прозаика, равно как и раздраженные суждения о заведомой вторичности его поэтики, все же вряд ли уместны. Черчесов как-никак филолог, к тому же занимавшийся Фолкнером профессионально. А коли так, то все явные и скрытые аллюзии на классика двадцатого века намеренны и допущены с умыслом, в котором только еще предстоит разобраться.

Одна из важнейших подобных «цитат» — судьба человека по имени Ацамаз, который через ряд косвенных сюжетных деталей может быть с большой долей уверенности отождествлен с главным героем первого романа Черчесова, о котором мне в свое время доводилось писать («Новый мир», 1995, № 4). В романе «Реквием по живущему» речь шла о человеке, вынужденном отказаться на долгие годы от собственной судьбы и, главное, от призвания живописца, поскольку его искусство

¹ Марданова З. Спасти рядового Бога: герои Алана Черчесова в мифическом пространстве. — «Ex libris-НГ», 2001, 1 февраля. Не могу не отметить абсурдность заглавия рецензии З. Мардановой. Какие бы то ни было ассоциации с фильмом про рядового Райана в романе (равно как и в тексте З. Мардановой) явно отсутствуют.

тем вернее приносит несчастье, чем оно глубже проникает в загадки жизни. Набросать на холсте силуэт девушки, подобно лани, вспрыгнувшей на отвесный утес, означает обречь ее на гибель: легконогое создание непременно вообразит себя ланью и разобьется при попытке взобраться на скалу. На долгие годы живописец-рассказчик отказывается от собственного имени и принимает взамен прозвание *Одинокий* — в этом и состоит демонстративное сходство с маркесовской сагой о столетии одиночества в Макондо.

Одинокий добровольно лишает себя какой бы то ни было творческой активности, из участника превращается в свидетеля событий, разворачивающихся в горных осетинских аулах, в ущельях на границах Кавказа и равнинной России, христианства и ислама. Одинокий обладает особым зрением, происходящее видится ему в том ракурсе, который всем прочим героям недоступен. Его роль и значительность состоят именно в отказе от всякой роли и значительности. Окружающие не видят в нем пророка, наоборот, он кажется им совершенно отреченным от мирских забот, человеком, соединяющим противоположности, смысл и бессмыслицу, добро и зло.

Одинокий-Ацамаз острее других ощущает главное обстоятельство, определяющее жизнь в окрестных аулах. Время здесь поистине «вывихнуло суставы», над миром и людьми тяготеет некое проклятие, обозначающее отдаление от правды и праведности. Ситуация «конца золотого века» для мифологических и фольклорных сюжетов вполне традиционна. Знакома она читателю также по той литературной традиции истекшего столетия, в рамках которой принято изображать человека укорененным в общинном и этническом бытии, порою в биологическом существовании — в чем угодно, кроме внешней, наносной и несущественной «социальности», связанной с так называемым прогрессом.

Именно так обстоит дело и в романе «Венок на могилу ветра». Где-то рядом с аулами существует совсем иная реальность. Там высится русская крепость, выступают артисты бродячего цирка, в лавках идет бойкая торговля, даже выстроен завод — единственная реалья, позволяющая хотя бы приблизительно определить «историческое» время действия. Впрочем, любая точная датировка происходящих событий несущественна, даже фиктивна, ведь все приключения героев случаются скорее в перспективе вечности, нежели в связи с историей. Даже религия в этом масштабе изображения жизни отходит на второй план. Быт осетинских аулов описан с подчеркнутой тщательностью, мелькают слова «хадзар» (дом), «хурджин» (переметная сума), однако вовсе отсутствуют упоминания о церквях либо мечетях, о священнослужителях и т. д.

Итак, над миром горцев тяготеет проклятие, лишившее ход вещей естественной упорядоченности и стабильности, заставившее людей расстаться с радостным первоначальным неведением греха. Грехопадение, согласно легенде, свершилось триста лет назад, когда жители аула один за другим умерли от загадочной болезни, причем перед смертью они замуровывали себя заживо в склепах. В памяти осталось неясное предание о том, что все они были отравлены водами реки, получившей название Проклятой. На ее берегах с тех пор никто не селился, а несколько полуразрушенных склепов, ставших последним приютом жителей погибшего аула, до сих пор сохранились на небольшом островке посреди реки.

Впервые в эти места привел Одинокого дед незадолго до смерти, сюда же через тридцать лет он пришел снова, поскольку знал, что должен умереть именно на берегах Проклятой реки. Смерть его действительно наступит, однако она будет означать иное — не конец, а начало, не смерть, а жизнь, ибо прежде произойдут события совершенно неожиданные. У злополучной реки странника встречает не безлюдье, но людская драма. Здесь поселились трое изгоев — два друга, похитившие женщину, ставшую женою одному из них и причиной невыносимых страданий для другого.

Обитатели нового аула, нарождающегося на месте свершения древнего проклятья, чувствуют, что с приходом чужака «в эту странную непрочную языческую жизнь вмешалась грозная небесная десница». Все мужчины обретают ранее утраченные имена: Хамыц (муж похищенной женщины), Тотраз (его обделенный любовью друг) и, наконец, сам Одинокий, в первый раз названный Ацамазом. По-

следний лишь до некоторой степени оправдывает свое имя:² порою соседи слышат по вечерам тоскливые звуки его свирели. В остальном же он вовсе не волшебник — замкнутый и непонятный для соседей. Живущий крайне уединенно, Ацамаз словно бы свысока следит за их борьбою со злом и друг с другом. Соседям кажется, что ему «наплевать и на жизнь, и на смерть, и на самую разницу между ними».

С течением времени к жителям безымянного аула прибываются новые поселенцы. Все они — тоже изгои, исторгнутые миром за нарушение незыблемых устоев. Многие из жителей аула совершают одно и то же преступление: крадут женщину, причем раз за разом жертва насилия проникается любовью к похитителю. Вообще любовь здесь почитается превыше всех добродетелей, а самое страшное наказание — отсутствие потомства.

Сложнейшие сюжетные перипетии (побеги, покушения, подмены близнецов и т. д.) так и не приводят героев к ответу на главный вопрос: что есть грех, что — добродетель. Черчесов воспроизводит ситуацию, с исчерпывающей полнотой изображенную еще Фолкнером в романах йокнапатофского цикла. Дело в том, что бросающий вызов мировым стихиям нередко выказывает тем самым смирение перед судьбой, и, наоборот, покорность норме и добродетели зачастую оборачивается дерзким вызовом, достойным небесной кары. Так, Мария, одна из двух дочерей русского графа, занесенных ветрами судьбы в осетинский аул, заслужила всеобщее почтение не только самоотверженностью и готовностью идти на жертвы ради другого, но и тем, что в моменты предельных испытаний «умела не подчиняться — ни долгу, ни стыду, ни совести».

В этих условиях главное для каждого из героев — *услышать самого себя*, — в отсутствие судьбы и даже Бога, вне каких бы то ни было заранее нависших над свободным поступком запретов и заповедей. Именно это выстраданное созвучие с собственной подлинностью неминуемо совпадает с волею провидения и божества, тождественных природе вещей. Из всех героев Ацамаз переживает это открытие наиболее пронзительно: «Десятки лет он боролся за это — поверить в Него или отринуть свою веру совсем, навсегда <...> Оказывается, Его не надо было искать <...> Чтобы понять это, ему потребовалось сорок лет».

Финал романа, пожалуй, излишне прямолинеен. Облачившегося в новую бурку Ацамаза по ошибке убивает выстрелом в спину младший отпрыск семейства чужаков, вечных скитальцев-преступников, ищущих в жизни не любви, но лишь корысти. Долгие годы эта семья прожила бок о бок с «коренными» жителями аула и принесла на их землю немало бед. Теперь пришлое злодеи наконец покидают берега реки, вроде бы избавившейся от давнего проклятья. Заданность итоговой схемы бросается в глаза. Получается, что проклятье искуплено жертвами новых насельников аула, прежде пережившего триста лет безлюдного одиночества брошенных могил. Это означает, что смерть Ацамаза равносильна продолжению жизни: овдовевший и вновь полюбивший Хамыц произносит в самом конце романа фразу столь же многозначительную, сколь и стандартную: «А может, это только начало?... Может, я еще себе пригожусь?..» Вот так — и никакого подобия «наслаждения словом»...

Подобный хеппи-энд в немалой мере противоречит заданным самим же автором романа правилам игры. Вечно становящийся, юный мир, непрерывно подвергающийся искушению цивилизации, греха, произвола, не может ни выиграть, ни проиграть в этой извечной схватке. Победа здесь тождественна поражению и может означать только одно — конец, пресечение мифологически предвечной свободы. Между тем автор в финале слишком явно отличает поражение от победы, и потому «фолкнеровская» поэтика оборачивается голой риторикой, а изначальный мощный стилистический всплеск превращается в фикцию, он лишь иллюстрирует выписанный Черчесовым готовый рецепт победы добра над злом.

Нельзя не сказать, что первый роман нашего автора (пусть менее совершенный стилистически и более запутанный сюжетно) все же был выстроен гораздо тоньше. В романе «Реквием по живущему» Одинокий оказывался в роли своеобраз-

² Согласно авторскому комментарию, Ацамаз — герой осетинского нартского эпоса, певец и музыкант, обладатель чудесной золотой свирели.

разного «культурного героя», посредника между миром цивилизации и миром природы. Его причастность тайнам искусства давала шанс наблюдать лишь извечное противостояние мифа и отрицающих его позднейших культурных парадигм, фиксировать непрестанное динамическое взаимодействие обоих начал, вечное обновление мифа, но никак не наступление безраздельного господства одного из возможных миропорядков.

Риторическая тенденциозность для художника всегда рискованна, целенаправленная защита средствами искусства некой конкретной системы ценностей вовсе не гарантированно приводит к успеху, чаще все получается наоборот. В предисловии к опубликованному в «Знамени» фрагменту из нового романа Черчесов прямо говорит о своих намерениях: противостоять натиску художественного постмодернизма, ведущего к диссоциации смыслов, исчезновению системы привычных ориентиров. Оно бы и славно, да вот незадача: принудительными, прямолинейными усилиями не оживить увядших норм и правил, особенно на территории искусства.

Вновь приобретенная талантливым прозаиком склонность к негибкой назидательности слышится и в его последних интервью и статьях. Вот образчик подобной поэмы: «В смысле же метафорическом демократия — это невеста, ни репутация, ни внешность которой никого, если он в здравом уме, устроить не могут, но не жениться на ней совесть не позволяет, тем более что девица-то эта беременна от твоих же главных надежд. Свои грехи демократия привыкла очищать святой водой из неиссякаемого колодца „высших человеческих ценностей“ и в этом смысле мало чем отличается от тоталитаризма»³. Подчеркиваю еще раз: меня здесь не устраивает даже не логика рассуждений (она не нова и никого удивить не может), но самая не терпящая возражений миссионерская тональность высказывания.

В общем, несмотря на выход в свет нового романа, постмодернизм остался неповерженным, а хаос мировой — неизжитым. И, собственно, иначе и быть не могло, только вот суметь бы отнестись к этому обстоятельству с толикой необходимой для художника самоиронии, которой в данном конкретном случае изрядно не хватает читателю нового романа Алана Черчесова.

Дмитрий БАК.



ВОСКРЕСЕНИЕ ШАРИКОВА

Сергей Стратановский. Тьма дневная. Стихи девяностых годов. [Послесловие Виктора Кривулина]. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 186 стр. («Премия Андрея Белого»).

Книга Стратановского состоит из девяти пронумерованных, но не озаглавленных разделов. Она организована по строгому тематическому принципу, и главные темы каждого раздела легко вычитываются из текстов. Очень условно их можно назвать, например, так: I. «Злоба дня», II. «Лагерь», III. «Война», IV. «Россия», V. «История и культура», VI. «Революция», VII. «Душа человека» (самый большой раздел и самое сомнительное из присвоенных мною названий), VIII. «Вера», IX. «Сказка». Эти девять разделов легко группируются в три части: действительность — история — человек. Если взглянуть на разделы как на целое, то можно увидеть своего рода лестницу восхождения к свету, к мечте. От самого мрачного — дня сегодняшнего до несуществующего, только предполагаемого сказочного мира. Это подъем или побег. Но ведь не случайно, пронумеровав разделы и тематически сгруппировав стихи, автор никаких названий частям книги не дал. У нее есть внутренний гораздо менее очевидный сюжет.

Никита Елисеев, критик внимательный к деталям и чуткий к частностям, в своем отзыве «Клерк-соловей и Тартарен из города Москвы» («Знамя», 2001, № 1) сравнил стихи Стратановского с розановскими «Опавшими листьями»: «У Страта-

³ Черчесов Алан. Какого цвета черное? — В сб.: «Защита будущего. Кавказ в поисках мира». М., «Глагол», 2000, стр. 165.

новского та интонация, что давно должна была появиться в русской поэзии. Об этой интонации писал Тынянов, рассуждая о поэзии Ходасевича — „стиль бормочущей розановской записки”¹. К Ходасевичу это вряд ли приложимо, а вот в Стратановского попадает со стопроцентной точностью. „Стиль бормочущей розановской записки” — это именно его стиль.

Розанов закоулок
 То есть имени Розанова
 Где-то там, в ветхомани ветлужской
 Или калужской, владимирской
 сызранской, тульской, рязанской
 Закоулок заветный,
 снытью заросший, крапивой
 С церковью квелой
 и голой поповной у баньки
 А за банькой — луга, облака...»

Стихотворение, процитированное Никитой Елисеевым, помещено в пятый раздел книги. Тематически это оправдано именно упоминанием Розанова. Но, мне кажется, оно могло бы попасть и в девятый раздел — сказочный, где бы с «голой поповной» соседствовали «Леший с проплешиной», «Вавила и скоморохи», «Царь-Девушка степная». Поповна такой же сказочный персонаж — она из другого мира, светлого, имеющего к среде обитания человека отношение сна и детской мечты.

И в тыняновских словах, и в замечании Никиты Елисеева есть какое-то неприменное желание найти в русской поэзии аналог розановским «опавшим листьям». Но, может быть, не нужно ходить так далеко — Ходасевич, Стратановский? Розанов, издавая «Уединенное», каждый отрывок располагал на отдельной странице, так, как печатают стихи. Бердяев писал о литературном даре Розанова: «Это была настоящая магия слова. Мысли его очень теряли, когда вы их излагали своими словами». И Розанов, и Бердяев, по-видимому, считали, что «Уединенное» — это как-то очень близко стихам, хотя и не традиционным для русской поэзии. Другое дело, что для Розанова принципиальность оппозиции поэзия — проза по отношению к его работе была не главным, его гораздо больше волновала точность мгновенно снятого состояния души и самочувствия. Может быть, «опавшие листья» или «мимолетное» — это есть и название поэтического, стихотворного жанра, в котором работал Розанов? Но если слова Тынянова о «стиле бормочущей розановской записки» к Ходасевичу вряд ли подходят, то к Стратановскому, как я думаю, они подходят еще меньше. «Бормочущей» — может быть, «розановской» — нет. Мало ли что можно набормотать.

На мой взгляд, вообще трудно найти более далекого от Стратановского писателя, чем Розанов, и здесь некоторое внешнее сходство — «бормотание» — не должно обманывать. У Розанова это действительно записки, написанные в халате, и прорывающееся отчаяние почти всегда нейтрализовано и побеждено надеждой тем более сильной, что опора надежды имманентно проста — это дом и быт. Когда Розанов проводит ревизию своих (немалых, надо сказать) жизненных успехов, что он предъявляет как аргумент бессмысленности своего бытия? То, что вокруг его работы кормилось 10 человек. «А мысли?.. Что же такое мысли... Мысли бывают разные». Розановское говорение замечательно своей непрерывностью, это сам процесс мышления или «поток сознания», и он постоянно подчеркивает мимолетность и моментальность своих записей.

У Стратановского стихи — это всегда отчаянное усилие преодоления. Ни о какой непрерывности, текучести, мимолетности здесь и речи нет. У него нет ни дома, ни быта, вместо них — «вещей привычных внутренняя ночь». Не говоря уже об уюте и тепле. Стихи Стратановского насквозь пронизаны ледяным ветром и по-

¹ Неточная цитата из статьи Ю. Н. Тынянова «Промежуток»: «...стихотворная записка: „Перешагни, перескочи...” — почти розановская записка, с бормочущими домашними рифмами, неожиданно короткая — как бы внезапное вторжение записной книжки в классную комнату высокой лирики...» (Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, стр. 173).

гужены в непроглядную тьму. Тьма вообще центральный образ и главная тема книги. «Тьма дневная» — это солнечное затмение, опустившееся на землю в момент распятия, и это же абсолютная слепота. Темнота не только извне, она же и «внутренняя ночь», совпадающая по оппозиции с «тьмой внешней», где «будет плач и скрежет зубов» (Мф. 22: 13). Это же и «паучья» темнота, напрямую связанная с распадом и умиранием, как в мандельштамовском «Ламарке»: «Зренья нет, — ты зришь в последний раз... / Наступает глухота паучья, / Здесь провал сильнее наших сил». В книге Стратановского темнота многообразна: «На солнце смерти тень», «в черноте обмороженной», «тьмы клубящейся», «О, как бьется, как бьется душа / в комнате темной, / как бьется...», «Порожденье... / Мерзкой тьмы подбогиночной» и так далее, и так далее. Тьма метафизическая и физическая, внешняя и внутренняя, нечеловеческая, глухая, непреодолимая. И в такой невеселой обстановке Стратановский предпринимает попытку не только продолжить существование, но и говорить стихами. Вряд ли здесь возможны бодрые розановские поездки за рыжиками и «испанскими громадными луковицами» в чистый понедельник. Тут бы выжить как-нибудь. А чтобы выжить, нужно найти хоть какую-то опору для тела и духа. И искать придется в полной тьме, на ощупь: ошибаясь, сбиваясь, путаясь, оступаясь и падая. Но прежде чем что-то искать, нужно поверить в то, что жить стоит, что жизнь — ценность, несмотря на всю ту муку, которая захлестывает и стягивается. И ближайшей опорой оказывается ежедневная работа — поэзия и слово. Правда, письменный стол в лучшем случае стоит в окруженном чумными карантинами Болдине, где «страхом объятый народ / Отравителей ищет». Но все же: «Делай дело свое / за столом, в кабинете рабочем / Из трагедии Вильсона / кончить пора перевод».

Важнейшую роль в книге Стратановского играет рифма. Несмотря на то что стихи намеренно нерегулярны, а рифмы выглядят почти случайными и необязательными. «Подобно голубю ковчега, / Одна ему с родного берега / Живую ветвь приносишь ты» (Баратынский). Рифмы в стихах этой книги похожи на грубые и простые узлы, которыми вяжет страховочные веревки идущий по нависающему склону альпинист.

Говорили «вцепись»,
 повторяли «держись»
 Как за буйный шиповник — руками
 Но меня не хватает,
 совсем не хватает на жизнь
 От нее заслоняюсь — стихами
 А еще не хватает,
 совсем не хватает на смерть
 Сохрани меня, Господи!
 Помоги не сорваться, суметь
 Уцепиться за чахлый,
 ползущий по склону кустарник

Последняя нерифмованная строка — это обрыв: не держит «чахлый кустарник», будь он неладен, не держит. Но есть все-таки далекое, едва уловимое созвучие: «хватает — кустарник». Рифмы Стратановского редки в тексте, как проблеск надежды. Они — те связи слова и мысли, которые уцелели после тотального распада, сохранились, выдержали, пережили катастрофу. Пока одно слово способно поддерживать другое, пока они идут в связке — есть надежда на гармонию и на выход к свету.

Страстная пятница

В черный день Его скорби,
 когда Он на гору волок
 Крест железобетонный,
 задыхаясь в поту, спотыкаясь
 В этот день страсготерпный
 накиряться по-черному, в стельку,
 Выть от скорби иной,
 Непонятной какой-то, дрянной,
 Но такой же смертельной

При всем отчаянии и падении ассонансная рифма, возникающая неожиданно в последней строке, поднимает, подхватывает, бьет, как «иглобомба словесная, семантический смерч до небес», и сама возможность разделить Его скорбь оказывается спасительной.

Словотворчество Стратановского совершенно ненасильственно, и у него есть удивительные открытия. Вот та же «ветхомань» — ветхой веткой заветной манит, глубиной, запустеньем, глухим закоулком. Это облако настояно на ненарушимом покое. Как же хочется туда! Как тянет эта ветхомань — как сладкий омут. Иногда, чтобы родилось новое слово, поэту достаточно слить частицу с глаголом — «звезда, но иного, невнешнего неба». «Невнешний» — сразу попадает в ряд «нездешний», «невечерний». Я вполне допускаю, что это слово уже встречалось в литературе, но здесь оно необыкновенно нужно. «Невнешний» — это не внутренний и не внешний, это и внутренний, и внешний одновременно. Можно, конечно, помянуть гегелевское «снятие», но гораздо интереснее всмотреться и вслушаться в смысл слова — это не теоретическое построение, это событие, происходящее здесь и сейчас. В своих словесных экспериментах Стратановский никогда не отрывается от самого языка, его новые слова — это слова, которые вполне могли быть, но почему-то не реализовались, и теперь поэт не выдумал их, а только досказал.

Рифма — точка максимального сопротивления материала, где сходятся напряжения, вершина угла, бьющего «локтевым электричеством» (Сергей Гандлевский), но при регулярном рифмованном письме этот ее разряд всегда сглажен требованием строфической организации, где она предполагается с наибольшей вероятностью. Рифма у Стратановского никогда не подготовлена ожиданием, она псевдослучайна. Поэтому даже банальнейшая — свежа. Она может возникнуть посреди строки и так же запросто не появиться там, где ей вроде бы положено. В стихах Стратановского ей ничего не положено, и потому она так важна и нужна и поэту, и читателю. Это и воспоминание об утраченной классической гармонии — «как хороши, как свежи были рифмы / „любовь” и „кровь” сто лет тому назад» (Евгений Витковский). Наверное, уже двести. Это и неверные, случайно удавшиеся, ощупью найденные фрагменты «Новой гармонии», которая никогда не будет построена как реальность, но необходима как недостижимый предел движения.

Стратановский принципиально фрагментарен. Он работает в жанре фрагмента. Фрагмент — это всегда нечаянно выявившаяся из небытия часть целого, цитата из несуществующего текста. Стратановский — меньше всего поэт окончательных выводов и непрерываемых утверждений. Ему нет никакого почти дела до того, правильно или неправильно он будет понят кем-то, ему бы с собой разобраться. Его стихи всегда заканчиваются отсутствием точки. При вполне нормативной во всем остальном пунктуации точка встречается в стихотворных текстах книги только дважды. Это не хлебниковское «и так далее», не «что говорить, и так все понятно»; неоконченность текста — это жест перехватившей горло немоты, не бесконечное продолжение говоренья, а невозможность речи и серьезное сомнение в такой возможности когда-либо впредь.

Стихи Стратановского — бесконечно повторяющиеся, обреченные на неудачу попытки человека, действительно видевшего свет, рассказать о нем слепым. Попытки рассказать о грядущей и, быть может, уже идущей катастрофе тем, кто не способен ее различить, тем, кто гибнет в полной темноте, не понимая, почему и за что. В мире, который выражает Стратановский, жить нельзя, но, кажется, это и есть тот мир, который окружает нас каждодневно, только мы не различаем той его страшной подоплеки, которую видит поэт сквозь радужную поволоку насущного.

Шариков — Преображенскому

Эх, профессор, лепила хренов,
 естества пытала
 Что ж ты наделал, лепила?
 Что ты со мной-то сделал?
 Преобразовал? Переделал?
 Нож чудодейный вонзил?
 А ведь я-то надеялся
 Отсобачиться начисто —
 стать человеком вполне

Пусть кошколовом,
но все же не уголовником
И не убийцей научным,
живопыталой, как ты

Что же теперь? Псом покорным
Я лежу на ковре,
у гардины, в тоскливом тепле
Сдох во мне человек,
и течет век посмертный,
Век беспросветный, собачий

Это стихотворение парадоксально. Шариков, превращенный в собаку, не может сказать ничего подобного — вместе с человеческим обликом он утратил человеческую память. У Стратановского особый Шариков — помнящий себя человеком, помнящий свет, который он видел, и в этом-то весь ужас его существования. Другие собаки живут себе весело да славно, они всегда были собаками, и для них беспросветный вой этой странной собаки непонятен и дик. Живет в тепле и холе, чего воеет, откуда такая

Тоска... опять тоска...
И блеклый солнца луч
Не обнадежит мозг,
не озарит внезапно
вещей привычных
внутреннюю ночь

Из какой-то бездонной сердцевины отчаяния поднимается его исковерканная нечеловеческая речь. И не понимают его собаки и никогда понять не смогут — не были они людьми и никогда не будут. Человек, очнувшийся в собаке Шарике, вспомнивший себя, полный этой мукой, этим воспоминанием-знанием, и есть герой-автор «Тьмы дневной». Эта книга — поэзия очнувшегося сознания, точно знающего, чего оно хочет, но не могущего ни назвать, ни тем более достичь желаемого. И тем не менее это мучительное воскресенье духа, который прорезывается, «как зуб из-под припухших десен» (Ходасевич). Болезнь духа, который учится говорить:

В утесненьи могучем
во тьме океана дремучего
В мерзком чреве китовом
дар говоренья громового
И борения словом
обретает пророк неуверенный
Божьих велений бегущий

Владимир ГУБАЙЛОВСКИЙ.

*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В ОБРАЗАХ

Владимир Гандельсман. Тихое пальто. Новые стихотворения. СПб., «Пушкинский фонд», 2000, 64 стр.

В «Пушкинском фонде» поэт, как известно, начинается «с вешалки» — с авантитула, на который автор выносит наверняка не самое свое завалющее стихотворение. Владимир Гандельсман, трижды «фондаментальный» автор, вешалку использует по назначению — вешает на нее *пальто*:

Все это только страх,
спросонок, многоглазый,
мерцающей впотьмах
одной хрустальной вазы,

со скрипом пополам
 блеск половиц в столовой,
 и этот пышный хлам —
 букет белоголовый,

когда его берут
 за горло и в передней
 предвидят точный труд
 в испарине последней,

я говорю не то,
 и путь еще извилист,
 о, тихое пальто,
 ты куплено на вырост.

И на *вырост* это стихотворение идет к читателю. Сначала оно ему велико, болтается на нем (болтает «не то»!), а потом он, читатель, вырастает и чувствует вдруг, как стихотворение пригнуто к нему, видит, с какой магической бесшовностью пригнана образная ткань повседневности к человеку в мыслях о приближающейся смерти. Или уже приближившейся. «Там хоть вороньей шубою на вешалке висеть...» Прилагательное «воронья» прилагается Мандельштамом, как и «тихое» Гандельсманом, не совсем к тому существительному, к которому прилагается.

Сфинкс повседневной реальности давно (со времен его первой книги «Шум Земли») взирает на Гандельсмана: «Но где уже случалась эта явь, / которой остановлен я сегодня: / пальто и приоткрытый в бездну шкаф?» Подскажем: на «других берегах». Бездны разные бывают, но это та самая, набоковская: «Колыбель качается над бездной».

В этой извилистой «передней» можно услышать голос еще одного литературного родителя Гандельсмана: «Мне хочется домой, в огромность / Квартиры, наводящей грусть. / Войду, сниму пальто, опомнюсь, / Огнями улиц озарюсь». От Пастернака Гандельсман унаследовал «домовитость» (весь этот «со скрипом пополам блеск половиц в столовой»), вечное детство, несокрушимую витальность, «шум Земли». Родителей не выбирают — сказано и про зависимость свободного языка. Свобода не выбирает, а выходит, как по следу, на родное. Связь Гандельсмана с литературой я называю родительской еще и потому, что и в нем самом растет потенциальный «родитель», и от него пойдут «дети» — не похожие на него (в той мере, как он не похож на своих родителей) и невозможные без него.

На кого он похож? Только на себя. Причем на себя с каждой новой книжкой уже другого:

Обступим вещь как инобытиё.
 Кто ты, недышащая?
 Твое темьё,
 твое темьё, меня колышущее.

Шумел-камышашее. Я не пил.
 Все истинное — незаконно.
 А ты, мой падающий, где ты был,
 снижающийся заочно?

Где? В Падуе? В Капелле дель
 Арена?
 Во сне Иоакима в синеве ль
 ты шел смиренно?

Себя не знает вещь сама
 и ждет, когда я
 бы выскочил весь из ума,
 бывыскочил, в себе светая
 быстрее, чем темнеет тьма.

В отношениях с *вещью* Гандельсман идет дальше Бродского: он решается на диалог. Ирония в сюрреалистической ситуации бесполезна, а без юмора не обойтись. Метафизический юмор тьмен, и поэт «для храбрости выпивает»: нарушает «сухой закон» речи дурашливым словотворчеством. Смех таинственно созидателен

и имеет шансы «*вывыскочить*» к просветлению — если не мысли, то чувства. И выскакивает — в нежность к инобытию, будь оно неодушевленное или чистый дух. («*Мой падающий*» — снег — звучит чем-то вроде «мой родной».) Речь пружинится вторыми, третьими смыслами, отбрасывает светлые тени.

Чересполосица так называемой авангардной и традиционной поэтик у Гандельсмана нередко наличествует в одном стихотворении, и никакого хитрого хода я в этом не усматриваю — за исключением именно что хода — естественного хода строящегося образа. Вот «Баллада по уходу», с названия принимающаяся приспособлять грамматику под поэзию. Бюллетень по уходу за больным и баллада об уходе из жизни — отсюда, наверное, взялась «баллада по уходу». Автор повествует, как работал сиделкой у впавшего в детство (и в молодость) старика, по ночам раввшегося из дома. Эта баллада еще и колыбельная, страшенькая колыбельная:

О бессмысленности пой песню, пой,
я сиделка на ночь твоя, тупой,
делка, аноч, воя, упой.

Третья строка рифмуется со второй по всей длине. Полное эхо. Из шестнадцати терцин баллады — пять с осколками слов, сливающимися в тик. Баллада с загадкой: каждым словом автор издевается над своим «тупым» («Schlecht, мой пекарь бывший, ты спеся сам»), а впечатление остается: жалеет, да еще как! Вот именно — как? И тиком своей речи, и ее тенью — тянущимися за словом смыслами. (Не «тупой» ли и автор — перед абсурдом мира, где путь человека зачем-то завершается деградацией?)

Словно испытывая всесилие своей подвижной поэтики, Гандельсман периодически пускает ее вразнос. Согласованные члены предложения, нередко различаемые им на слово или два, теперь расстаются, чтобы никогда не встретиться — во всяком случае, для *слушающего* его речь. Для *смотрящего* в ее туман они — слова — встречаются и так, должно быть, приносят радость тем, кого поэтика волнует больше поэзии, или тем, для кого нотопись и музыка одно (как и для самого автора). А когда к игре слов в пятаншки присоединится графическая рифма, звук в еще большей степени видится, чем слышится:

Тридцать первого утром
в комнате паркета
декабря проснуться всем утром
и увидеть как сверкает ярко та

Строки не рифмуются по звуку из-за разноударности окончаний, внешне рифмованные, звучат как белые, почти белые (это «почти» измеряется искусственностью слуха). Какой можно извлечь из этого побочный эффект, лучше не объяснять, чем это сделал Кирилл Кобрин («Октябрь», 2000, № 5), разобрав длинное стихотворение «Тридцать первого утром», целиком написанное на таких рифмах со сдвигом, и рассказав о родственных экспериментах с вальсом на фортепьяно популярного американского барда Тома Уэйтса.

Несколько вещей из самых последних написаны Гандельсманом в такой технике. Новая ли это гармония, прорыв к средствам выразить невыразимое или... скажем, гигиена, гимнастика языка, боящегося ожирения или закаменения? Скучно это или нет? — вот в чем вопрос.

Так или иначе, «Тихое пальто» в целом убеждает, что хлебом гандельсмановской поэзии безусловно остается логос, который логос, гармония, которая гармония. По-прежнему соль гандельсмановской поэзии не в приправах, а в том, к чему они добавляются. И по-прежнему он потрясен безусловностью бытия, полученного «из первых рук», и требует от своего языка передать дрожь живой жизни, будь она человеческая, растительная или животная (олень из стихотворения «В полях инстинкта» заслуживает быть зачисленным в свиту царицы гандельсмановского животного мира — цапли из «Долготы дня»).

И по-прежнему его истинный «лирический герой» — ребенок: хрупкий прибор, точнее прочих измеряющий непостижимое качество бытия — данность. Память Гандельсмана о детстве не умиляется «праздничной скукой ребенком

быть», но для него, ослепленного «взрослыми» смыслами жизни, она — память — поводырь в поисках утраченного ребенка в себе, то есть в поисках утраченного умения — жить, «з а ч е м — ни разу не спросив».

Постоянство мотивов детства Гандельсману надо оправдать, заслужить. Не потому ли именно его старая тема получает в новой книге самую «продвинутую» техническую оснастку? (Продвинутой этой рифмой — со сдвигом — одарены наиболее щедро стихи о детстве.)

Снова его память направлена на «Л.», одноклассницу, с которой он и десятка слов, наверное, не сказал за всю жизнь. Это особый сюжет, вернее, поступок: «Л.» умерла в двенадцать лет, и ее уже нет в живых ровно сорок, а он — «с тоской, поныне не осиленной», — пишет ей стихи. Сам такой поступок стоит любых стихов, а тут они складываются в цикл лирики, без преувеличения онтологической. «Твое исчезновение раннее / все безответнее. / Что для тебя здесь-небытие / сорокалетнее?» Заметьте, *здесь-небытие*; кажется, в онтологии Хайдеггера такого понятия нет.

Лирика Гандельсмана вообще скорее онтологическая, чем экзистенциальная (и еще меньше психологическая): переживание своей «экзистенции», себя в мире расширяется до органического ощущения мира в себе, себя миром. Его «я» появляется всегда в окружении реальный мира и при таком освещении, что свет падает больше на них, чем на «я», так что не блестит, приглушено это «я», растворено во внешнем (как, к примеру, в стихах про «тихое пальто»). В любовной лирике сиюминутным страстям находится, естественно, больше места. И больше юмора. Вот как убегают от собственных слез:

И если расставаться, то
врагами, чтобы не жалеть.
Чтоб жалости не знать! Пальто!
Калоши! Зонтик! Умереть!

Поэзия Гандельсмана не похожа на, так сказать, эгоцентрическую лирику именно в редкой теперь направленности на мир *другого человека, чужого*. Слепящая фреска «Увижу библию песка до горизонта» продолжает начатый в «Шуме Земли» казахстанский цикл, населенный тенями каторжников, ссыльных (среди них Достоевский, Солженицын) и ныне живущими, ссыльными в тяжелый труд от рождения.

Проблема чужой обездоленности Гандельсманом решается не только и не столько состраданием (это было бы просто). Стихотворение «Тема». Если в отношении всего прочего трудно говорить о «теме» в его стихах (его тема одна — «так посещает жизнь, как посещает речь немого»), то здесь: да, тема, сочинение на тему — поскольку это стихотворение о войне, а на войне не был. Сам не уверен, что у поэзии есть право на такую тему, и потому вменяет ей в обязанность выступить с полной выкладкой:

Руки, вырванные с мясом
шерстикрылым богом Марсом,
руки по полю пошли,
руки, вырванные с мясом
шестирылым богом Марсом,
потрясают кулаками:
не шали!

Не Шали ли? Если так, то вот она, единственная географическая реалья в этих вариациях на тему чеченской войны; реалий же физиологических много больше. Гандельсмановский язык как с цепи сорвался (не шестикрылый бог Марс у него, а шеРстикрылый и шестиРылый!), будто долго сдерживался и вот накиннулся на... «тему»? Да нет, на жизнь-смерть, «которая случается с другим», с тем ближним, отдаленность от кого именно как от Марса. В наше время война — это то, что случается с другим, и она продиктовала Гандельсману уже вторую вещь о себе. Прежде война у него была лексически аскетичнее, по децибелам противоположна нынешнему «крику» а-ля Мунк.

Как и выполненный с натуры его американский цикл — мрачнейший, но звук не форсирующий. Отчаяние поэта еще со времен пушкинских «Бесов» полюбило тихое бормотание; Гандельсман вступает в тот же хоровод со своими хорейми: «Это птичка „фифти-фифти” / поутру поет одна. / Эта поднятая в лифте / нежилая желтизна. / Рванью полиэтилена / бес кружит по мостовой. / Жизнь конечна. Смерть нетленна...» Эмиграция имеет репутацию *la petite morte*, но дело не в ней. Гандельсман не эмигрант, он мигрант. «Я жил не в эпоху войны, / не в пору гонений неправых, / не в горькое время вины, / на личных настоянной травах. / От пыли полуденной сер, / в припадках то зла, то роптанья, / я жил, как замотанный зверь, / заботами о пропитанье» — эти давние заботы (1979) не оставляют всю жизнь. Впервые приехав в Америку в 1990-м по контракту университетским преподавателем русского языка, с тех пор он менял работы, живет на две страны. Ничего особенного в нынешние дни.

А стихи особенные. Да и какими им быть, если они пишутся в Нью-Йорке, крайне «взрослом» городе, на взгляд того «ребенка», с которым поэт и не думает расставаться, того самого, в поисках которого вообще пишутся им стихи. На мощной энергии болезненного несовпадения почвы и судьбы создается американский цикл.

«Партитура Бронкса» — с пылу, с жару — из ада эмигрантского языка, мутирующего в дебила:

Выдвиньте меня в луч солнечный
дети разбрелись по свету сволочи
дай-ка на газету мелочи

развелось в районе черной нечисти
ноют как перед дождем конечности
что здесь хорошо свобода личности

нет я вам скажу товарищи
что она такие варит щи
цвет хороший но немного старший...

Потом все это начинает дробиться и перемешиваться своими обрубками. Он (язык) пугает, и мне страшно.

Но именно тогда, когда «ребенка», кажется, днем с огнем не найдешь, он его обретает — живой опыт откровения налицо. «Шел мимо школы. (В иностранном, / американском городке / с названьем чудным и пространном / я жил тогда)», — начинается рассказ о том (кстати, с чего бы вдруг пошел классический мелос?), как автор увидел ребенка, выбегающего во двор из школы на перемене, и — «вздвогнул и узнал себя». Этим, конечно, не удивишь, но «Явление не было отнюдь / воспоминаньем. В этом суть». Суть, можно понять, не в прилежном труде памяти, а в ее самопреобразовании, в совмещении индивидуального с Целым, прошлого с настоящим и будущим. «Ты сам себе одновременен». Вернуться к себе можно только через Другого. «Мой друг бессмертный, не скорбя, / верни забвению себя».

Наверное, не случайно именно теперь Гандельсман чувствует себя созревшим для собственных вариаций на евангельскую тему. Не интерпретаций, ни в коем случае, он только поэт, и его прочтение исключительно образное, как и можно ожидать от поэта.

Неожиданность образов превосходит все ожидания. Из «Диптиха» о крестных муках Богочеловека: «Тук-тук-тук, молоток-молоточек, / чья-то белая держит платок, / кровь из трех кровоточащих точек / разматает Его, как моток».

Не проигрывая живописи в телесности образов, поэзия выигрывает у живописи в способности нести телу весть. В несметном числе виденных «распятий» вряд ли увидели мы нечто сравнимое с тем, что слышим в «Распятии»:

Что еще так может длиться,
ни на чем держась, держаться?
Тела кровная теплица,
я хотел тебя дожидаться,

чтоб теперь, когда устало
ты, и мышцею не двинуть,
мне безмерных сил достало
самого себя покинуть.

Сюжетно «Распятие» и «Диптих» ближе всего к Новому Завету. В других стихах цикла («Святой Иосиф», «Мария Магдалина», стихи о Лазаре) поэта далеко заводит речь — его речь, движимая преимущественно не сюжетом, а образом:

Знаешь ли, откуда небо вынуто,
почему ни в чем не виновато?
Из одной, потом другой души оно
состоит, а та, вдвойне лазурная,
тишина —
там Лазарь умер дважды.

«Воскресение», завершающее книгу, отделено от цикла стихами, предсказуемо у Гандельсмана возвращающими в начало жизни — детство. Воскресение приходит путем дионисийской, можно сказать, троицы: гусеница, куколка, бабочка. Насколько метафора непритязательна, настолько она тонко разработана. «Пусть снаружи светло / так, чтоб не очнуться / было нельзя — / бабочка пророчится, / двуглаза». Свет разбудил в куколке (безглазой) бабочку. Куколка умирает и воскресает в бабочке, что в ней «пророчится». Рождающийся у нас на глазах глагол слышится и как существительное женского рода. Бабочка-пророчица. Пророчица о том, что *смерть — свет*.

Как и в финале «Смерти Ивана Ильича», например, мы принимаем такую формулу смерти — потому что принцип, на котором работает поэтический код Гандельсмана, — это красота. Простой факт: любая истина (код без ошибок), если приглядеться, нам доступна только как красота. Всюду: в искусстве, в религии, в науке, в этике, в понимании повседневной жизни. Красоту трудно создать, и это неперемное условие облегчает распознавание мусора в современных изящных искусствах. Не перевелись, слава Богу, еще и те художники, что могли бы повторить за Набоковым: «Art is difficult».

У Гандельсмана есть стихотворение «Дерево», целиком состоящее из придаточного предложения, ветвящегося собственными придаточными. Что — в опущенном главном предложении? Читатель «Тихого пальто» не погрешит ни против грамматики, ни против поэзии, если поставит на отсутствующее место самого поэта:

Как дерево, стоящее поодаль,
как в неподвижном дереве укор
тебе (твоя отвязанность — свобода ль?)
читается (не слишком ли ты скор?),
как почерк, что, летя во весь опор,

стал на дыбы, возницей остановлен,
на вдохе, в закипании кровей,
на поле битвы-графики ветвей,
как сеть, когда, казалось бы, отловлен,
но выпущен на волю ветер (вей!),

как дерево, как будто это снимок
извилин Бога, дерево, во всем
молчащем потрясении своем,
как замысел, который насмерть вымок,
промок, пропах землей, как птичий дом

со взрывом стаи глаз, как разоренье
простора, с наведенным на него
стволом, как изумительное зренье,
как первый и последний день творенья,
когда не надо больше ничего.

Лиля ПАНН.



ТАИНСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

В. Н. Топоров. Из истории русской литературы. Том II. Русская литература второй половины XVIII века. Исследования, материалы, публикации. М. Н. Муравьев. «Введение в творческое наследие». Книга I. М., «Языки русской культуры», 2001, 912 стр. («Язык. Семиотика. Культура»).

Нам в 2001 году еще никак не привыкнуть к тому обстоятельству, что часть нашей жизни принадлежит прошлому веку. Это вызывает в душе некий ропот сожаления, недоумения, печали. Трудно смириться и с тем, что наша духовная опора — век девятнадцатый — превратился из прошлого в позапрошлый, а восемнадцатый — и без того отдаленный — вообще стал прадедушкой... Поколения, бывшие когда-то живой памятью, отступают в легендарную даль, заволакиваются туманом забвения. Стирается их словарь, уходят в предание и там постепенно гаснут их имена и деяния. Если не позаботиться, они уйдут навсегда. Рукописи их истлеют, обратятся в прах. Воскрешать будет нечего и некого. Весь восемнадцатый век — по преимуществу рукописный — нуждается в нашей защите. Когда исчерпавшая свою долговечность бумага начинает рассыпаться, понятие *сохранения культуры* приобретает буквальный смысл. Вряд ли верно упование на то, что «само время» отбирает и хранит лучшее. Мы времени не нужны. Это оно необходимо нам. Обряд погребения — вот что время исправно исполняет «само». Всякое же продление духовной жизни требует наших собственных усилий, непрерывного памятования в поколениях. С течением лет оно затрудняется еще и тем, что язык прошлого становится все темней для нас, красота его ускользает, и тогда утрата кажется уже не такой большой потерей...

— Пап! Нам задали читать какого-то Муравьева... Восемнадцатый век. «Боги-не Невы». Ничего не понятно!..

И папа тоже не без труда попытается пробраться «от Тамизы и от Тага» до «Пароса и до Лемна». Он оживится лишь к середине стихотворения, когда автор признаётся богине Невы:

Я люблю твои купальни,
Где на Хлоинных красах
Одеянье скромной спальни,
И Амуры на часах.

Полон вечер твой пролады:
Берег движется толпой,
Как волшебной серенады
Слух наносится волной.

Ты велишь сойти туманам:
Зыби кроет тонка тьма
И любовничьим обманам
Благосклонствуешь сама...

Какой прозрачный слог. Какое чистое звучанье. Есть в этом движении, в этой плещущей зыби музыкальная уравновешенность баркароты, волнующие огни разгорающегося маскарада... И ты ловишь себя на том, что стародавнее *слух* в значении *звук*, усечение прилагательных (*тoнкa*) или «удлинение» их (*любовничьим*) и *благосклонствуешь* вместо *благоволишь* как приметы ушедшей речи, как аромат полузабытых времен вызывают в тебе не раздражение, а усладу. Чувствуешь, что перед тобой вещь подлинная, старинная, и находишь прелесть даже в совсем необязательной инверсии, с которой автор обращается к богине (курсив мой. — А. С.):

Быстрой бегом колесницы
Ты не давишь гладких вод,
И Сирены вкруг царицы
Поспешают в хоровод.

А усечения тебе уже привычны, когда

Въявь богиню благосклонну
Зрит восторженный пиит,
Что проводит ночь бессонну,
Опершися на гранит.

Автору этого послания Михаилу Никитичу Муравьеву (1757 — 1807) повезло. Он давно привлек внимание Владимира Николаевича Топорова, и теперь оно воплотилось в томе, открывшем серию «Из истории русской литературы».

Первая книга (полумтом) посвящена драматургии и прозе М. Н. Муравьева. Значительную часть ее занимают публикации муравьевских рукописей, остальное — исследования, комментарии, примечания В. Н. Топорова. Особенно детально изучена неоконченная трагедия «Болеслав». Опубликованы ее тексты, черновые автографы, дан текстологический комментарий. Подробно рассмотрены источники трагедии: летописи, хроники, другие исторические сведения. Специальная глава посвящена структуре текста. Представлены и прочие драматургические опыты Муравьева.

В отдельном разделе собрана проза. Это, во-первых, эпистолярная трилогия: «Эмилиевы письма», «Обитатель предместия» и «Берновские письма», а кроме того, множество произведений, сгруппированных «тематически»: тексты «передвижений», тексты «цивилизации» и «нравственности», включая под-текст «человека», текст «истории»... В завершении тома представлены «иные тексты», относящиеся к военному делу, экономике, философии, а также глава о повести «Оскольд».

В доставшейся мне от отца антологии «Русская литература XVIII века» под редакцией Г. Гуковского (Л., 1937) нашлось место всего для семи стихотворений Муравьева и короткой заметки о нем, где его поэзия характеризуется как «одно из высших проявлений верхушечной кабинетной культуры дворянской интеллигенции». Литература целого столетия долгое время обозначалась у нас несколькими строго выверенными именами: Ломоносов — великий ученый из народа; Радищев — пламенный революционер, «порвавший путы помещичьего мировоззрения»; Крылов — национальный баснописец, да еще, скрепя сердце, Державин — яростный крепостник в жизни, но при этом («приходится признать») — реформатор в поэзии. Михаил Никитич Муравьев с его «культом отвлеченной нравственной красоты» в этот ряд никогда не вписывался.

Вместе с тем, по мнению Топорова, фигура «кабинетного» поэта и ученого — одна из ключевых в русской культуре второй половины XVIII века.

Именно Муравьев, будучи воспитателем Александра I, содействовал наступлению «дней Александровых прекрасного начала». Как товарищ министра народного просвещения, Михаил Никитич добился учреждения в России первых гимназий (до него их не было); четырех новых университетов (в Дерпте, Казани, Харькове, Петербурге); сыграл главную роль в реформе университетского образования в Москве. Наконец, он помог обеспечить Карамзину все условия для создания «Истории государства Российского» и ее издания.

Отдав дань юношескому честолюбию — выпустив несколько книг, — Муравьев эволюционировал, по словам Топорова, в *таинственного человека*, который не хотел объявлять себя писателем. Его государственная деятельность была плодотворной и общепризнанной (генерал-майор, сенатор, кавалер орденов святых Александра Невского, Анны, Владимира), тогда как деятельность литературная — ничуть не менее многообразная — оставалась тайной. Наследие писателя содержит массу неопубликованного: тексты художественные, научные, переводные, письма. «В плане открытой („видимой“), актуальной истории русской литературы Муравьев, конечно, неудачник. Когда между 1810 и 1820 годами (то есть посмертно. — А. С.) появились основные труды его, на дворе стояла уже другая погода, — пишет Топоров. — Великое дело Карамзина в основном уже совершилось. Поэзия Жуковского и Батюшкова решительно изменила лицо русской поэзии, и уже был услышан голос Пушкина, не только многое обещавший, но уже и многое внесший в русскую поэзию». Однако, по наблюдению исследователя, Муравьев совершал исключительно важную *невидимую* работу: он преодолевал тот кризис, в котором

оказалась литература после смерти Ломоносова и Сумарокова; он торил путь от классицизма к сентиментализму. Не кто иной, как Муравьев, помог уяснить Державину, что «стихи должны быть „не следованием образцам”, но „выражением поэтической индивидуальности”». Не кто иной, как Муравьев, во многом предвосхитил творчество Карамзина, который двумя десятилетиями позже «с блеском внес в русскую литературу и культуру» многое из подспудно найденного Муравьевым, внес «с бóльшим талантом и на „новом” языке», но позже. Знаком поэзии Муравьева был Пушкин, не раз цитировавший своего предшественника «непосредственно или косвенно». В знак глубокого уважения к личности Михаила Никитича Карамзин, Жуковский и Батюшков предприняли посмертное издание его собрания сочинений.

Муравьев оказался крайне необходимым звеном в духовной эволюции русского общества, чему способствовали не только его творческие дарования и энциклопедическая образованность, но и человеческое обаяние, доброжелательность, неутомимая работоспособность (так и хочется сказать — «трудолюбивый Муравьев!»).

Один очень частный, но весьма показательный пример характеризует вклад его в нашу поэтику. Известно, что легкость и «ожиданность» русских глагольных рифм снижают эффект художественного воздействия, ибо легкая, тривиальная рифма создает предпосылки к тому, что и смысл оперенных ею стихов окажется упрощенным. Движение русской поэтики шло поэтому по пути сокращения доли глагольных рифм. Согласно данным М. Л. Гаспарова, дополненным В. Н. Топоровым на основе «Болеслава», вклад глагольных рифм в поэтические тексты Кантемира (1708 — 1744) составил 33 процента, у Ломоносова (1711 — 1765) — 28, у Муравьева (1757 — 1807) — 18, у Пушкина (1799 — 1837) — 16. Таким образом, за столетие русские стихи только по линии рифм усложнились вдвое, и место Муравьева здесь очевидно. Заметим, что в отдельных его стихах глагольных рифм может быть еще меньше. Так, в приведенном выше стихотворении «Богине Невы» их всего 12 процентов.

Стремлением привлечь внимание к личности Михаила Никитича Муравьева, ввести в оборот его непубликовавшиеся или труднодоступные тексты, спасти их от забвения, *сохранить культуру* на этом чувствительном участке проникнута монументальная работа Топорова. А мы хотели бы уведомить читателей о том, что опубликованное — лишь начало большого замысла — серии «Из истории русской литературы». Помимо второго («муравьевского») тома в двух книгах ожидается том первый: исследование, материалы, публикации по русской литературе XVII века, а также эпохе Ломоносова и Сумарокова. А еще — книга за книгой — работы, охватывающие исторический промежуток от Карамзина до Пастернака. Томов будет много, но автор у всех один — Владимир Николаевич Топоров, и издательство тоже одно — «Языки русской культуры». Реальность этого замысла подкреплена тем, что большинство трудов уже создано.

Алексей СМЕРНОВ.

*

РЮ ДЕ ФЛЕРЮС, 27

Гертруда Стайн. Автобиография Алисы Б. Токлас. СПб., «ИНАПРЕСС», 2000, 400 стр.

Роман «Автобиография Алисы Б. Токлас» (1933) представляет собою жизнеописание самой Гертруды Стайн, рассказанное от имени подруги. В форме неканонической автобиографии, сочиненной «так же просто как Дефо написал автобиографию Робинзона Крузо», Гертруда Стайн «увидела» себя глазами Алисы — и даже при выходе книги «оформила» на ее имя копирайт.

Настоящее издание — первая в России полная публикация романа. Однако читатель отчасти уже знаком с произведением: в сокращенном варианте данный перевод выходил в журнале «Нева» (1993, № 10 — 12); помимо этого многочисленные фрагменты «Автобиографии» вошли в работу американского писателя и публициста Нормана Мейлера «Портрет Пикассо в юности», которая в свою оче-

редь была опубликована в «Иностранной литературе» в переводе Александра Богдановского (1997, № 3, 4; 1998, № 8).

Романом — в привычном понимании слова — «Автобиографию Алисы Б. Токлас» можно назвать лишь условно: интриги, сюжета как такового, там нет. Произведение относится скорее к жанру литературных воспоминаний. Это своего рода хроника жизни парижской богемы, своеобразный пристрастный «кто есть кто», этакий путеводитель по самым знаменитым ландшафтам «арт-географии» Парижа начала XX века: салон Гертруды Стайн на рю де Флерюс, 27, Монмартр, рю Равиньян, 13 (мастерская Пикассо в доме «Бато-Лавуар» — «прачечной-на-плоту»)..

Гертруда Стайн — человек-легенда. Еще бы — ведь она попадает на страницы к Эрнесту Хемингуэю («Фиеста», «Праздник, который всегда с тобой»), Роберту Коутсу («Проект исследования»), Максу Жакобу («В раю»); ее портреты пишут Пабло Пикассо, Феликс Валлоттон, Юджин Берман, Фрэнсис Роуз; она позирует скульпторам Жаку Липшицу и Джо Дэвидсону... И конечно же именно она открыла всех этих «ненормальных», которые впоследствии были признаны гениями.

«Монпарнасская сивилла», «эксцентричная фигура» парижского бомонда, она была хозяйкой модного в те годы артистического салона. Ее квартира-студия на рю де Флерюс стала «культурной меккой» парижского авангарда, местом, где в течение более чем трех десятилетий собирались приверженцы нового искусства.

В салоне Стайн бывали Матисс, Макс Жакоб, Тристан Тзара, Эрик Сати, Жан Кокто, Эзра Паунд... Пикассо, похожий «на Наполеона» во главе четверки «огромных гренадеров» — Дерена, Брака, Аполлинера и Сальмона... Среди ее друзей и знакомых — «Леонардо да Винчи движения» Пикабаи, «неудачники» Хуан Грис и Гарри Гибб; Хемингуэй, Шервуд Андерсон, Милдред Олдрич... Рю де Флерюс посещали даже особы королевских кровей — однако частная жизнь большинства знаменитостей намечена столь легким пунктиром, что этого явно недостаточно для удовлетворения любопытства даже самого неосведомленного читателя. Стайн словно «бежит» по событиям, по персонажам, перескакивая с одного описания на другое. И кто знает, появилось бы столь популярное ныне «чтение по диагонали», если бы ему не предшествовало соответствующее письмо. Кстати, в связи с этим «парадом звезд» становятся очевидными и недостатки издания: при таком количестве как громких, так и малоизвестных имен — в книге отсутствуют комментарии.

Жизнь творческой молодежи времен «прекрасной эпохи» и последующих десятилетий показана именно такой, какой и принято представлять богемную жизнь. Гертруда Стайн и Алиса Токлас посещают выставки, устраивают по субботам приемы, ходят на русский балет, ездят летом в Испанию... Пикассо целую зиму пишет портрет Стайн, Стайн пишет «Три жизни», Матисс написал «Le Bonheur de Vivre»... Алиса Токлас занимается публикацией стайновских «Нежных пуговиц», «Портрета Мейбл Додж» и «С приятностью церковь в Люси» — а их автор проводит «все свои дни бродя по Парижу разглядывая экземпляры... на витринах». (Здесь мне, как и любому, пишущему об этой книге, необходимо сделать оговорку, что отсутствие знаков препинания в цитируемом тексте не ошибка, а авторское видение и «голос» переводчика Ирины Ниновой. Но об этом ниже.) Словом, как метко заметил в своей работе о Пикассо Норман Мейлер, для Гертруды Стайн ценно лишь то, что доставляет ей удовольствие.

Писательница подробно останавливается на светских увеселениях. Например, банкет в честь Руссо — первый крупный прием, устроенный Пикассо и его женой Фернандой Оливье, — представлен не в самом выгодном свете: этокое полупьяное сборище компании сумасбродов. Когда — спустя четверть века после описанных событий — «Автобиография Алисы Б. Токлас» вышла в свет, Андре Сальмон, один из фигурантов эпизода, пришел в неистовство: «В истории о торжестве в честь Руссо все перевернуто... Рассказ Гертруды, мягко говоря, поверхностен. Меня самого поражает, что когда-то и я, и все мои друзья считали, будто она что-то понимает...» («Речь против Гертруды Стайн»).

Заключительные шестая и седьмая части книги посвящены военному и послевоенному времени. 1914 год. Гертруда Стайн и Алиса Токлас работают в Американском фонде помощи французским раненым: посещают госпитали и встречаются с «фронтовыми крестниками» — подшефными солдатами, которым надо

отвечать на каждое полученное письмо и «приблизительно раз в 10 дней посылать посылки с какими-нибудь вещами или лакомствами». Это наиболее динамичные эпизоды книги.

Читая «Автобиографию...», никак не удается избавиться от странного впечатления, что перед нами типичная мистификация — ведь про Алису Токлас, бесшумную подругу и компаньонку мисс Стайн, почти ничего не известно. Кроме того, что она родилась в Калифорнии, увлекалась вышиванием, не умела водить машину и что на раутах ей всегда приходилось сидеть с женами гениев, пока Гертруда беседовала с их мужьями. Про старшего брата Гертруды Стайн, совладельца дома на рю де Флерюс и коллекции картин, в романе также не сказано практически ничего, он — третьестепенная фигура, Гертруда даже не называет его имени. Между тем Лео Стайн занимался изучением искусств, был художником и писателем. Его книга «Постижение: живопись, поэзия и проза» вышла в 1947 году, вскоре после смерти Гертруды.

Вообще говоря, непосредственность Стайн часто граничит с вульгарностью, кичем.

Уже на третьей странице романа мисс Стайн — устами Алисы — во всеуслышание заявляет о собственной гениальности: «Могу сказать что только три раза в своей жизни я встречала гениев, и каждый раз внутри что-то звенело и я не ошибалась, и могу сказать что все три раза это случилось задолго до всеобщего признания их гениальности. Те три гения, о которых я хочу рассказать это Гертруда Стайн, Пабло Пикассо и Альфред Уайтхед». Заявив о собственной значимости с первых же строк, она и в дальнейшем будет возвращаться к этой теме неоднократно.

Два крупнейших имени в искусстве, с которыми в нашем сознании неразрывно связано имя Стайн, — Пикассо и Хемингуэй, однако в романе куда больше внимания уделяется первому из них. Высказывая соображения о художественном процессе своего времени, писательница разъясняет «диспозицию» фигур бомонда (Пикассо всегда мешало присутствие Хуана Гриси, но никогда не мешал Брак); ставит безапелляционные диагнозы художественным течениям: «Сюрреалисты это опошление Пикабиа как Делоне и его последователи и футуристы были опошлением Пикассо»; описывает вернисаж Независимых, осенний салон, выставку в Оружейной, сравнивает манеру письма Сезанна и Матисса... Как бы то ни было, для любителей французского авангарда книга представляет немалую ценность как свидетельство очевидца.

Некоторые справочники, например «Хатчинсон» («The Hutchinson Dictionary of the Arts»), представляют Стайн как учителя Хемингуэя, Андерсона и Фицджеральда. Но, оказывается, расставить акценты можно и по-другому. Для сравнения приведу несколько отличающийся от традиционного взгляд на сложившийся status quo — мнение Нормана Мейлера. «Она неизменно производила огромное впечатление, двигаясь по избранной ею стезе; она была хозяйкой, и это ее первый и главный талант. Что касается литературной репутации, то трудно сказать, была бы она более блестящей или не существовала бы вовсе, если бы Хемингуэю в 20-е годы не случилось стать ее учеником. Но он стал им — он загреб последний жар ее нового постижения прозы и распорядился им так умело, что вызвал восхищение нескольких поколений писателей; а не появившись на ее пути Хемингуэй, кануло бы в небытие все созданное Гертрудой Стайн».

Брат и сестра Стайн были увлеченными собирателями живописи. В их общей коллекции — Сезанн, Матисс, Пикассо, Валлоттон, Манген. Покупая картины молодых художников и оказывая этим поддержку творческому авангарду, меценатствующая Гертруда сумела «ангажировать» самых блестящих представителей мон-мартрской богемы. Мы видим типичный пример, когда магия имени определенно тяготеет над творчеством, а личность значит больше, чем собственно текст.

Что же касается самого «радикального стиля» Гертруды Стайн — текст явно грешит бессвязностью и бесструктурностью. Все эти ее «прелестные истории», постоянно повторяющаяся схема «у нас был N, это он потом привел X, а тот в свою очередь привел Z, и все были друг от друга в восторге» и так до бесконечности — в конце концов начинают утомлять. Это похоже на что угодно — на стенограмму устной речи, нерасшифрованное интервью, на дневники для себя, на запись собственного внутреннего голоса — но только не на роман как таковой. Можно даже

сказать, что в этом отношении «Автобиография Алисы Б. Токлас» приближается к жанру *антиромана*.

В завершение стоит сказать несколько слов о переводе. Ирина Нинова перевела этот роман практически без знаков препинания, в стиле «потока сознания» — тем самым передав образ парижской художественной жизни начала XX века как образ богемного «быта без запятых». Перевела, руководствуясь принципом самой Стайн, выраженном в одном из ее суждений о стилистике: «Смысл должен быть понятен сам по себе а не проясняться запятыми и вообще запятые только знак что нужно остановиться и перевести дыхание а человек сам должен знать когда он хочет остановиться и перевести дыхание». И если в начале книги эти самые запятые иногда еще ставятся (например, при вставных конструкциях), то к концу текста исчезают вовсе; и их отсутствие, к которому в конце концов привыкаешь, как к *ятям* и *ерам* в дореформенных книгах, прибавляет динамики.

Передавая стиль Стайн, Нинова явно «занижает» лексику, это чем-то напоминает детские упрощения — а ведь они, как правило, всегда очень точные. Однако переводческая точность, стремление следовать букве, имеет и оборотную сторону медали — вот, например, образец не самой изящной буквальности: «Проведя зиму в Балтиморе и став более человеком и менее подростком и менее одинокой Гертруда Стайн поступила в Радклиф». Однако надо и отдать должное переводчице: в отдельных местах ее перевод все же точнее, чем изящный, но более вольный перевод А. Богдановского, где, кстати, все запятые на месте.

В своем послесловии к роману Нинова проводит параллели между творчеством Гертруды Стайн и исканиями русской литературы начала века: «это созвучность творческих интенций — стремления явить новый образ мира в новом слове», используя «формальные возможности» и «конструктивные особенности» языка. Как совершенно справедливо замечено переводчицей, тяготение Стайн «к примитиву, к изображению сложного через элементарно простое, к странно и неправильно поставленному слову, порождающему не формально-грамматические нарушения, а смысловые и логические сдвиги, вызывает ассоциации с Платоновым и Добычиным». И это так — не только по отношению к роману, но и по отношению к переводу.

В качестве приложения в книге опубликовано небольшое эссе «Париж. Франция», в котором Гертруда Стайн увлеченно и обстоятельно доказывает, что Париж, именно Париж, и только Париж, мог стать «естественным», «подходящим фоном» для искусства и литературы двадцатого века.

Евгения СВИТНЕВА.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ПАВЛА КРЮЧКОВА

+7

Октавио Пас. Освящение мига. Поэзия. Философская эссеистика. Составление В. Резник. Комментарии Б. Дубина. СПб., «Симпозиум», 2000, 411 стр.

Мне по-читательски очень нравится, что Октавио Пас не стал у нас (и, полагаю, никогда не станет) актуальным, востребованным, модным писателем. Этого не случилось и раньше — хотя Вера Резник уверяет, что это из-за невыхода книги десять лет тому назад, то есть в «свое время», когда в воздухе (домысливаю за составителя) еще висела постперестроечная «тоска по мировой культуре». Но только уж слишком эта «тоска» была поспешно-накопительная, соревновательная: «Я уже прочитал, а ты еще нет!»

Паса тогда действительно не было. Редкие упоминания, несколько стихотворений в сборниках-антологиях — и все. Позже, когда в читательском сознании, как справедливо пишет составитель, «появилась способность адекватного суждения, не помраченного восторгами неопита», в 1996 году вышла тоненькая пасовская книж-

ка «Поэзия, критика, эротика»¹, да в старом «Литературном обозрении» — переведенные Павлом Грушко избранные стихи вкупе с эссе «Сюрреализм». Ну еще — несколько публикаций в «Иностранке»... Наконец, кажется, сложилось так: абсолютная заслоненность Борхесом и Ортегой-и-Гасетом, с одной стороны, молчание издателей и отечественных критиков — с другой.

А теперь есть четырехсотстраничная книга, любовно составленная, любовно откомментированная и, насколько это возможно, стереоскопичная: от избранных работ из фундаментального трехтомника «Мексика в творчестве Октавио Паса» (1987) и знаменитого «пилотного» собрания прозы «Лабиринт одиночества» (1950) до серии литературно-философских этюдов из книги «Лик и лира» и стихов из множества сборников разных лет.

С радостью и гордостью за себя (что диалог состоялся, что читательское освящение мига свершилось) читал я этого всегда и на все отзывчивого мексиканца, — количество тамошних монографий о котором исчисляется астрономической суммой, а собрание сочинений превысило полсотни томов. Между прочим, читая, не мог отделаться от ощущения, что личность Паса, его эволюция, социальное поведение и стиль мышления — одновременное вглядывание в себя и в слово, переосмысливающее мир (и мысль), — кого-то мне напоминают. Может быть, Мераба Мамардашвили? А может, любого мыслящего поэта. Такого, скажем, каким был Пастернак, стоя на трибуне Парижского конгресса в 1935-м.

Не знаю. Но абсолютное, экзистенциальное одиночество, сопрягаемое с доверчивостью и доверительностью тона, заставили меня, например, читая эссе, забыть о заглавии и вскоре с удивлением отметить, что это была Нобелевская лекция.

«Ощущение одиночества возникает у меня в памяти среди самых ранних и смутных воспоминаний наряду с первым плачем и первыми страхами. Как все дети, я выдумывал про себя разные истории, и они, словно мосты, соединяли меня с другими людьми, с миром...» И дальше — про сад, дом, заваленный книгами, и про конец зачарованности, про начало «выдворения из настоящего». И выход к вечной пасовской теме: поиски современности в прошлом, осознание того, что между традицией и современностью никакой пропасти нет. Все это — языком не философа, а поэта, выстраивая импрессионистскую мозаику, тут же превращаемую в лабиринт образов — то удаленно-географических, то интимно-автопортретных.

Я исчезаю
светом и пеной, телом без плоти;
мир — это ветер,
это лишь воздух на перелете.

Основную стихотворную переводческую «планку» здесь держит Анатолий Гелескул. И я, конечно, даже если мог бы, не стал рассуждать о достоверности передачи голоса поэта. Голосу — веришь, так что напрасно А. Драгомощенко в том же «Русском Журнале» пишет, что ему незачем говорить, не зная испанского, «о достоверности или недостатках» новой книги русских переводов Паса. Просто, как сказано в «Криминальном чтиве», он, видимо, «еще не обзавелся своим мнением».

Я же пока успел обзавестись впечатлением. И, честное слово, оно все время меняется. «В борьбе с молчанием и невнятным гулом я творю слово, сотворяя свободу, ежечасно меня пересотворяющую». Кстати, составитель считает, что это высказывание годится на авторский эпиграф ко всему, что написал трудолюбивый и отважный дон Октавио.

Инна Лиснянская/Семен Липкин. Вместе. М., «Грааль»/«Русский путь», 2000, 320 стр.

Эта книга ни в коем случае не *проект*. Это — естественное, хотя и уникальное событие. Помню, как это начиналось: несколько лет назад был такой поэтический

¹ Благодарю неутомимую А. Метелкину из «Русского Журнала» (www.russ.ru) за напоминание моему недолговременному сетевому alter ego о существовании этой книги.

вечер, когда они впервые читали вместе, сидя рядом, она — свое, он — свое. Здесь мне хочется помянуть рыцаря и подвижника, издателя и поэта, сохозяина поэтического салона «Классики XXI века» — Руслана Элинина. Ума не приложу, как он их уговорил. Потом, на телеканале «Культура», прошел документальный фильм режиссера Якова Назарова. Потом — в «Общей газете» Юлия Чупринина сделала общую беседу под заголовком «Покурим, Семен Израилевич?». И вот — стихотворный сборник, изящно оформленный, со множеством факсимильных воспроизведений беловиков, семейных фотографий. И — скрещивающиеся ван-эйковские руки на обложке.

Много, много лет они вместе, хотя немногим известно, что *поженились-то* они, в сущности, недавно. Что же до стихов, то муж публикуется в течение последних семидесяти лет, жена — пятидесяти с лишним. Вместе и порознь в нашей поэзии они — эпоха. Эта книга, думаю, стала подарком и для них, и для читателя.

Сколько ни думал, подобного сборника ни в ушедшем веке, ни в нынешнем представить не смог. Что должно сложиться: утвержденность поэтической и человеческой репутации? Да, но это не все. Совместное проживание и переживание историко-литературных событий (может, в их случае это история с «Метрополем» и самоисключением из писательского союза)? Наверное. Только вот не представляю я естественности в издании подобной книги Ахматовой/Гумилева — *тогда*. Или, например (*например!*), Павловой/Поздняяева — *нынче*. В конце концов, есть и другие существующие в читательском сознании союзы. Но почему-то только в их, Лиснянской и Липкина, случае идея и воплощение такого издания не кажутся вычурными. Это в самом высоком смысле — трогательная книга.

Два мастера, продолжающих удивлять и радовать. Она — возрастающей свежестью тона и музыкального ряда, он — какой-то *последней* мудростью, проникновенной, из стиха в стих переходящей оглядкой на себя (в этом году — девяностолетнего!) и мир, которому он, кажется, ровесник. Лиснянская как-то чудесно сказала, что Липкин сразу родился взрослым. Когда я год назад прочитал у Юрия Кублановского («Новый мир», 2000, № 7), что, «может быть, его поэзии не хватает чувства юмора», то, согласившись с этой фразой применительно к контексту, в котором она стоит, вспомнил стихотворение «Из романса моего детства». Оно есть и в этой книге: стихотворение о том, как в начале века отец впервые повел маленького Семена в «мир взрослых», в одесский шалман:

Модистка, милый франт,
В петлице красный бант,
Осенний теплый день,
Трактир «Олень»...

Какая жизнь была,
Какая жизнь была,
Когда Володя Бланк
Пошел ва-банк.

Вот — юмор, изящный, подобный мандельштамовскому «Юношей Публий вступил в ряды ВКП золотые...».

...Перелистывал «Вместе», и пульсировали строки Лиснянской, которые уже давно существуют в песне (стихи Инны Львовны поют, и много?):

Как дышит море, из волны в волну
Медовую луну переливая...
И коль всплакну — от нежности всплакну,
Что ты живой и я еще живая.

² Тут хорош вопрос-восклицание о ней Пастернака: «Откуда в еврейско-армянской крови, возвращенной на азербайджанской почве, такая русская музыка?..»

Огден Нэш. Стихи. В переводе Ирины Комаровой. М., «Захаров», 2000, 95 стр.

Я купил эту книгу на втором этаже «Клуба ОГИ» в паре с букинистическим сборником американской детской поэзии (Нэша в том числе) «Посыпайте голову перцем» в пересказах Григория Кружкова. Там — обожаемые «Заводим кота», «Корова» и «Размышления в прихожей». Здесь — тринадцать лет не переиздававшиеся «Меморандум для внутреннего пользования», «Смотрите, а то приду в гости» и «Что ты, дорогая, у меня и в мыслях не было».

Читаем так: набираем побольше воздуха и ритмично, не поддаваясь головокружению, выталкиваем этот воздух вместе со словами наружу — в попытке обвенчать последнее слово предыдущей строки с финалом выталкиваемой. Если получилось, то это Нэш. Отсмеяться лучше заранее.

А если серьезно, то русскоязычное бытование американского нонсенс-классика в переводах Ирины Комаровой очень комфортно и рискованно одновременно. Ибо мы имеем дело с билингвой, и, глядя налево, хочешь не хочешь, а переводы эти тянет именовать пересказами. Кстати, сама переводчица предупреждает в своем предисловии об исключительной цели: воспроизведение манеры поэта, его стиля и духа. Так и говорит, что буквалистов постигнет разочарование. Я совсем не буквалист, но, словарем вооружившись, поиграл в Букву, перепугался и на левую часть книги более не заглядывал. Честь и хвала смелости предприятия.

Добавим про комфортность бытования Нэша в Сети: огромное количество ссылок, индивидуальных страниц, фотографий, рисунков, альтернативных переводов и собраний сочинений. Словом, большой интернэш. В маленькой же статье Комаровой говорится и о русскоязычных истоках Нэша, о благословении переводчицы Корнеем Чуковским. Напомню, что предыдущее издание («Все, кроме нас с тобой», 1988) было посвящено его памяти. Примечательно, что так же поступила в 1973-м переводчица Татьяна Макарова, посвятив памяти почетного доктора литературы Оксфорда свои переводы из Доктора Сьюза (Dr. Seuss).

И уж если говорить о личных контактах, я напомню, что Ирина Комарова поддерживала с Нэшем эпистолярную дружбу.

Теперь о внешнем виде книжки. Как я вижу, «захаровский» стиль здесь налицо: предисловие Комаровой начинается на стр. 5 и, оборвавшись на полуслове, заканчивается на стр. 92. Догадываюсь, что это не концептуальное приветствие от нашего стола к Нэшеву, а привычно-фирменное разгильдяйство вроде отсутствия именного указателя в первом издании «Большой книги интервью» Иосифа Бродского (2000) и, видимо, симпатической краской напечатанного оглавления в «Записных книжках» Лидии Гинзбург (1999). Ну ничего. Зато доброе дело все-таки сделали — двуязычного Нэша выпустили.

Говорят, эти люди — сама доброта.

И самое главное — они уверены, что любой ущерб, понесенный вами по части здоровья и благоденствия, —

Ничто по сравнению с тем удовольствием, которое вы получите от их извинения.

Лично я предпочитаю грубое слово от того, кто не сделал мне ничего дурного: по мне, это лучше в тысячу раз,

Чем любезное послание от короля Англии с извинениями за то, что он выбил мне глаз.

(«Сама доброта, или Из вашего прощанья не шубу шить»).

Исаак Башевис Зингер. Фокусник из Люблина. Роман. Перевод Н. Брумберг. СПб., «Амфора», 2000, 303 стр.

Исаак Башевис Зингер. Мешуга. Роман. Перевод С. Свердлова. СПб., «Амфора», 2001, 311 стр.

...Тут я признаюсь, поскольку «Книжная полка» — дело предельно авторское, что к этому писателю (а заодно и следующему ниже) я слишком пристрастен из-за работы в Музее Чуковского. Вот уже, по-моему, тридцать пять лет большое фото Зингера — с теплой дарственной надписью — стоит в кабинете Чуковского за

стеклом книжного шкафа, а слева, на стеллаже, — почти целая полка зингеровских сочинений по-английски, присланных и надписанных самим автором. Надеюсь, будет опубликована переписка Корнея Ивановича с переводчицей Миррой Гинзбург, где почти в каждом письме — о Зингере и его книгах. Воспользуюсь случаем и процитирую из опубликованного (Иерусалим, 1978) письма — легендарной учительнице истории Рахели Марголиной: «Знаете ли Вы Исаака Башевиса-Зингера (или Сингера). Я на днях прочел его книгу в переводе на английский язык, и она привела меня в восхищение... Великолепный мастер, и какое глубокое знание быта!» И — человека, добавили бы тысячи позднейших читателей в России, которые ровно десять лет тому назад получили роман «Шоша», переведенный с английского Ниной Брумберг, да горсть рассказов, переведенных с идиш Львом Беринским. Дальше — больше. Количество изданных книг перевалило за десяток, журнальных публикаций — за два десятка, вот и я — не успел освоить «Фокусника из Люблина», как та же «Амфора» разразилась «Мешугой». Этот роман, как и удачно экранизированные П. Мазурским «Враги. История любви» (пару раз крутили по *тому еще* НТВ), перевел с английского С. Свердлов.

Собиратель нынешней полки полюбил Зингера с первого прочтения, но остался безусловным поклонником небольшой книжечки рассказов, блистательно переведенных поэтом Александром Величанским. Напряжение, переходящее в мистический ужас, и вдруг — неторопливая, прозрачная повествовательность, обещающая впереди эпос, но в результате сжимающая его до притчи, до анекдота, до шутки — которая виснет на врату и на целую жизнь застревает в памяти.

Удивительно в авторской манере Зингера и то, что сближает его для меня с Чеховым, который, по словам Чуковского, был одним из самых скрытных русских писателей. Не «проговаривается» и Зингер. Тот же Величанский говорил, что кажущаяся открытость и доверительность Зингера ни в коем случае не дает понять наверняка, кто перед вами — автор или его герой. Артем Липатов в давней представительской статье «Зингер, без которого не обойтись» (www.vladivostok.com/Speaking_In_Tongues) также цитирует Величанского, но по другому, тоже важному для нас, поводу: «Его рассказы как на золотом диске записаны на всеми забытом языке, и непосвященные вынуждены слушать их на пластмассе».

Это тема, выходящая за рамки нашего жанра, но не могу не отозваться на замечательную (и, видимо, малодоступную) статью Валерия Дымшица «Хрен-трава, или Ицхок Башевис как зеркало еврейской культурной революции в России» (бюллетень «Народ Книги в мире книг», 2000, № 29. Издание Ассоциации еврейских библиотек). Статья о больших и маленьких мифах вокруг Зингера и судьбы его изданий в России. Два мифа назову: «Зингер как исполняющий обязанности Главного современного еврейского писателя» и «Надо ли переводить, если некому переводить». Понятно, о чем идет речь в двух главных мифах, и хотя Нина Брумберг аттестуется Дымшицем как единственная переводчица с английского, которую «можно читать без отвращения», — не забудем о том, что изданный в 1997-м питерским «Лимбус Пресс» «Люблинский шуткарь» переводился Асаром Эппелем с идиш, и только с него.

Сказать, что книги Башевиса оформляют пошло, — ничего не сказать. Везде лепают картины Шагала (в «Амфоре» это уже серийный стиль), не имеющего никакого отношения к духу прозы Зингера, а на упомянутого «Штукаря» и вовсе поместили портрет Любавического ребе М.-М. Шнеерсона. Видимо, по принципу (расширим Дымшица): фрукт — яблоко, поэт — Пушкин, еврейский художник — Шагал, еврейский писатель — борода и шляпа...

А романы — хорошие, в них авантюристы рядятся в тоги философов, а мыслители непрерывно подвергают себя осмеянию, превращаясь то в арлекинов, то в меланхоликов, выедающих себя самоё. Тем, кто видел «Фокусника из Люблина» у Марка Розовского, первый роман добавит новых впечатлений, тем, кто не видел, откроет безумную фигуру главного героя — «кунцмахера» Яши Мазура. Чем-то он мне напомнил другого Якова — гробовщика Иванова из чеховской «Скрипки Ротшильда». Может, своей, как сейчас принято говорить, «амбивалентностью».

Что же до «Мешуги» — романа о будущем, вырастающем из хаоса; о «сошедшем с ума во время Холокоста мире», — я прежде всего соглашусь, например, с

Ольгой Гринкруг (www.gazeta.ru) и многими другими, кто справедливо попенял «Амфоре» за «рекламу» в виде сентенции про «продолжение романа «Шоша». Никакого продолжения, кроме имени главного героя — писателя Аарона Грейдингера. Жизнь в новой, послевоенной жизни, новое безумие, новый калейдоскоп. С точки зрения художественности, этот роман уступает прочим почти во всем, но здесь выпуклее, чем в других, проводится идея Зингера о вышибании клина клином. В безумном мире действуй безумно. Эффект будет неожиданным и дельным.

Как в рассказе у Бродского — про соревнование по рубке дров между зеками и лагерной обслугой. Все разошлись, а он все рубит. Все умерли, а он поет. Короче, топор все летает и летает.

Владимир Жаботинский. Пятеро. Роман, статьи (приложение). Одесса, «Друк», 2000, 304 стр.

Владимир Жаботинский. Самсон назорей. М., 2000, 349 стр.

В 1965 году Корней Чуковский писал из больницы своей корреспондентке Марголиной — о Владимире Жаботинском (наверное, К. Ч. был единственный в СССР человек, который, пусть и в частном письме, выводил его имя черным по белому без каких-либо оценочных ярлыков): «Он ввел меня в литературу... выслушал мои философские бредни и повел меня к редактору „Одесских новостей“ и убедил его напечатать отрывок из моей нескончаемой рукописи... От всей личности Владимира Евгеньевича шла какая-то духовная радиация, в нем было что-то от пушкинского Моцарта, да, пожалуй, и от самого Пушкина...» И еще одна цитата — из Михаила Осоргина (в приложении к изданному в Одессе роману ее, естественно, нет): «В русской литературе и публицистике очень много талантливых евреев, живущих — и пламенно живущих — только российскими интересами. При моем полном к ним уважении, я все-таки большой процент пламенных связал бы веревочкой и отдал бы вам в обмен на одного холодно-любезного к нам Жаботинского» (1930).

Роман «Пятеро» (первое издание — Париж, 1936) — это триста страниц южно-русской прозы, ритм, вкус и запах которой не спутать ни с чем. Счастливый культурный вирус, имя которому «старая Одесса», активизировался тиражом в 500 экземпляров и для книжных продаж не предназначался. Однако до Москвы эта черноморская ласточка все-таки долетела, и для сегодняшнего российского читателя Жаботинского именно она стала первой. Просто последние восемьдесят лет у нас этого автора не издавали. Только что узнал, что нынче роман печатается в «Новой юности». «Самсон назорей» (первое издание в Германии, 1927) выпущен пятитысячным тиражом. Обе книги написаны по-русски человеком, которого в старой «Международной панораме» называли «фашистским штурмовиком сионизма», а в новые времена — «знаменитым еврейским писателем, поэтом, переводчиком и общественным деятелем».

Если читатель еще помнит перестроечные газетные рубрики «Возвращение», то Владимир Жаботинский с возвращением припозднился. Но, может, это и хорошо: настоящему вину выдержка лишь на пользу. В начале века его фельетоны, критические статьи и заграничные корреспонденции, подписанные псевдонимом Altalena (в переводе с итальянского — качели), действительно читала вся просвещенная Россия, а переводы из Эдгара По вошли в школьные учебники, когда щек толмача только-только коснулась бритва. «Сказание о погроме» великого Хаима Бялика он перевел на русский в 1903 году, еще не зная тогда, что через двадцать пять лет напишет свое «Слово о полку» — книгу об им же самим созданном еврейском батальоне времен Первой мировой. Он свободно владел семью языками, на рубеже веков учился юриспруденции в Берне и Риме, и криминалист-антрополог Чезаре Ломброзо был одно время его руководителем семинара. Его юношеские прозаические опыты благожелательно оценил Короленко, стихи и поэмы хвалили Бунин и Брюсов, ранняя драматургия волновала Горького и Леонида Андреева. В письме одному еврейскому литератору-сионисту Александр Куприн пенял в свое время совсем не шуточно: «У Жаботинского врожденный талант, он может вырасти в орла русской литературы, а вы украли его у нас, просто украли... Боже мой,

что вы сделали с этим молодым орлом? Вы потащили его в еврейскую черту оседлости и обрезали его крылья».

Куприн ошибся дважды. Владимир Жаботинский сделал себя сам: «Сначала Бог сотворил человека, не нацию, а человека, и обязанность служения нации человек берет на себя добровольно». Вторая ошибка Куприна — про обрезание крыльев. В восемнадцатитомное собрание сочинений Жаботинского (Тель-Авив, 1947 — 1959) входит не только публицистика. Представляемые нами романы обнаруживают как размах писательских крыльев, так и дальность полета. Эти две книги, кстати, относятся к его поздней прозе.

Шекспировская трагедия одесской семьи, захваченной эпохой еврейского обрусения, и вольный библейский сюжет о последнем суде в Книге Судей, призванном на борьбу за своих. Испытания, ослепления (в том числе и натуральные: главных героев обеих книг лишают зрения), любовный огонь и то, что в учебниках называют «состоянием общества». В романе «Пятеро» меня поразило описание преобразившейся атмосферы — сразу после накала «революции пятого года». Молодые герои романа не могли и предвидеть, что начавшееся «набатов в тот же вечер собьется на вой кабацкого бессмыслия». Пять линий, пять судеб семейства Мильгром, собравшего к итогу книги весьма трагический урожай: две смерти, два ослепления (одно — символическое, духовно-добровольное, другое, повторюсь, — реальное). А последний, «правильный» герой растворяется в будущем, которого пока не знает, но о котором знаем мы.

Общее качество письма такое: «...я видел не раз, как самые утонченные формации человеческие — модницы, директора банков, жандармские ротмистры, подписчики толстых журналов, — отрясая кандалы цивилизации, брали в левую руку „фунтик“ из просаленной бумаги, двумя перстами правой почерпали из него замкнутый в серо-полосатую кобуру поцелуй солнца, и изысканный разговор их из нестройной городской прозы превращался в мерную скандированную речь с частыми цезурами в виде пауз для сплевывания лушпайки» («Пятеро»). Лузганье подсолнечных семечек.

Прочитав передовицу «Ex libris-НГ» от 5 апреля («Сионист и синтоист» Игоря Зотова), поймал себя на мысли, что он, видимо, достал один из пятисот экземпляров романа «Пятеро», ибо в его рассуждениях я почти узнаю интонацию и догадки журналистки и критика Ольги Канунниковой (ее статья опубликована в приложении к роману). Кстати, именно Канунникова одна из первых ввела имя сиониста в читательский оборот — одесскими газетными публикациями эпохи перестройки. Если мои ощущения верны — давайте не забывать ссылаться друг на друга, а если я ошибся и *похожее* пришло в разные головы — мои искренние извинения.

-3

Михаил Кралин. Победившее смерть слово. Статьи об Анне Ахматовой и воспоминания о ее современниках. Томск, «Водолей», 2000, 384 стр.

О печалях «минусового» раздела — по нарастающей. Начнем с неловкости.

В случае с этим автором неловкость была еще тогда, когда М. Кралин («мальчик из Лодейного поля», см. соответствующий фрагмент в третьем томе «Записок об Анне Ахматовой» Л. Чуковской) трудолюбиво-хладнокровно включил ахматовский цикл «Слава миру» в составленный им двухтомник Ахматовой (М., 1990). Насколько мне известно, А. А. просила не делать этого и собственноручно вырывала этот цикл «с петлей на шее» из иностранных изданий.

В «Победившем смерть слово» желание автора, чтобы его «статьи разных лет, собранные под одной обложкой, породнились и стали книгой», кажется, недовоплотилось прежде всего из-за смешения жанров и перебора в «одомашнивании» тона. Легкий привкус развязности и общая необязательность интонаций, по моим ощущениям, также присутствуют. И это при том, что есть и новые открытия, и новые идеи. Но ощущение неловкости не уходит.

Альберт Голдман. Джон Леннон. М., «Молодая гвардия», 2000, 615 стр. («Жизнь замечательных людей»).

Перейдем к отвращению. Если бы серия биографий, основанная Горьким за семь лет до рождения знаменитого битла, называлась иначе: «Жизнь подонистых негодяев», монография Голдмана стала бы лучшим вкладом. А так я, пользуясь выражением Чуковского, не сумел найти микроскоп, дабы разглядеть этого Альберта. Интересно, верно ли догадался, что среди отечественных рок-музыкантов не нашлось смельчаков писать предисловие к шестистам страницам, покрытым убористым... гм... текстом. И все же поместили, доложу я вам, интервью с композитором Саулским, который повспоминал о молодости, о «Битлз» и «Машине времени», о раздаче Ельциным орденов недавним соцбунтарям.

Не то Голдман. Подумать только, несколько лет человек трудился, опрашивал сотни очевидцев, прочитал все, что можно, и в результате мышь родила гору, доказывающую, что музыкант, оказавший влияние на миллионы людей (музыку и песни которого миллионы же продолжают слушать), — был жалкой, распавшейся фигуркой. Вот загадка-то! Опускать, так не до себя, а еще пониже. И пожалеть, опуская. Ну и скандал, само собой.

Только одного я не понял: нашим-то эта ерунда зачем? Некуда деньги тратить?

Время «Ч»: стихи о Чечне и не только. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 384 стр.

Здесь же — только руками развести. Мало антологии Владимира Друка о 1991-м, мало стихотворных собраний в поддержку любимых партий. Надо было и за Чечню приняться. Собиратели — Н. Винник с товарищами — снимали, видимо, трубку телефона, просили на святое дело. Люди и давали, не догадываясь, не понимая, что *контекст* и *окружение* придется оценивать по факту вывоза тиража из типографии. Я говорил с некоторыми участниками, которые успели вырвать себе немало волос, узнав, во что вляпались. На шумной презентации следующий проект заявлен как «порнографический». Ну что же: грязь и грязь, гармонично и последовательно.

Все смешалось в этом окопе: стихи «по теме» (начальство — вперед!), свежеспеченное для перформанса, и наконец, что самое обидное, в книге есть и хорошие стихи. И чем, как не желанием привлечь внимание к *проекту*, объяснить рисунок чеченского ребенка, вынесенный на обложку: боевик в черных очках и с автоматом? Ну, такой, знаете, который женщинам животы вспарывает, обыкновенный защитник своей земли.

Я все понимаю, грязи достаточно по обе стороны. И никто ведь не объяснил г-ну Виннику, что трагедию, войну и боль нельзя превращать в перформанс. Что из трупов не делают инсталляций. Что это, наконец, безвкусно.

Зашел в Интернет, а там... с пеной у рта в «Светской жизни», в специальном разделе отзывов... полный текст презентации, крупные фото: вздетые глаза, сложенные руки, жилы на шее. Нет, боюсь, это область антропологических изысканий.

КИНООБОЗРЕНИЕ ДМИТРИЯ БЫКОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ С МЕРТВЕЦОМ

Никогда не путешествуйте с мертвецом.

Эпиграф к «Мертвецу» Дж. Джармуша.

Для начала — несколько слов о том, чего можно было ожидать от сокуровского «Тельца», второй части задуманной тетралогии о людях во власти, — и о том, почему вторая картина приветствовалась с таким энтузиазмом. Дело в том, что «Молох» (1999) многим казался самой удачной картиной Сокурова, наиболее

внятными и лаконичными его творениями — без фирменных длиннот, с отличными арабовскими диалогами (приз за лучший сценарий в Каннах, хотя Гитлер в не меньшей степени заслуживал поощрения — Арабов обильно и точно цитировал записи его «Застольных бесед»). Главное же — «Молох» был в конечном итоге фильмом о всевластии патологии, о том, как она неотразима и соблазнительна — и как беспомощна перед ней норма. Только этой соблазнительностью бреда, его привлекательностью для обыденного сознания можно объяснить любое массовое оболванивание в мировой истории: чушь, которую нес Гитлер в арабовском сценарии (а надо сказать, что из довольно нудных «Разговоров» Юрий Арабов точно выбирал самые бредовые, самые экзотические куски), в сочетании с маниакальной уверенностью в гениальности каждого собственного слова, — оказывалась вдруг непобедима. Ева Браун со своими бедными и традиционными чувствами — тоской, любовью, страхом — совершенно бледнела на фоне этого грандиозного идиота, из которого все время текло. Даже физическая его патология — насквозь мокрое белье, беспричинная потливость — наряду с безразличностью возбуждала любопытство. Триумф абсолютного зла и уродства, триумф, над которым даже посмеяться было нельзя (тем более что с юмором у Сокурова вообще трудно), был чрезвычайно убедителен. Не знаю, в какой степени этот эффект соответствовал сокуровскому замыслу: замысел всей тетралогии, неоднократно обнародованный автором в процессе работы, сводился к показу того, как уродует и расчеловечивает власть и самого властителя, и его окружение. Мысль не новая, но Сокуров — весьма бедный философ, сколько можно судить по его интервью и публичным выступлениям, — выиграл в «Молохе» как художник. Его камера, всегда зачарованная патологией, смертью, уродством, безумием, словно пытается на их примере рассмотреть феномен человека в наиболее чистом, что ли, виде. Как всякий поклонник восточных философий, Сокуров с большим подозрением относится к рассудку, к любому теоретизированию — одним словом, к рацею. Его интересует жизнь тела или жизнь духа, но никак не жизнь ума.

Интересно было, как подойдет Сокуров к Ленину — тем более, что при поразительном количестве сочинений и фильмов, посвященных этой простой и вместе таинственной фигуре, не сказать пошлость о Ленине действительно трудно. Сказано все, а непонятно ничего. Ленин оказался куда более сложным случаем, чем Гитлер. Гитлеризм — болезненный вывих мировой истории, вывих, который, слава Богу, вправили. Патологию, что ни говорите, исследовать проще. То ли дело норма, а Ленин и есть абсолютный триумф нормы. Путь, на который он в конечном итоге вывел империю, был вовсе не тупиковой ветвью, какой для Европы оказался фашизм, а долговременным переустройством этой империи. Идеи, в которые он верил, ничего бредового в себе отнюдь не содержат — наоборот, чистый прагматизм. Если бы записать «Застольные разговоры Ленина» — хотя он и за столом-то не сидел, перехватывая какую-то еду на бегу и спешил лихорадочно писать или записывать, — это была бы куда более нудная книга, нежели фиксация гитлеровских экзотических теорий насчет судоходства или крапивы. Читать Ленина не скучно только потому, что в каждом слове дышит бурный темперамент, автор увлекательно ругается, иногда весьма остроумно размазывает оппонента, — но ленинская картина мира так фантастически скучна и плоска, до такой степени состоит из каких-то ужасных производительных сил и производственных отношений, так отдает какими-то краснокирпичными трубами и пыльными обложками того же цвета, что поневоле зевнешь, невзирая на все клокотание Ильичева стиля. Мы поразительно мало знаем о его жизни не только потому, что большевики старательно засекретили всю информацию о своем главном святом, но и потому, что жизни-то, собственно, никакой не было: была одна кипучая и лихорадочная деятельность, опофеоз воли, которая вдруг оказалась парализована, как и ее несчастный обладатель. Разумеется, Ленина не мог не смущать тот факт, что, всю жизнь ненавидя Достоевского, он так точно исполнил его архискверное предсказание — из предельной свободы вывел предельное закрепощение; тут-то, пожалуй, и есть материал для подлинной трагедии, которую со временем напишут или снимут. Истории надо было реставрировать и подморозить растекающуюся, обваливающуюся империю, — и для быстрой и радикальной ее модернизации, для притока свежей крови

во власть, для создания новой культуры понадобилась русская революция, плод утопического вымысла. Разумеется, наибольшим шоком для Ленина, человека четкого и быстрого ума, было именно иррациональное противоречие между замыслом этой революции, ее грандиозными и несбыточными целями — и результатом, как раз и сводившимся к возрождению и укреплению той самой великой державы, которая была Ленину и, скажем, Блоку одинаково отвратительна. Обратите внимание: оба тут же заболели труднообъяснимой мозговой болезнью (у обоих бесосновательно предполагали сифилис) и умерли: поэт, страстно ожидавший гибели всей этой имперской пошлости, и политик, ничего о поэте не знавший, но столь же страстно ненавидевший русскую государственность, — в равной степени воплотили дух грядущих перемен и почти одновременно лишились рассудка, когда этот дух от них отлетел и завоняло прежней скукой.

Вот где, мне кажется, исток ленинской трагедии: попробовал — убедился. Чуждый любой морали, готовый использовать кого угодно (и ценивший людей лишь в той мере, в какой онигодились в дело), Ильич сам был использован беспардоннейшим образом: история его подхватила и выбросила. Он-то все удивлялся, как это у него так легко получилось взять власть, — но в силу проклятой своей рациональности никак не мог взять в толк, что у инструмента, находящегося в Божьей руке, вообще все очень легко получается. Трудно потом, когда дело сделано и ты уже никому не нужен.

Собственно, этот момент ленинской биографии Сокуров и анализирует: один день в Горках в 1922 году. Было уже несколько припадков, частичный паралич, провалы в памяти — но сохранена речь, сохранились остатки воли: временами он все еще человек. Мне-то как раз было интересно, как справится Сокуров — режиссер, отрицающий возможности разума, принципиально не верящий в него, — с абсолютным воплощением плоского разума, каким был Ленин. То, что для анализа взят Ленин немощный, Ленин, которому уже отказывает его гигантский и притом чрезвычайно циничный ум, меня уже смутило: есть здесь некое облегчение задачи. Когда снимаешь о вождях, имеет смысл рассматривать их в силе и славе, во всей полноте явления. Нет: взят больной, немощный Ленин. Ну, посмотрим...

Посмотрели. Я пишу эти заметки в апреле, когда до Канн еще месяц, — а вы их читаете через два месяца после окончания фестиваля: таков журнальный цикл, ничего не поделаешь. Я очень хочу ошибиться. Но мне кажется, что «Телец» не получит ничего¹.

Перед нами — классический пример сокуровского минимализма, но теперь он доведен до абсурда. Минимизированы не только изобразительные средства, не только затраты, не только диалоги — минимизированы запросы, замах: никогда еще Сокуров, по-моему, не снимал такой примитивной картины. Никогда еще нищета его философии (если это вообще философия) не была явлена так наглядно. То, что в «Скорбном бесчувствии» или «Днях затмения» отчасти маскировалось экзотичностью материала, изобретательностью монтажа, длиннотами, тайнами, — все стало по-ленински плоско: Сокуров снял фильм о том, как ничтожен перед лицом смерти человек, всего себя отдавший политике. Очень интересно.

Но позвольте спросить: а человек, всего себя отдавший кинематографу, менее ничтожен перед лицом смерти? Да будь он и негром преклонных годов, и Вольтером, и носителем гуманнейшего из гуманных мировоззрений, и святым, если хотите, — неужели в параличе он будет выглядеть лучше, чем этот несчастный в исполнении все того же Леонида Мозгового?! Право, какая сомнительная поверка, какой убогий критерий!² А вот тот же Ленин на фоне природы, усадебной, идиллической, — и как бессилён и жалок этот вершитель мировых судеб, как путается он в длинной густой траве, которая в итоге и победит, и поглотит его... О да, кто бы спорил. Но кто сказал, что природа более нравственна, нежели ее отважные покорители? Она поступает с делами рук людских ничуть не гуманнее, чем люди с нею. И оттого роскошь усадебной жизни с ее буйством всякого рода растительности

¹ А хотелось ведь ошибиться... (Послефестивальное замечание.)

² Дмитрий Быков считает, что все умирающие умирают одинаково жалко. Это — даже при инсульте, параличе и проч. — не всегда так. (Примеч. А. Василевского.)
Не одинаково жалко, нет. Но жалко всех. (Примеч. автора.)

как-то не выглядит убедительной альтернативой для той бешеной, жестокой и, в сущности, тоже глубоко природной философии, рабом которой всю жизнь был социальный дарвинист и биологист Ильич.

А уже знаменитая и в самом деле отличная сцена, в которой Крупская стирает белье вождя! Бытовая беспомощность Крупской вошла в поговорку, отмечалась во всех мемуарах — и готовить-то она не умела, и прибраться забывала, и вообще в отличие от пресловутой Арманд была абсолютно не-природным, неорганичным существом: во всякой беседе вечно говорила что-то резкое, плохо ладила с людьми, вызывала брезгливое недоумение своей неопрятностью, а в поздние годы — чуть ли не уродством... Но кто сказал, что как раз природность, умелость, ловкость и органика имеют тут, при беспристрастном взгляде, какие-либо этические преимущества? Люди книжные и абстрактные вообще очень далеки от быта, Ленин и Крупская как раз были такими людьми, — от души сомневаюсь, что Ильич был хорошим охотником, и не думаю, что у него достало бы сноровки как следует разжечь костер или растопить печь. Все бытовые, простейшие, человеческие движения души — типа дать гонорар врачу или сказать жене что-нибудь приятное — давались ему с трудом, это вам не Брестский мир. Но как раз это меня в его случае как-то трогает, как-то дополнительно к нему располагает. Я всегда побаивался укорененных в жизни, органичных людей из той породы, о которой Мандельштам с таким восхищением сказал: «Есть женщины, сырой земле родные». По-моему, человек только тем и ценен, чем он отличается от этой самой сырой земли, — и потому видеть в Крупской апофеоз беспомощности я, извините, отказываюсь. Она (отличная роль Елены Морозовой) как раз и вызывает у меня наибольшее сострадание — хотя от реальной Крупской, плоской, грубой и недалекой женщины, стремившейся в советские годы вытравить из педагогики все живое и неформальное, она сильно отличается.

К этой картине у меня вообще много чисто фактических претензий, хотя не в них дело. Ну прежде всего: не были на «вы» Ленин и Крупская, «выканье» — вообще в революционной среде вещь редкая. Не стали бы санитары и тем более врач так открыто грубить вождю. Как бы он ни кричал и ни капризничал, относиться к нему с раздраженной снисходительностью, как к обычному сумасшедшему, не смог бы и самый быдловатый санитар. Хорош Сталин (С. Рыжков) — по крайней мере целостен и убедителен, — но никогда в жизни не взял бы он с Крупской такого тона, какой берет в фильме: случай, когда он ей сгрубил, слишком дорого ему стоил. Не в этих мелочах дело, повторяю, но они по-своему показательны: допускаю, что для Юрия Арабова (отлично знающего материал) это своеобразные лазейки, нарочитые отступления от буквальности. Чтобы вождь был не только Лениным, но вождем вообще, чтобы доктор был доктором, жена — женой... Но портретные сходства слишком разительны. Он — он, и Она — она.

Гитлеру Сокуров дал возможность высказаться достаточно полно; Ленин бормочет обрывки фраз, невнятные догадки, полубессмысленные вопросы. Некоторые из них — о необходимости насилия и о вечной его недостаточности — вполне в его устах уместны и узнаваемы. Не совсем понятно, правда, где в таком случае пролегал граница между Лениным и Сталиным: Сокуров в своих высказываниях часто подчеркивал разницу между ними — Ленин еще отчасти человек, Сталин уже совсем зверь, — но, ей-Богу, в смысле необремененности интеллигентскими комплексами они практически равны. Иное дело, что цели были несколько разные: Ленин ненавидел имперскость и державность, Сталин обожал, — а служили они единой цели, не всегда это сознавая. Но как раз идеологические различия Сокурова занимают меньше всего, как и вообще любая идеология: Ленин у него выходит нравственнее — человечнее, что ли, — по единственной причине: он ближе к смерти. Признаком человечности становится паралич. То есть, по мысли Сокурова, человек ровно настолько хорош, насколько он... ну да, мертв. Насколько он уже сделался частью природы. Отсюда и зачарованность смертью: мертвый никого не убивает, мертвый знает что-то очень таинственное и важное, чего еще не знаем мы все, мертвый никого не беспокоит — в общем, он лучше живого во множестве отношений. «Мертвая старуха совершеннее живой», — как говорилось в абсурдистской пьесе Хвостенко и Волохонского.

Не следует ничего делать, ибо все поглотят трава, вода, почва. Не следует превращать одно в другое, потому что в конечном итоге все превратится в одно — в неживую природу. Не надо суетиться, думать, любить, ненавидеть: все вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы. Все там будем. Все будем, как Ленин, — перефразируя стишок времен моего детства.

Эта программа жизни (а точнее — отказа от жизни) как раз заявлена в картине Сокурова, как раз очень торчит оттуда. Авторы восторженных рецензий старательно недоговаривают, один Швыдкой на премьере в Доме кино начал было говорить о том, что подобного взгляда на природу социальной активности как таковой еще не было... и тут же осекся, перешел на славословия. Только слово «социальная» тут, по-моему, лишнее. Речь идет именно об *активности*. Активности Сокуров не любит, хотя и снимает — даже в нынешних условиях — практически непрерывно: но вот именно впечатления активности его работа не производит. Какой-то драматизм наметился в «Молохе», хотя и там камера пользуется любым предложением, чтобы застыть, заснуть, зачароваться, — и идеалом женщины (ведь все сочувствие авторов на стороне Евы Браун) выглядит именно существо, застывшее в вынужденной неподвижности, в вечном ожидании. Если даже такого деятельного вождя, как Ленин, парализовало, — что ж нам-то с вами шевелиться? Такая программа-минимум. Она же максимум. Ведь и самый минимализм его картин всегда доказывал, что лучшее кино — это кино, в котором почти ничего не происходит, кино, которого почти нет. И поразительно, что ахают по поводу фильма Сокурова именно те, кто не понял основную интенцию «Тельца»: им доставляет радость повторение банальностей о том, как не прав был Ленин.

Разумеется, с точки зрения человека, которому противна любая деятельность, которого пугает любое величие, кроме величия безмолвных пространств, Ленин был не прав, а Сокуров велик. Но если бы все мы жили по законам Сокурова и кино снимали бы по законам Сокурова — жизнь сделалась бы невыносима очень скоро. Сокурова вполне обоснованно, хотя и очень часто, называют учеником Тарковского: сравнить нельзя плотность каждого кадра и каждой минуты экранного времени в фильмах Тарковского и зияющие пустоты Сокурова. Тарковский был максималистом во всем, тогда как Сокуров — только в своем минимализме. Полагаю, что Активная Жизненная Позиция, главная советская добродетель, была ненавистна и Тарковскому, оттого он так любил отдохнуть взглядом на пейзаже, — но человек в его фильмах (особенно в прощальном «Жертвоприношении») всегда томится неутомомностью, неудовлетворенностью, виной, — чего в его философии нет, так это покоя. Думаю, что Восток вообще был Тарковскому не особенно близок. И последняя новелла «Андрея Рублева», кажется, в этом смысле более чем откровенна: пафос молчания, надеяния, неучастия в итоге побеждается именно пафосом служения идее или людям, искусству или собственной мании. Николка пробуждает Рублева от каменного молчания, в которое погружен художник. А то, что все умрут... ну да, все умрут. Что ж теперь — не жить?

Я в принципе хотел бы посвятить фильму Киры Муратовой «Второстепенные люди» отдельную статью, но через полгода, когда картину увидят и обсудят все, это уж вовсе не будет иметь смысла. С точки зрения Сокурова любая деятельность бессмысленна, так что какая разница — написать о фильме полугодом позже или раньше, — но я не сокуровец и пытаюсь реагировать на жизнь более оперативно. Но писать о фильме Муратовой не имеет смысла еще и потому, что — в отличие от минималистского произведения Сокурова, принципиально открытого для любой интерпретации, как пустой экран, — «Второстепенные люди» как раз очень прямая картина, вместе с тем точно и полно объясняющая сама себя.

Муратова сняла, кажется, лучший свой фильм — по крайней мере лучший со времен «Астенического синдрома». Самый легкий, самый смешной, самый утешительный — поскольку утешительна всякая демонстрация наших постыдных тайн и мучительных комплексов. Снова чувство радостного освобождения, вскрытого нарыва. И чувство это не покинуло бы зрителя, даже если бы не было совершенно искусственного и малодостоверного хеппи-энда. Все — чушь, никто никого не любит, искусство похоже на механический кукольный танец или альбом душевно-

больного, куда подклеены открытки, фантики, билетки или титры. Но человеку дано свойство претворять эту чушь, иронизировать над ней, отрицать ее, ненавидеть ее, утешаться ею, — человеку дано нечто сверхприродное: это сверхприродное и есть радостная суть гротеска. Муратова сгущает краски, концентрирует их — причем очень незначительно. И это крошечное вмешательство в реальность вдруг заставляет почувствовать всю ее иллюзорность, всю глупость, всю прелесть. Смех — то мстительный, то ликующий, то идиотский — в любом случае оказывается плодотворнее монотонного уныния.

Я не сравниваю Муратову и Сокурова, Боже упаси. Оба художники, оба доказали свое право снимать, как им угодно. Проблема в другом: фильм Муратовой — тоже ведь о смерти, в большей даже степени, чем предыдущие «Три истории». Коллизия традиционная, еще со времен блистательной и очень глупой черной комедии Лотнера «Никаких проблем», просочившейся в наш прокат в начале семидесятых. Любопытно, что ровно на эту же тему поставил свой новый спектакль («№ 13») Владимир Машков. Все прячут труп. У Муратовой труп оказывается живым, но не в том суть: у нее, как у всякого большого мастера, идиотская ситуация обретает некое метафизическое измерение и вся наша жизнь (в которой такое огромное место занимают страх за близких, собственные болезни и страх смерти) предстает огромным и бессмысленным путешествием с трупом. Жизнь — то самое путешествие с мертвецом (внутренним, по выражению Пелевина), от которого нас предостерегал эпиграф к одному хорошему американскому фильму. Так оно и есть, как в хармсовской старухе: бродим по вокзалам, электричкам и гостям, таская с собой труп (разница в том, что труп собственный). Сокуров предложил бы в этой ситуации застыть и превратиться в того самого покойника, которого вечно надо куда-то пристраивать. Муратова предлагает спасительную надежду на то, что смерти нет, что «трупой жив»... В фильме такой воинствующей атеистки, как она (в кадре почти постоянно присутствует икона, иногда окруженная лампочками, в то время как люди Бог знает что творят), это дорогого стоит. Как неумелая молитва мальчика в финале слишком материалистического, насквозь материального, плотно-плотского «Хрусталева». Не то чтобы я был оголтелым миссионером, не то чтобы ценил в искусстве только его христианскую составляющую — но надежда на то, что есть нечто кроме и помимо смерти, всегда как-то очеловечивает и украшает искусство вне зависимости от того, есть Бог или это только так кажется.

А больше я ничего об этой картине писать не хочу, потому что кино такого класса самодостаточно, а все приемы у Муратовой не просто обнажены, но подчеркнуты. Этот фильм снят не ради интерпретаций. Он снят, чтобы жить было веселей.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

*Путевые заметки путешественника по литературному Интернету —
о новой прозе Леонида Костюкова и Сергея Соколовского;
о рейтингах именных литературных сайтов;
о Довлатове и Пелевине в Интернете*

Когда-то, открывая страницы каталога персональных литературных сайтов, в большинстве своем помеченных неведомыми мне именами, я испытывал, во-первых, некий комплекс неполноценности из-за своей неосведомленности, а во-вторых — радостное предчувствие от встречи со свежими текстами. Увы, и то и другое прошло быстро. В диких и непролазных зарослях нашего литературного Интернета есть только несколько относительно утопанных дорожек и обитаемых полянок. Сворачивая в сторону, то есть наугад открывая незнакомый литературный сайт, я обычно читаю что-нибудь вроде: «...темные багровые тучи опускались на город. Татьяна стояла у окна, зябко запахнувшись своим любимым исландским

халатиком, и чувствовала, как пронизывающим холодом вползает в ее душу леденящее воспоминание о разговоре с Андреем. Мой милый, что тебе я сделала, шептали ее побелевшие губы. Тяжелые студенистые капли забарабанили по стеклу...» Ну и так далее. (Имени автора не называю, хотя текст интригует: о каких каплях идет речь в последнем предложении — «студеных» или «каплях студня»? Если второе, то далее могло оказаться и что-то неожиданное.)

Естественно, что, поплутав, я — а куда денешься! — возвращаюсь на уже знакомые сайты. Например, в «Вавилон». Там появились два новых (относительно) текста уже упоминавшихся нами авторов. Роман (!) «Великая страна» Леонида Костюкова (<http://www.vavilon.ru/texts/kostyukov7-1>) и повесть Сергея Соколовского «Фэст фуд» (<http://www.vavilon.ru/textonly/issue7/sokolovskiy>).

Это талантливые тексты, заставляющие читать себя от начала до конца. Послевкусие, правда, остается разное.

Стремительное развитие сюжета Костюков начинает с первых же фраз: «В конце девяносто седьмого Давид Гуренко сумел подзаработать. Партнеры по бизнесу посоветовали ему немного расслабиться на Багамских островах. Там он сделал пластическую операцию на бровях и носу, а потом, поддавись глупой рекламе, и переменил пол — на время, ради острых ощущений. После операции и адаптационного периода Дейла — так ее теперь звали, — выворачивая на хайвей, засмотрелась на собственную аккуратную американскую грудь и вмазалась в рекламный щит. Новоиспеченная вумен прошила головой пятиметровый стакан с кока-колой и, как вы уже догадываетесь, потеряла память». Так появляется сексапильная американская красотка Мэгги. Память возвращается к ней довольно быстро, но Мэгги не торопится в исходное состояние, ей понравилось быть молодой американкой, а девица, надо сказать, получилась что надо — с американской раскованностью и едким трезвым умом, прожаренным русской действительностью.

Жанр романа плутовской. Действующие лица: американские обыватели, старики и старухи, журналисты, врачи, работники ФБР. Последних больше всего, потому как Мэгги становится консультантом в отделе ФБР, изучающем проблемы русской ментальности. Остроумно написаны, скажем, сцены, в которых зависают цэрэушные суперкомпьютеры, решаая психоллингвистические задачи, предлагаемые бытовыми диалогами русских. В итоге Мэгги выясняет, что, несмотря на разность менталитетов, не так уж «идиоты американцы» отличаются от нас. Цепочка знакомств и приключений путешествующей по Америке Мэгги завершается чем-то вроде бала у сатаны — сборищем ветеранов американских спецслужб, полуземных-полуинфернальных существ. Царицей и виночерпием на этих камланиях выпало быть Мэгги. Эпилогом романа становится рассказ о возвращении сознания лежащему в больнице бизнесмену Давиду Гуренко, и читателю предлагается еще один вариант финала: приключения Мэгги соратники Давида по бизнесу, не отходившие от него все время после автомобильной аварии (происшедшей, кстати, в России, а не на Багамах), объясняют его бредовыми видениями. Но сам Давид в этом не уверен — последние страницы романа содержат письма, которые Давид/Мэгги пишет из России своим американским друзьям.

Читать, повторяю, интересно: масса приключений, авантурных микросюжетиков, колоритных персонажей — перемежается вставными новеллами — рассказами собеседников Мэгги (местами роман напоминает «Рукопись, найденную в Сарагоссе»). Но уже к середине повествования возникает странное ощущение усталости — трудно уловить внутреннюю связь все новых и новых эпизодов, и возникает другой, уже «закадровый», интерес: как все это автор потом развяжет (или свяжет)? Легкость, с которой разгоняется глаз по тексту, уже не помогает, а мешает увидеть, что же выпадает в осадок. Остроумная игра с литературными геопсихологическими штампами, без какой-либо (для меня) логики переходит в гофманианские игры с нечистой силой. В финале автор вроде как удерживает равновесие — ностальгическая нота в финальных письмах Давида/Мэгги американским друзьям вносит некую элегичность и вполне имитирует завершение. Но — так сказать, на эмоциональном уровне. Для романа из шестидесяти глав недостаточно.

Другой текст, повесть «Фэст фуд» Сергея Соколовского, поначалу обещает легкое чтение, что-то вроде фельетона для своих:

«Двенадцатого сентября 1999 года я чуть было не сдох с героинового овера. А ровно через месяц, в октябре, стараниями Кати Ваншенкиной я устроился на работу корректором в газету „Неофициальная Москва“, выходящую в предвыборном штабе Союза Правых Сил. Редактировал ее Слава Курицын. Редакция размещалась в здании Центрального телеграфа на Тверской улице, и, когда я пришел туда, Слава первым делом показал мне глобус, как он выглядит изнутри». «Прошел уже целый год, но я до сих пор не в силах забыть светлой и праздничной атмосферы энтузиазма, которая царила в то время на телеграфе. С самых первых дней работы я понял, что мне предстоит столкнуться с прекрасным и удивительным миром людей большого искусства и большой политики...»

Газета такая действительно выходила. Так же как абсолютно реальна, что и говорить, фигура Славы Курицына. Сам повествователь, молодой участник суровых и однообразных будней нынешней московской литературной богемы, тоже носит имя вполне реального писателя Сергея Соколовского. И описываемый им круг общения, повторяю, — люди все знакомые, персонажи нашего вчера еще «молодежного», а ныне приближающиеся к среднему возрасту и к номенклатурному статусу культурного истеблишмента: Макс Фрай, Дмитрий Кузьмин, Марат Гельман, Федор Чистяков, Михаил Айзенберг, Илья Фальковский и многие другие. В повести нет тщательно прописанных портретов этих людей, они возникают здесь скорее как знаки определенной среды и связанного с ней образа жизни и образа мыслей.

Иными словами, перед нами автопортрет на фоне «своих»: «Вот он я» — завязавший наркоман, одинокий, неврастеничный, перманентно нищий, прячущийся от соседей и милиции, мучимый совестью за некую мелкую душевную пакостливость (отчасти действительную, но больше — воображенную), с любовью к литературе, но тоже особым образом отцеженной: культовые в определенной среде читателей тексты Егора Летова, Михаила Вербицкого и раннего Леонтьева («самая изысканная русская проза») — и просто с любовью к жизни, явленной герою в виде любимых кафе и забегаловок, вегетарианских супчиков, концерта любимого музыканта и т. д. Перед нами вполне бестолковая, внешне беспутная жизнь, описываемая легко, с ироничным обыгрыванием принятых при описании социума литературных штампов. То есть автор — индивидуалист, который наслаждается «праздничной атмосферой энтузиазма» некоего коллектива как экзотичным для него, неопробованным блюдом.

Но автопортрет этот в повести написан всерьез, то есть достаточно жестко. Дело не в физиологических деталях и смаковании собственного «душевного убожества», а в изображенном Соколовским — не знаю, хотел ли он этого — налета некой неистребимой душевной инфантильности на нашей «продвинутой» культурной общественности, играющей свои игры в плохо приспособленной для игр реальности. Я уже читал в Интернете отзыв об этой повести как о пасквиле. Я бы так не сказал. Напротив. Здесь счет предъявляется не столько к «своим», сколько к самому себе. Написание этой повести отчасти напоминает акт, совершаемый змеей, когда она выползает из старой шкуры. Название повести — «Фэст фуд», то есть быстрая еда, еда на бегу, перекусон, корочка. Вот все это — и газета, и богемный образ жизни, музыка под кайфом в модном клубе, необязательный треп со случайными, по сути, собутыльниками, все — фэст фуд, промежуток, краткая пауза. Что осталось у повествователя позади, мы видим, что будет впереди — не очень. Но возможно, что и хорошее что-то. Предположение, основанное на наличии в повести душевного тепла и участия, с которым описаны друзья-коллеги. Повесть несомненно талантливая (лучшее из того, что я читал у Соколовского), и было бы грустно, если из «переходной» по своей эстетике она станет итоговой.

Почитав новые тексты уже знакомых авторов и отложив риск (то есть блуждания по неведомым мне сайтам) на следующие разы, я решил выполнить давнее намерение — посмотреть, как представлены известные «бумажные» писатели в нашем Интернете сегодня. (Впрочем, уж не помню, в который раз я повторяю это: чем дальше, тем все меньше смысла в разделении писателей на бумажных и интер-

нетовских. Скорее всего и роман Костюкова, и повесть Соколовского через некоторое время можно будет прочитать в каком-нибудь журнале или альманахе.)

Для начала я открыл каталог List.ru на странице современной отечественной литературы, и на первых трех страницах-простынях рейтингового списка среди множества неведомых мне имен знакомые встретились вот в такой последовательности (перечисляю, начиная с верхних строчек рейтинга): Войнович, Высоцкий, Довлатов, Губерман, Венедикт Ерофеев, Пелевин, Бутов, Галковский, Радзинский, Липскеров, Макс Фрай, Иванченко, Хургин, Солженицын, Юрий Поляков, Олег Павлов (просмотрены 150 позиций рейтингового списка, то есть остальные 138 имен в литературном отношении малоизвестны или практически неизвестны).

Слишком серьезно относиться к таким рейтингам, разумеется, нельзя — тут все зависит от массы привходящих обстоятельств: доступа авторов к Интернету, умению «раскрутить» свой сайт в каталожных серверах и так далее. Да и просто от методики подсчета — есть сайты, не попавшие в этот список и тем не менее имеющие количество посещений несравненно большее, чем некоторые, занимающие верхние позиции в рейтинге. И все же отмахиваться не стоит. Это что-то вроде витрины, она столько же отражает спрос, сколько и формирует его.

Тем более, что, скажем, аппортовский рейтинг содержит примерно те же сайты, правда, в другой последовательности. Вот известные имена, встреченные мною в аппортовском каталоге именных литературных сайтов: Довлатов, Яркевич, Солженицын, Александр Левин, Виктор Ерофеев, Пелевин, Айги, Липскеров, Кабаков, Зульфикаров, Михаил Задорнов, Чулаки, Иртенъев (просмотрено 140 адресов).

Начну с верхних позиций рейтинга. Сергей Довлатов. Собрания его сочинений я встретил на трех сайтах (допускаю, что есть еще какие-то довлатовские сайты, не попавшие в список). Ну, прежде всего — в библиотеке Мошкова, здесь, по сути, за небольшими исключениями полное собрание сочинений (<http://www.lib.ru/DOWLATOW/>).

Второй сайт, содержащий уже некоторую, так сказать, инфраструктуру, — это «Мемориальная страница Сергея Довлатова» на владивостокском сервере «Лавки языков» (http://www.vladivostok.com/Speaking_In_Tongues/dovlatov/). На титульной странице цветная фотография красивого, грустного, уже наполовину седого Довлатова, под фото — справка о себе, кончающаяся словами: «Жизнь коротка. Человек одинок. Надеюсь, все это достаточно грустно, чтобы я мог продолжать заниматься литературой...» На следующей странице еще одна цитата — слова дочери писателя Екатерины: «Мне жаль, что пошлость, которую ненавидел Сергей, заслоняет его действительно уникальный образ». Здесь же — краткое уведомление создателей сайта: «Мы сознательно не стремимся к тому, чтобы собрать все о писателе — письма, рецензии, воспоминания и так далее, тем более, что для этого есть другие сайты. Нам же хочется оставить Вас наедине с книгами писателя. Тем более, кто может рассказать о себе и времени лучше, чем сам автор?..» Сдержанность, почти аскетичность оформления, тщательность в подборе цитат наводит на мысль, что создатели сайта очень не хотели делать очередную полукичевую страницу «культурного писателя» для нынешних фанатов Довлатова. В оглавлении представленного на сайте — «Зона. (Записки надзирателя)», «Компромисс», «Заповедник», «Наши», «Иностранка», более 20 рассказов, эссе «Блеск и нищета русской литературы», «From USA with love» и некоторые другие произведения.

Структура сайта проста, кроме титульной страницы и «Содержания», — «Книги», «Портреты», «Автографы», «Редкости». Основное здесь — сами тексты, доступ к которым открыт со страницы «Содержание». Остальные страницы дают некий дополнительный материал: скажем, в разделе «Редкости» посетителю предлагается знакомство с факсимильным воспроизведением и переводом письма Курта Воннегута («Я многого жду от Вас и Вашего творчества. У Вас большой талант, и Вы отдаете его этой безумной стране. Нам повезло, что Вы здесь»), шаржем на Довлатова Майка Уордена, обложкой книги «Демарш энтузиастов» (издательство «Синтаксис», Париж, 1985).

Самым же полным и представительным сайтом Довлатова в нашем Интернете может считаться сайт «Сергей Довлатов» (<http://dovlatov.newmail.ru/index.html>). Восемь разделов: «Жизнь», «Книги», «Литера», «Слова», «Фото», «Рисунки», «Links»,

«Ваши мысли». В «Жизни» — краткая биографическая справка, продолженная извлечениями из книги «Ремесло». В разделе «Книги», в отличие от библиотеки Мошкова и «Лавки языков», представлены не просто тексты основных произведений, а полное собрание сочинений, воспроизводящее два издательских проекта, то есть сделано все с размахом и некоторым даже филологическим шиком: читателю предлагаются трехтомник питерского издательства «Лимбус Пресс» (1995) с дополнительным томом «Малоизвестный Довлатов» (АОЗТ «Журнал „Звезда“») и четырехтомник издательства «Азбука» (1999). Тут же представлены книги о Довлатове: «Довлатов и окрестности. (Филологический роман)» Александра Гениса, «Сергей Довлатов: время, место, судьба» Игоря Сухих, «Ножик Сережи Довлатова» Михаила Веллера, «Мне скучно без Довлатова» Евгения Рейна, а также материалы Первой международной конференции «Довлатовские чтения» и переписка «Сергей Довлатов — Игорь Ефимов. Эпистолярный роман».

Если два предыдущих сайта сделаны для читателей Довлатова, то этот адресован также и специалистам-филологам. Кроме тщательности и полноты, с которой представлены сами тексты Довлатова, внушительной выглядит страница LINKS: ссылки на содержащиеся в Интернете тексты о Довлатове, отобранные достаточно добротнo, — здесь список из нескольких десятков позиций: воспоминания о писателе, статьи, рецензии, интервью. Среди авторов: Ася Пекуровская, Юнна Мориц, Елена Игнатова, Алла Цыбульская, Светлана Чекалова, Макс Фрай, Иван Толстой, Андрей Арьев, Дмитрий Ольшанский, Ольга Тимофеева, Лариса Никитина, Петр Вайль, Станислав Ростоцкий. Приведу только одну позицию из списка:

«Довлатов и окрестности» (<http://www.svoboda.org/programs/cicles/Dovlatov/>). Литературно-мемуарный цикл Александра Гениса подготовлен в нью-йоркской студии радио «Свобода». Довлатов-писатель, Довлатов-собеседник, Довлатов — коллега по работе на радио — обо всем этом в 20 передачах, сопровождаемых любимыми довлатовскими джазовыми композициями.

Видимо, «интернетовский Довлатов» не исчерпывается этими сайтами, но думаю, что содержащееся на этих трех (точнее, четырех — вместе с сайтом Гениса) вполне покрывает потребности большинства интересующихся творчеством Довлатова.

Еще один популярный, а может, и самый популярный в нашем Интернете писатель — Пелевин. Не берусь перечислить здесь все страницы, на которых можно найти тексты самого Пелевина или тексты о нем. Их много. Причина тому — полное совпадение и по времени, и по, так сказать, поколенческой ментальности самой эстетики Пелевина с первым «сетевым литературным поколением». Ограничусь тремя адресами.

В первую очередь, разумеется, соответствующая страница библиотеки Мошкова (<http://www.lib.ru/PELEWIN/>) — «Принц Госплана», «Омон Ра», «Желтая стрела», «Чапаев и Пустота», «Жизнь насекомых», «Поколение „П“», «Babylon»; около тридцати рассказов, подборка эссе и некоторые другие тексты — то есть вполне репрезентативное малое собрание сочинений. Плюс небольшая подборка ссылок на статьи о Пелевине и на сайты Пелевина.

Для первого знакомства следует, видимо, посоветовать «проект от компании Black & Vilhoff страничка о Викторе Пелевине» (<http://www.az.ru/pelevin/logo.gif>). Посетителя встречают горящие на черном фоне глаза и зазывной текст: «Привет всем!.. Если вы уже много слышали о нем, но ни разу не читали, — Вам сюда. Если вы уже знакомы с его творчеством, то вы тем более „пришли по адресу“ — Вы узнаете очень много нового о Пелевине и его творчестве». Соответственно построены разделы: «Info» (полезная информация: статьи, фотографии и многое другое), «Bio — V.P.» («биография нашего Героя»), «Books» (книги, сборники, романы, рассказы, эссе), «Your Mail» («Ваша почта. Вы прислали, мы опубликовали»), «Shop» (место, где можно купить книги В. Пелевина, и не только Пелевина).

В разделе «Books» обширная подборка текстов: три повести («Принц Госплана», «Омон Ра», «Желтая стрела»), два романа («Чапаев и Пустота», «Жизнь насекомых»), три рассказа («Затворник и Шестипалый», «Проблема верволька в средней полосе», «Синий фонарь») и несколько эссе.

Самым же полным по охвату сочинений Пелевина, похоже, является сайт «**Виктор Пелевин — сайт творчества**» (<http://ok.novgorod.net/pelevin/>). К тому же технически очень удобный сайт. В списках романов, повестей, рассказов и эссе напротив каждого названия два значка: «просмотр» (можно посмотреть тут же, на экране) и «скачивание» — текст упакован уже в ZIP, тут же указан его объем в килобайтах. Из обращения куратора сайта Алексея Крехалёва: «Сайт начал свое существование 2 июля 2000 года. Сайт физически размещен в Великом Новгороде на сервере провайдера „Новгород телеком“... В результате своего развития и пополнения материалами сайт разрастался и много раз переделывался. Сейчас вы просматриваете пятую версию сайта. И, я надеюсь, конечную. Сейчас сайт представляет собой более 600 файлов общей емкостью более девяти мегабайт»; «...спешим Вас уверить, что рассказы, повести и романы Виктора Пелевина распространяются в электронном виде с согласия автора».

В структуре сайта ничего особо оригинального — разделы: «Купить», «Интервью», «Статьи», «Фотографии», «Ссылки», «Отзывы», «Форум», «Общение», «Рейтинги». Сайт, повторяю, берет полной.

Ну а под занавес — первая позиция в предложенном библиотекой Мошкова списке основных ссылок на пелевинские сайты: «**Виктор Пелевин: home page**» (<http://www.pelevin.ru/>). То есть по интернетовской логике — главный официальный сайт писателя. В какой-то степени он таким и является: вы щелкаете мышкой по сноске, и начинает закачиваться титульная страница — черный фон, на нем обозначается верхняя часть рамки, в рамке — воздетая рука В. И. Ленина, стоящего на непостроенном Дворце Советов, на том самом месте, где теперь снова стоит храм Христа Спасителя. На открывшейся части рамки — два слова «Сервер Виктора». Далее вниз — черная пустота. И ближе к нижней линейке коротенькая записка вот такого содержания: «Витя! Когда найдется время, позвони мне, чтобы доделать сайт. А то люди ждут и ничего не происходит. Мой телефон: ... Тёма» (судя по всему — Артемий Лебедев). И больше ничего на этом сайте не ищите. Нет больше ничего. Я бы ничего больше и не добавлял. Выглядит вполне законченным эстетическим жестом.



ПОПРАВКА

В № 4 «Нового мира» на стр. 209 имя писателя Владислава Матусевича было напечатано с ошибкой. Приносим господину Матусевичу свои извинения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Есть повсюду свет. Человек в тоталитарном обществе. Хрестоматия для старшеклассников. Составление Семена Вилемского. М., «Возвращение», 2000, 480 стр., 20 000 экз.

Из обращения составителя этой книжки ее адресатам, старшеклассникам: «Ошибочно полагать, что история — это вчерашний день, что завтра все начнется заново, с чистой страницы. Нет! Жизнь прошедших поколений продолжается в сегодняшнем, в нас самих, в наших представлениях, духовном складе, в событиях, запрограммированных в прошлом». В хрестоматию вошли: «Письма к Луначарскому» Короленко, отрывки из романов Булгакова «Мастер и Маргарита» и Домбровского «Факультет ненужных вещей», «Один день Ивана Денисовича» и глава из «Архипелага ГУЛАГ» о Кенгире Солженицына, рассказы Шаламова, Яшина, Ариадны Эфрон, отрывки из воспоминаний Адамовой-Слизберг, Керсновской; стихи Заболоцкого, Мандельштама, Барковой, Ахматовой, Елагина, Пастернака и другие тексты.

Из жизни райского сада. Составитель Галина Климова. / **Из живота в райската градина.** Съставител Панко Анчев. Варна, «Компас», 2000, 237 + 241 стр.

Двуязычная поэтическая антология, представляющая стихи русских и болгарских поэтов, посвященных теме Сада — «Рай как Сад; Рай как Град; и Рай как Небеса». Русские и болгарские стихи представлены в оригиналах. Русская часть, начавшись с небольшой подборки из классики (от Тютчева до Пастернака и Набокова), развернуто представляет творчество современных поэтов (стихи Горбаневской, Постниковой, Кудимовой, Жданова, Ермаковой, Меламеда, Васильковой, Полищука и других); в болгарской части книги опора сделана на классика болгарской поэзии XX века (Николай Лилиев, Никола В. Ракитин, Димчо Дебелянов, Атанас Далчев и другие); из ныне работающих в поэзии — Борис Христов, Таньо Клисуров, Георги Константинов, Иван Цанев и другие.

Гурген Маари. Горящие сады. Роман. Перевод с армянского и примечания Нелли Мкртчян и Георгия Кубатьяна. Предисловие Гранта Матевосяна. М., «Текст», «Журнал „Дружба народов“», 2001, 559 стр., 3600 экз.

Центральное произведение одного из самых значительных армянских писателей XX века Гургена Маари (1903 — 1969), поэта и лирического прозаика в 30-е годы, а затем, после семнадцати лет лагерей и ссылок, автора лагерных повестей, трехтомной автобиографии и романа «Горящие сады» — повествования в двадцати восьми сказаниях, которое охватывает два десятилетия жизни армян, закончившихся их геноцидом в Турции. «Роман Маари, являющий собой энциклопедию армянской политической и народной жизни начала века... помогает нам познать свое место в мире и отыскать путь, на котором мы уберем свой национальный облик. Это не учебник патриотизма для наивных читателей, в нем даже мученики и мученичество подвергаются критике, это дышащая, работающая, созидаящая, вкушающая радость жизни, грешная, праведная, многоцветная и благоухающая картина живой родины, это — родинотворчество» (Грант Матевосян).

Джон Мильтон. Возвращенный рай. Перевод с английского С. Александровского. М., «Время», 2001, 191 стр., 3000 экз.

Несмотря на известность, только второе в России (первое выходило более ста лет назад) отдельное книжное издание классической поэмы. Издание содержит также сонеты Мильтона (переводы Алексея Прокопьева), комментарии к сонетам и поэме, составленные к изданию 1861 года А. Ф. Зиновьевым, а также статью Евгения Витковского.

Стелла Моротская. Все тридцать три и другие. М., 2001, 80 стр.

Первая книга молодой московской поэтессы, пользующейся репутацией мастера «эротической лирики». «Мой любимый уехал, / и мне стало не с кем / ему изменять».

Окрестности. Сборник четвертый. Составители Максим Волчкевич, Алексей Корецкий (главный редактор), Сергей Соколовский. М., «Автохтон», 2000, 219 стр., 300 экз.

Один из наиболее репрезентативных московских альманахов, представляющих прозу и поэзию нового литературного поколения. Авторы четвертого выпуска: Дмитрий Воденников, Алексей Цветков, Лев Усыскин, Илья Кукулин, Андрей Поляков, Евгения Лавут, Виталий Пуханов, Данила Давыдов и другие.

Николай Эрдман. Самоубийца. Пьесы. Интермедии. Переписка с А. Степановой. Екатеринбург, «У-Фактория», 2000, 592 стр., 10 000 экз.

Пьесы «Мандат» (1924) и «Самоубийца» (1928), собрание интермедий, написанных для московских театров в 1924 — 1967 годах, а также занимающая примерно половину объема книги любовная переписка с актрисой МХАТа Ангелиной Иосифовной Степановой в 30-е годы. Вступительная статья Л. Трауберга, послесловие к письмам и комментарии В. Вульфа; текст пьес сопровождается публикацией мемуарного очерка Н. Я. Мандельштам «Самоубийца».

Леонид Юзефович. Костюм Арлекина. Роман. М., «Вагриус», 2001, 272 стр., 10 000 экз.

Еще одна попытка после Б. Акунина авантюрно-исторической прозы для интеллигалов в жанре «ретро-детектива», предпринятая прозаиком и историком Леонидом Юзефовичем, автором романа с тем же героем «Князь ветра».



М. Аронсон, С. Рейсер. Литературные кружки и салоны. Редакция и предисловие Б. Э. Эйхенбаума. М., «Аграф», 2001, 400 стр., 2000 экз.

Переиздание известного историко-литературного исследования, вышедшего в 1929 году (Л., «Прибой»). Литературный быт эпохи (первая половина XIX века) воссоздается с помощью монтажа отрывков из документов и свидетельств современников, сопровождающегося подробным комментарием. «Арзамас», «Зеленая лампа», «Общество любителей словесности и премудрости», кружок Н. В. Станкевича и В. Г. Белинского; салоны А. Н. Олениной, З. А. Волконской, А. П. Елагиной, Е. П. Ростопчиной; вечера В. А. Жуковского, «четверги» Н. И. Греча, «субботы» С. Т. Аксакова и т. д.

А. Н. Архангельский, Ю. В. Лебедев. Русская литература XIX века. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. В 2-х частях. Часть 1. М., «Дрофа», 2000, 448 стр., 10 000 экз.

Новый учебник для школ; первая часть (написана А. Н. Архангельским) рассматривает литературный процесс в России в первой половине XIX века: сентименталисты и предромантики, романтизм, натуральная школа; творчество Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Загоскина, Грибоедова, Пушкина и поэтов пушкинской поры (Давыдов, Кольцов, Веневитинов, Вяземский, Баратынский), Гоголя, Бенедиктова, Лермонтова. Автор предлагает школьникам современный уровень филологической науки на адаптированном к возможностям восприятия подростка — но отнюдь не упрощающим сложность и многомерность картины развития русской литературы — языке. Активно использован «общеевропейский культурный фон» — дан, например, краткий очерк поэтики Руссо, иенских романтиков, «озерной школы», Гофмана, Бальзака; учебник содержит сравнительный анализ русской исторической прозы (Пушкин, Загоскин) с романами Вальтера Скотта, прослеживаются влияния на русскую поэзию творчества Байрона и Гейне; и т. д. Обновлен по сравнению с употреблявшимся в школе несколько десятилетий словарь литературоведческих терминов (составлен Г. Н. Кудиновой, З. Н. Новлянской, А. Н. Архангельским). Каждая глава учебника сопровождается тщательно подобранной библиографией.

А. А. Ахматова: pro et contra. Составление, вступительная статья, примечания Св. Коваленко. СПб., РХГИ, 2001, 964 стр., 2000 экз.

В своей вступительной статье «Анна Ахматова. (Личность. Реальность. Миф)» составитель констатирует: самое значительное об Ахматовой было написано ее современниками. Этим, видимо, и объясняется состав тома — материалы его представлены в двух разделах: «Критика. Литературоведение. 1912 — 1945» (авторы: М. А. Кузмин, А. А. Блок, Н. С. Гумилев, В. Ходасевич, Г. Адамович, К. Мочульский, В. Жирмунский, О. Мандельштам, Б. Эйхенбаум, В. Виноградов, Б. Пастернак и другие) и «Анна Ахматова в поэзии современников» (стихи Гумилева, Мандельштама, Недоброво, Адамовича, Цветаевой, Анрепа, Тарковского и других).

Наталья Бианки. ... Не поле перейти. М., «Виоланта», 2001, 240 стр., 5000 экз.

Книга воспоминаний известной журналистки, сотрудницы журнала «Новый мир» (1946 — 1971) Натальи Павловны Бианки (1917 — 2000). В отличие от вышедшей в 1999 году книги «К. Симонов, А. Твардовский в „Новом мире“» (см. рецензию Д. Дмитриева в «Новом мире», 1999, № 11), содержащей воспоминания о журнале и о круге его авторов, новое издание дополнено очерками о своей семье, об учебе в Редакционно-издательском техникуме, работе в издательстве, а также более полно представлена неофициальная литературная жизнь Москвы 60 — 70-х годов.

Роман Гуль. Я унес Россию. Апология эмиграции. В трех томах. М., «Б. С. Г.-ПРЕСС», 2001, 5000 экз.

Том I. Россия в Германии. Предисловие О. Коростелева. 560 стр.

Том II. Россия во Франции. Предисловие О. Коростелева. 512 стр.

Том III. Россия в Америке. Предисловие О. Коростелева. 496 стр.

Воспоминания Романа Борисовича Гуля (1896 — 1986), одного из писателей «незамеченного поколения» русской литературной эмиграции («Под занавес я хочу рассказать о моей более чем шестидесятилетней жизни за рубежом. Это будут некие мемуары d'ontre-tombe, ибо я начал работать над этим рассказом в 1977 году, когда достиг мафусаилова возраста»). Эмиграция для Гуля началась в январе 1919 года в Германии, где он прожил до 1933 года. События этих лет составили первый том книги. Во втором томе описывается французский период его жизни (1933 — 1950), в третьем — американский. Активная литературная жизнь сводила его со множеством колоритнейших фигур русской эмиграции, отсюда — задача книги: «Хочу, чтобы моя книга все-таки была неким справочником по истории Зарубежной России». Характер этого издания как еще и «энциклопедии русской эмиграции» подтвержден впечатляющим по объему «Указателем имен», подавляющее большинство имен в указателе снабжено краткой справкой.

Наталья Иванова. Борис Пастернак: участь и предназначение. Биографическое эссе. СПб., «Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ», 2000, 342 стр., 3000 экз.

Содержащее богатый информационный материал и при этом свободно, легко и увлекательно написанное жизнеописание: «При помощи отбора и монтажа документов я попыталась восстановить линии судьбы „своего“ Пастернака, его поведение, характер, страсти и пристрастия». Подробнее — в готовящейся рецензии на эту книгу.

Национализм. Poleмика. 1901 — 1917. Сборник статей. Составление и примечания М. Колерова. М., «Дом интеллектуальной книги», 2000, 240 стр., 1000 экз.

Материалы двух дискуссий по национальному вопросу в России. Первая дискуссия — о «еврейском вопросе» (среди участников В. Голубев, П. Струве, Владимир Жаботинский, П. Милоков, Н. Минский), развернувшаяся в 1909 году в газетах. Вторая, представленная в книге, посвящена «украинскому вопросу», начавшись в газетах, она продолжилась в журнале «Русская мысль» в 1916 — 1917 годах; участники: П. Струве, Н. Гредескул, Б. Кистяковский, Е. Трубецкой, Д. Муретов, Н. Бердяев и другие.

В. С. Соловьев. Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Сочинения в пятнадцати томах. Сочинения. Том третий. 1877 — 1881. Ответственный редактор Н. В. Котрелев. Подготовка текстов и комментарии И. В. Борисовой, А. П. Козырева, Н. В. Котрелева, Б. В. Межуева, А. А. Носова. М., «Наука», 2001, 539 стр., 2000 экз.

Редакция журнала «Новый мир» по естественным причинам внимательно следит за осуществлением данного издательского проекта и с удовлетворением информирует о выходе в свет очередного тома Полного собрания сочинений В. С. Соловьева (см.: «Библиография» — «Новый мир», 2000, № 5, 11; также статью А. Серегина «Владимир Соловьев и „новое иррелигиозное сознание“» — «Новый мир», 2001, № 2).

В основе третьего тома — философское сочинение «Критика отвлеченных начал», представленное Соловьевым в качестве докторской диссертации и защищенное в ходе публичного диспута в С.-Петербургском университете 6 апреля 1880 года. В пространном комментарии И. В. Борисовой подробно освещаются: история замысла, творческие задачи, обстоятельства работы над этим трудом и появления его в печати, реакция на него прессы и современников; на основании многообразных документов реконструируются подробности докторского диспута, речь доктранта, выступления оппонентов и т. д.

В том также включены тексты, идейно и тематически примыкающие к «Критике отвлеченных начал»: малоизвестная незавершенная работа «Вера, разум и опыт», начало которой появилось в газете «Гражданин» в 1877 году, а также внушительное число ранее не публиковавшихся набросков и черновики, из которых следует особо отметить рукопись с авторским заглавием «Классификация наук», подготовленную к печати А. П. Козыревым.

Наличествуют дополнения к первому тому, указатель имен и список неточностей и опечаток, допущенных во втором томе.

Издание продолжает получать финансовую поддержку РГНФ.

А. В. Урманов. Поэтика прозы Александра Солженицына. М., «Прометей», 2000, 232 стр.

Литературоведческая монография, в которой рассматриваются основы поэтики Солженицына: структура повествования, художественное слово, предметный мир, символика. Исследователь затрагивает также проблемы художественного метода, полифонии, лексической полисемии, эстетической значимости фоносемантических свойств слова.

Мартин Хайдеггер/Карл Ясперс. Переписка. 1920 — 1963. Перевод с немецкого И. Михайлова под редакцией Н. Федоровой. М., «Ad marginem», 2001, 415 стр.

Перевод книги, изданной во Франкфурте-на-Майне в 1990 году. Немецкое издание содержало 155 писем и набросков. Текст писем Хайдеггера и примечания к ним готовил Вальтер Бимель; письма Ясперса и комментарии к ним — Ханс Занер. «Послесловие переводчика» Игоря Михайлова, автора книги о Хайдеггере, продолжает проделанный немецкими комментаторами анализ внутренних взаимоотношений Хайдеггера и Ясперса, а вступительная статья Михаила Рыклина «Метаморфозы великих гномов» излагает историю отношений двух философов. Переписка их, достаточно оживленная в 20-х и начале 30-х годов, практически прервалась с середины 30-х, в тот период жизни Хайдеггера, когда, отмежевываясь от своего учителя Эдмунда Гуссерля и друзей-либералов из окружения Макса Вебера, он продолжил научную деятельность уже в качестве ректора-фюрера Фрайбургского университета и национал-социалиста. Переписка возобновилась во второй половине 40-х годов, когда Ясперс составил свой отзыв о Хайдеггере для комиссии Фрайбургского университета (находившегося во французской зоне) и позднее, когда получил от бывшего друга письмо, содержащее некие попытки оправдания: «Я не приезжал в Ваш дом с 1933 года не потому, что там жила еврейская женщина, а потому, что мне просто было стыдно».

«В конце 80-х годов в Германии поднялась новая волна скандала вокруг „дела Хайдеггера“. Вышла обвинительная книга Виктора Фариаса „Хайдеггер и нацизм“, были опубликованы новые исследования и документы, касающиеся „нацистского прошлого“ Хайдеггера (из архива был даже извлечен его билет члена нацистской партии с отметкой об уплате членских взносов по год окончания войны)... Но сколь бы бурными и аргументированными ни были эмоции „обвинителей“ и „защитников“ Хайдеггера, вопрос о Хайдеггере и нацизме (а в нем звучит и более общее недоумение: философ и — политика...) можно продумывать только очень осторожно. Переписка открывает такую возможность. Публично предъявляющий свою позицию, открытый для коммуникации и ожидающий того же от других Ясперс — и темный, говорящий величественными философскими иносказаниями Хайдеггер, как будто утаивающий простоту своей „вины“...» (дополнение Е. Ознобкиной).

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА



«Вести.Ру», «Вестник Русского Христианского Движения», «Время МН», «День литературы», «Дипкурьер НГ», «Дружба народов», «Завтра», «Звезда», «Знамя», «Известия», «Искусство кино», «Иностранная литература», «Интеллектуальный Форум», «Каскад», «Книжное обозрение», «Кулиса НГ», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Москва», «Московские новости», «Наш современник», «НГ-Наука», «НГ-Религии», «Независимая газета», «Новая Польша», «Новое литературное обозрение», «Октябрь», «Посев», «Предлог», «Русский Журнал», «СМИ.Ру», «Субботник НГ», «Труд», «Урал», «Фигуры и лица»

«А Париж Вам может быть полезен всячески...». Письма Ивана Алексеевича и Веры Николаевны Буниной к Ивану Сергеевичу и Ольге Александровне Шмеле-

вым. Вступительная заметка, подготовка текстов и примечания С. Н. Морозова. — «Москва», 2001, № 3 <<http://www.moskva.muslib.com>>

36 писем 1922 — 1936 годов из шмелевского архива, переданного наследником Шмелева — И. А. Жантиймом в дар Российскому фонду культуры.

Архимандрит Августин (Никитин). Игра со спичками. К вопросу о штрихкоде. — «Посев». Общественно-политический журнал. 2001, № 2 <<http://www.webcenter.ru/~posevru>>

Прежде чем штриховаться или не штриховаться, надо раскодироваться от антихристианской коммунистической символики.

Сергей Аверинцев. Было дело в доме Симона. — «Искусство кино», 2000, № 12 <<http://www.kinoart.ru>>

«На религиозно ориентированное культурное творчество так легко нападать!..»

Николай Александров. Неизвестный классик. — «Дружба народов», 2001, № 3 <<http://novosti.online.ru/magazine/druzhba>>

«Классик» — это поэт Мэльд Тотев (1937 — 1993). Цитаты не убеждают. О его смертной и единственной книге «56 тетрадей» (М., 1999) см. «Книжную полку Андрея Василевского» («Новый мир», 2001, № 2).

Пользуясь случаем, хочу извиниться за досадную опisku в упомянутой выше «Книжной полке» на стр. 235: Троицкий, конечно, — *Давыдович*.

Игорь Алпатов. Как «штыками шупали» Польшу. — «Труд», 2001, № 43, 6 марта <<http://www.trud.ru>>

Автор прямо связывает расправу над 4 тысячами польских военнопленных в Катыни с гибелью 75 — 80 тысяч красноармейцев в польском плену в 20-е годы. Речь может идти о 16 — 18 тысячах погибших в польском плену красноармейцах, уточняет **Владимир Гривенко** («Дипкурьер НГ», 2001, № 5, 22 марта <<http://world.ng.ru>>).

Лев Аннинский. Ледяная тайна. — «Литературная Россия», 2001, № 10, 9 марта <<http://www.litrossia.ru>>

Из цикла «Барды»: «Напоминая скорбную пифию, темнеет фигура Веры Матвеевой в рядах ее поколения..» См. также другие статьи цикла — «Литературная Россия», 1999, № 26, 32; 2000, № 3; 2001, № 13.

Юрий Арабов. Свой среди чужих. Беседу ведет Татьяна Иенсен. — «Искусство кино», 2000, № 12.

«Художнику, писателю с христианским сознанием сегодня приходится быть подобно разведчику Штирлицу на вражеской территории — в фашистском мундире, застегнутом на все пуговицы, а с изнанки приколот орден Трудового Красного Знамени. Вроде бы он на вражеской территории свой, и тот термин знает, и этот, и про постмодернизм тоже. Но если снимет свой мундир, его сразу же арестуют, растопчут, убьют. И этот наряд все время приходится носить. А что делать?»

Ср. с выдержкой из статьи **Михаила Ремизова** на другую тему: «..., Штирлиц идет по коридору»: равномерный шаг, нервная работа мозга в уголках губ, существование в горизонте угроз как внутренняя форма жизни. Без сомнения, экзистенциальность (как антитеза беспечно-суесловной повседневности) есть социальная привилегия спецслужб...» («Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics/west>>).

Александр Архангельский. Талибанда. — «Известия», 2001, № 39, 5 марта <<http://www.izvestia.ru>>

«Если <...> мир, к которому мы принадлежим по праву иудео-христианского рода, по-прежнему будет играть в постмодернистский бисер <...> то пушечной целью очередных талибов окажутся уже не статуи Будды, но химеры Нотр-Дама, шпили Миланского собора или Золотые ворота в Киеве».

Леонид Ашкинази. Литература седьмого сегмента, или «...почему люди сняты друг другу?». — «Знамя», 2001, № 2 <<http://novosti.online.ru/magazine/znamia>>

О литературе компьютерной сети *Fido* (или *FidoNet*), точнее — ее русскоязычной части, которая и есть тот самый седьмой сегмент (по международному телефонному коду). *Fido* — не часть Интернета.

Федор Ашнин, Владимир Алпатов. *Putin za realjnije çeli*. — «Независимая газета», 2001, № 57, 31 марта <<http://www.ng.ru>>

В ноябре 1929 года при Главнауке (Народный комиссариат просвещения) начала работу подкомиссия по *латинизации* русского языка под руководством профессора Н. Ф. Яковлева, который считал, что «на этапе строительства социализма существую-

ший в СССР русский алфавит представляет собой безусловный анахронизм». Этот Николай Феофанович Яковлев, кстати, дед Людмилы Петрушевской.

Дмитрий Бавильский. Голубое сальце. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>

«Эстетически нейтральное „Оправдание“ [Дмитрия Быкова] предстает в густом идеологическом контексте [„Нового мира“] этически сомнительным поступком. Игры с заключенными и вертухаями, палачами и жертвами на страницах журнала, публиковавшего „Архипелаг ГУЛАГ“ и до сих пор печатающего старого зека Солженицына, выглядят отнюдь не только провалом вкуса. Авторская нуль-индивидуальность [Дмитрия Быкова] на фоне мощной личностной ауры „Н<ового>м<ира>“ делает эти игры именно что глумливыми. Эффект просто поразительный».

В этом превосходном, несмотря на ужасное название, романе-исследовании замечательно многое, считает Дмитрий Ольшанский («Сегодня», 2001, № 71, 2 апреля), и прежде всего масштаб абсолютного зла, встретиться с которым суждено героям. «Подобно Джозефу Кутзее или Юрию Мамлееву, Быков сталкивает нас отнюдь не с локальной несправедливостью, исправив которую человек становится о себе лучшего мнения, но с тем „потусторонним“ несчастьем, когда остается разве только признать свое поражение и действовать в качестве мертвеца. „Затормозить прогресс нельзя, поэтому все когда-нибудь окажутся не правы. Просто одни сначала мучаются и смеются в ответ на все вопросы, другие оговаривают себя и всех родственников, а третьи успевают умереть“. Именно отсюда, от этого ледяного хладнокровия, и выводятся стилистические достоинства романа Быкова. Дело в том, что в „Оправдании“ как нигде найден верный тон и уместный язык для изображения современности — как раз в ту пору, когда самые заметные русские авторы (Толстая, Сорокин, Шишкин, Акунин) в своих лучших вещах неизбежно довольствуются ретростилизациями».

Бахарь. Беседу вел Дмитрий Быков. — «Литературная газета», 2001, № 13, 28 марта — 3 апреля <<http://www.lgz.ru>>

Говорит красноярский фантаст **Михаил Успенский:** «Писатель не должен знать жизнь»; «Толстый человек — умнее [худого]».

Большинство россиян — за цензуру в СМИ. — «СМИ.Ру». Средства массовой информации в Интернете. 2001, 22 марта <<http://www.smi.ru>>

В ноябре 2000 года государственную цензуру в СМИ считали необходимой 49 процентов россиян, а в марте 2001 года таких оказалось уже 57 процентов, сообщает фонд «Общественное мнение».

Василь Быков. Глухой час ночи. Рассказ. Перевел с белорусского автор. — «Дружба народов», 2001, № 3.

Киллер. Не в ту квартиру.

Дмитрий Быков. Роман со вкусом. — «Дружба народов», 2001, № 3.

«В какой-то момент он (филолог Владимир Новиков. — *А. В.*) понял: единственную книгу, которую ему теперь интересно будет читать, он может написать только сам. Ну, он и написал [роман в языкеком «Сентиментальный дискурс»]. См. о романе рецензию Виктора Мясникова в «Новом мире» (2001, № 5).

Виктор Василенко. «Я помню...». Предисловие, литературная запись и подготовка к публикации Бориса Романова. — «Предлог». Литературно-художественный альманах. 2000, № 4. *E-mail:* velgut@post.ru

«Все те сонеты, что читал Брюсов [в начале 1923 года], как и другие мои стихи, уничтожили при моем аресте...» А также — о Волошине, Маяковском, Багрицком.

Леонид Василенко. Вл. Соловьев: православный или католик? — «Вестник Русского Христианского Движения». Издается при участии издательства «УМСА-Press» и Русского общественного фонда. Ответственный редактор Никита Струве. Париж — Нью-Йорк — Москва, № 181 (2000, № 3).

«Я уверен, что В. С. примирился с Православием, сохранив в сердце любовь к католичествому».

Юрий Вронский. Так все же: «Униженные и оскорбленные» или «Унижённые и оскорблённые»? Несколько предложений к языковой реформе. — «Литературная газета», 2001, № 12, 21 — 27 марта.

За букву «ё»!

Алла Гербер. <Из ответов на анкету «ИК»>. — «Искусство кино», 2001, № 10.

«60-е и 70-е годы были жуткими, черными годами в истории страны. Время было страшное, но мы были счастливыми людьми. И я до сих пор считаю, что 70-е годы были лучшей порой моей жизни».

«При этом я, безусловно, ощущаю нынешнее время своим, — отвечает на ту же анкету сценаристка **Дуня Смирнова**, — потому что это то время, когда я Родину очень любила. Я вот Родину очень люблю! Поэтому и время мое, и место мое. Мне все нравится».

Нина Горланова. *Метаморфозы*. — «Знамя», 2001, № 2.

«Я со студенческих лет всюду за собой вожу фотографию Цветаевой. Она одна у меня висит. И вот в начале перестройки прочла в книге Виктории Швейцер о том, что у Марины был период лесбийской любви с Софьей Парнок. Резко я изменила свое отношение — сняла со стены фотографию. Убрала с глаз долой. И снится мне сон: ишу занять десятку, никто не дает. Подходит Марина Ивановна (в плаще с капюшоном), достает из кошелька десятку и говорит:

— У меня последняя, но... вам ведь очень нужно! Берите!

Я проснулась — достала фотографию и повесила снова на стену. Она, эта фотография, все годы такой страшной бедности со мною была, пусть и дальше висит!»

К слову сказать, в журналах «Знамя» (2001, № 3) и «Новый мир» (2001, № 6) можно обнаружить резко критические отклики на книгу славистики Дианы Бургин «Марина Цветаева и трансгрессивный эрос».

Владимир Губайловский. *Евангелие от Кузнецова*. — «Независимая газета», 2001, № 48, 20 марта.

К сожалению, подтверждается мое априорное ощущение, что хороших поэм/романов/фильмов о Христе не бывает: «Герой [поэмы Юрия Кузнецова „Путь Христа“] — это маг, способный воскрешать и уничтожать, всевидящий и всезнающий. Довольно скучная и мрачная личность».

«[Юрий Кузнецов] — один из самых трагических поэтов России от Симеона Полоцкого до наших дней, — пишет **Евгений Рейн** в юбилейной заметке к 60-летию поэта («День литературы», 2001, № 3, март <<http://www.zavtra.ru>>). — И поэтому та часть русской истории, о которой некогда было сказано, что Москва есть Третий Рим, кончается великим явлением Кузнецова».

Гейдар Джемаль. «Без союза с реальным исламом Россия останется виртуальным государством». Беседовал Дмитрий Данилов. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics/interview>>

«Ислам сам — глобальный проект».

Даниил Дондурей. Балабанов и его «Братья» предупреждают Путина. Средний класс не чужд антизападным настроений. — «Известия», 2001, № 39, 5 марта.

«Брат-2» Балабанова и Сельянова — первый постсоветский идеологический проект. «Причем с такой убежденностью и откровенностью, о которой Суслов и Демичев могли только мечтать».

Е. В. Душечкина. Дед Мороз: этапы большого пути. К 160-летию литературного образа. — «Новое литературное обозрение», № 47 (2001, № 1) <<http://www.nlo.magazine.ru>>

Доклад на Четвертой научной конференции «Мифология и повседневность» (ИРЛИ РАН (Пушкинский дом), март 2000 года).

Славой Жижек. Западный пацифизм. Материал подготовила Ольга Серебряная. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics/west>>

Беседа немецкого интервьюера со словенским философом, психоаналитиком и публицистом Славоем Жижеком, критиком «абстрактного пацифизма» и «репрессивного мультикультурализма», убежденным противником вмешательства НАТО в косовский конфликт. Среди прочего Жижек говорит: «В дискуссиях о терпимости я всегда принимаю сторону защитников смертной казни просто потому, что мне легко показать, что любой аргумент против смертной казни европоцентричен и в этом смысле не удовлетворяет требованию национальной терпимости. Классический аргумент против смертной казни состоит в том, что смертная казнь не предотвращает преступления. Теория, согласно которой наказание имеет целью предотвращение преступлений, а не восстановление справедливости, является составной частью западной модели правосудия и справедливости. В других моделях такая забота о предотвращении преступлений вообще отсутствует. Назовите мне хоть один аргумент против смертной казни, который не основывался бы на понятиях западной культуры... Либо мы осознаем, что наше неприятие смертной казни является выражением европоцентризма, либо нам придется признать, что некоторые религии и культуры дают нам неопровержимые аргументы в пользу смертной казни».

См. в журнале «Звезда» (2001, № 3) «Исповедь смертника» Вячеслава Шараевского (публикация о. Александра Борисова) с послесловием Александра Мелихова «Кого мы казним?».

Михаил Золотоносов. Дмитрий Сергеевич, «Шестой пальчик». — «Московские новости», 2001, № 12, 20 — 26 марта <<http://www.mn.ru>>

В «Новой библиотеке поэта» (СПб.) выпущен том стихов и поэм Мережковского: «Еще одна репутация Серебряного века, созданная долгими годами *нечтения*, загублена академическим издательским стандартом... Утешения ради можно сказать, что в этом периоде, в 1880 — 1890-е гг., хороших поэтов почти и не было».

Галина Зыкова. «Функцию цензора берет на себя всякий, кто пожелает». — «Русский Журнал» <http://www.russ.ru/ist_sovr>

Интервью с **Сергеем Михайловичем Александровым**, редактором библиографического словаря «Русские писатели: 1800 — 1917»: «Сложность заключается в подходе, в том, должны или не должны ставиться определенные вопросы. Например, нужно ли в статье о Мережковском упоминать, что он был членом масонской ложи, устроенной для двух людей — для него и Зинаиды Николаевны. [Г. З.: «А это была масонская ложа? Он не сам организовал это без всякой связи с...?】 Он не мог организовать ее сам, так не бывает, это была настоящая масонская ложа. Даже если это и не так — хотя документов здесь никаких быть не могло, — все-таки нужно об их странных обрядах говорить в статье или нет? Лавров, автор, считает, что нет. Это, конечно, идеологическая позиция. Или, скажем, считается, что в статье о Милюкове критика справа вообще не должна упоминаться, даже библиографически, что нелепо, на мой взгляд. Странно, когда редактору приходится вписывать в библиографию — поговорив с автором статьи — целую книгу (не рецензию даже!), посвященную Милюкову. [Г. З.: «Автор знал о существовании этой книги?】 Думаю, что да. Обязан был бы знать. Я считаю, что это проявление идеологической зашоренности. Вроде бы ставка на объективность, а на самом деле нежелание учитывать другую точку зрения, иногда очень серьезную. Сразу навешиваются ярлыки: церковные мракобесы, черносотенцы... И еще. У нас не всегда получается вписать литератора в контекст его эпохи... <...> Слишком сложно, но к тому же действительно немодно. Зачем мы будем всякие общие вещи обсуждать, займемся конкретным делом, конкретным материалом... На этой волне во многом и возник наш Словарь, но он все равно неизбежно упирается в глобальные проблемы».

Всеволод Иванов. Генералиссимус. Предисловие Вячеслава Вс. Иванова. — «Дружба народов», 2001, № 3.

«[Александр Данилович] Меншиков выпил, поморщился и сказал, глядя вслед Сталину:

— Люди те же, но водка стала лучше».

Беловая авторская редакция недописанного рассказа отсутствует, публикуется реконструкция на основе совмещения нескольких черновых вариантов.

Юрий Каграманов. Почему они поют «Марсельезу». — «Посев», 2001, № 2.

Они — это французы. «Между прочим, [автор «Марсельезы】 Жозеф Руже де Лиль <...> много лет спустя, когда у него поменялось умонастроение <...> написал другую песню, тоже, говорят, замечательную (мне до сих пор не привелось ее слышать), «Умереть за отчизну», ставшую гимном французских монархистов».

Рейн Караст. Как играть Шопена. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 3. <<http://novosti.online.ru/magazine/zvezda>>

«Белые одежды»/«Волшебная гора».

Юрий Караш. России необходима космическая гонка. — «НГ-Наука», 2001, № 3, 21 марта <<http://science.ng.ru>>

«За срок около 10 лет при наличии соответствующего финансирования, измеряемого суммой порядка 10 млрд. долларов, Россия может построить и запустить к Марсу универсальный пилотируемый комплекс, который сможет также работать и как околоземная станция. <...> Помимо уже отмеченных выгод научно-технического и экономического характера новая „космическая гонка” поможет решить ряд важных задач государственного строительства. Во-первых, она позволит восстановить и укрепить вертикаль управления российской промышленностью, а соответственно исполнительную власть страны. Следует отметить, что ужесточение административного руководства экономикой, предпринятое ради осуществления крупномасштабного космического проекта, нашло понимание даже в таком традиционно демократическом обществе, как американское, о чем свидетельствует опыт программы „Аполлон”. Во-вторых, она будет способствовать мобилизации научно-технических и производственных ресурсов России, что может быть использовано для решения и других, не связанных с космосом задач».

В-третьих, она поможет жителям России преодолеть кризис „положительной гражданской идентификации”...»

«Полет на Марс, оценивающийся ныне в 0,5 — 1 трлн. долларов, никому не нужен, — утверждают **Василий Мишин** и **Гелий Салахутдинов** в тут же напечатанной статье „Классовая борьба в космосе. Пилотируемая космонавтика — тупиковое направление научно-технического прогресса”. — Все интересующие человечество вопросы, связанные с этой планетой, проще и дешевле можно решить с помощью автоматических аппаратов. Самоутверждение человечества посредством организации грандиозных, но бессмысленных технологических программ представляется ныне небезопасным атавизмом и должно стать категорически неприемлемым для России».

Модест Колеров. Дальнейшее развитие государства без конституционных трансформаций невозможно. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics/interview>>

Наибольшая угроза распада России существовала именно внутри СССР, в 1990 — 1991 годах.

Алексей Кондратович. «Нас волокно время...». Публикация В. А. Кондратович. — «Знамя», 2001, № 3.

«Это больше позволено <...> я почувствовал в «Новом мире», словно попал из казармы в благоухающий сад». Незавершенные мемуары А. И. Кондратовича (1920 — 1984), который в 1950 — 1952 годах работал в «Новом мире» ответственным секретарем и заведующим отделом прозы, а в 1961 — 1970 годах — заместителем главного редактора.

Татьяна Кравченко. Перемена участи. — «Независимая газета», 2001, № 38, 2 марта.

«Неуверенность в себе, сознание собственного несовершенства, [ранее] свойственные умным и рефлектирующим героиням Рубиной, теперь преодолеваются сознанием собственной принадлежности к избранным», — пишет критик о новых рассказах Дины Рубиной в «Дружбе народов» (2001, № 2).

Алла Кторовая. История имен негров в Соединенных штатах и их сравнение с наименованиями детей крепостных в России того же периода. — «Каскад». *Cascade Russian Newspaper*. Балтимор, 2001, № 3 (135), февраль.

О шекспировских именах (типа Гамлет и проч.) у черных рабов и прочие интересные материи. См. — каким, правда, образом? — но все-таки см. статьи Аллы Кторовой «Сквозь тайны имен и фамилий некоторых известных россиян» («Каскад», 1999, № 14, июль) и «Загадка национальных корней Пушкина» («Каскад», 2000, № 4, февраль). См. также более доступную публикацию Аллы Кторовой «Кто убил поэта? Древнеиудейские имена в русской традиции» («Независимая газета», 1998, № 203, 30 октября) — ответ на мучительный для некоторых вопрос, почему застреливший на дуэли Лермонтова Николай Мартынов был по отчеству Соломонович.

Алла Кторова — псевдоним писательницы, живущей с 1958 года в США (имя взято у знаменитой актрисы Аллы Тарасовой, а фамилия — у не менее знаменитого Кторова).

Ефим Курганов. Загадка Ардиса. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 2.

«Ада».

Александр Кушнер. «С Гомером долго ты беседовал один...». — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 3.

Гомер. Гнедич.

Алла Латынина. «Квартирный вопрос» в постсоветскую эру. — «Литературная газета», 2001, № 13, 28 марта — 3 апреля.

«Над манерой автора (Андрея Волоса. — А. В.) можно и поиронизировать — вот, мол, старый добрый реализм, роман („Недвижимость”. — А. В.) о современности, которого так домогалась „от нормального русского писателя прогрессивная русская критика” (Д. Бавильский). Но я бы не стала иронизировать над чаяниями „прогрессивной русской критики”, коль они удачно совпадают с разумными ожиданиями нормального читателя».

Юрий Лейдерман. Сюита убитых троянцев. — «Искусство кино», 2001, № 1.

«Илиада» — каталог телесных деформаций и способов умерщвления. См. также: **Симона Вейль**, «Илиада», или Поэма о силе («Новый мир», 1990, № 6).

Ян Юзеф Липский. Две родины, два патриотизма. Заметки о национальной магии величия и ксенофобии поляков. — «Новая Польша». Общественно-политиче-

ский и литературный ежемесячник. Главный редактор Ежи Помяновский. Варшава, 2001, № 2 (17). *E-mail*: nowpol@bn.org.pl

«У чехов нет оснований похвалиться исключительно чистой совестью по отношению к нам. Одностороннее вооруженное решение вопроса Заользинской Силезии в 1920 г., когда на весах лежало существование Польского государства, не приносит им чести. Но участие Польши вместе с Гитлером в разделе Чехословакии было тем не менее позорным» (из статьи 1981 года). Также — об отношении поляков к немцам, русским, евреям и к самим себе.

Владимир Личутин. Миледи Ротман. Роман. — «Наш современник», 2001, № 3, 4, 5, продолжение следует.

«Иван Жуков, что из поморской деревни Жуковой, решил стать евреем...»

А. Ф. Лосев. «Смерть, где твое жало; ад, где твоя победа...». Вступление Елены Тахо-Годи. Подготовка текста А. А. Тахо-Годи и В. П. Троицкого. Публикация А. А. Тахо-Годи. — «Октябрь», 2001, № 3 <<http://novosti.online.ru/magazine/October>>

Незаконченный рассказ А. Ф. Лосева. См. также в «Октябре» переписку Алексея Лосева с Ольгой Позднеевой (1999, № 6), его дневниковые записи 1914 года (1998, № 10) и его рассказы (2000, № 3).

Вячеслав Лунин. К вопросу о русской национальной идее. — «Москва», 2001, № 3.

Независимость, или Оптимизм.

Борис Любимов. Опыт библейских чтений на ТВ. Интервью ведет Елена Кутловская. — «Искусство кино», 2000, № 12.

«Вся миссионерская деятельность христианства свидетельствует о том, что она всегда осуществляется в самых неподобающих местах...»

Игорь Манцов. Как вам спится, мистер Фукуяма? — «Искусство кино», 2001, № 1.

«Когда погибла подлодка «Курск», народные витии, политики и простые люди с улицы, гневно заглядывая в телеобъектив, голосили: „Правды хотим! *Всей* правды хотим!“ <...> А ну как вся правда вам не по чину? А ну обделаете штаны, а ну как сердце не выдержит, разорвется от ужаса? Готовы ли вы, братия, ко *всей*, то есть подводной, правде, нужна ли она вам *вся*?»

Ирина Медведева, Татьяна Шишова. Запах серы. — «Наш современник», 2001, № 3 <<http://read.at/nashsovr>>

Оккультизм, «планирование семьи».

Франсуа Миттеран, Эли Визель. Воспоминания на два голоса. Главы из книги. Перевод с французского Н. Сперанской. — «Иностранная литература», 2001, № 2 <<http://novosti.online.ru/magazine/inostran>>

О вере, власти и литературе. Книга бесед «*Mémoire à deux voix*» (1995) вышла в свет за год до смерти бывшего французского президента.

Можно ли принимать ИНН? На вопросы корреспондента Кирилла Михайлова отвечает диакон Андрей Кураев. — «Вести.Ру» <<http://www.vesti.ru>>

«Если перевести проблему, связанную с ИНН, на светский язык, то речь идет о том, как вообще может жить человек в качестве частного лица в мире, который компьютерные технологии делают совершенно прозрачным. <...> Что означает протест против ИНН? Он означает, что Церковь едва ли не впервые за последнюю тысячу лет своей истории возвысила свой голос в защиту прав человека. <...> В данном случае Церковь, пусть даже устами своих косноязычных маргиналов, с совершенно некорректными аргументами, с чрезмерными преувеличениями и страхом, но тем не менее уловила какую-то болевую ситуацию, которая здесь возникает. <...> То, что происходит на наших глазах, — настоящая революция в церковной жизни. Революция незаметная, но тем не менее революция. Дело в том, что в течение двух тысяч лет Церковь приветствовала любое укрепление государства. Даже языческая Римская империя воспринималась как доброе начало, удерживающее хаос варварских нашествий и анархии. Антихрист же воспринимался как дитя хаоса и беззакония. Этот добрый взгляд на государство проявлялся даже по отношению к советской власти, скажем, в послании епископов из Соловецкого лагеря в 1927 году. Они говорят, что если Патриарх Тихон и выступал в первые годы против советской власти, то только потому, что власти еще не было и комиссары были скорее посланниками бунтующей стихии, нежели государственной власти. Но когда власть заявила о себе как власть, тогда и Патриарх Тихон перешел на позиции лояльности к ней, потому что даже такая власть лучше, чем анархия. И вдруг сейчас в

церковной среде рождается страх перед укреплением государственных мышц. Древняя Церковь представляла себе антихриста как дитя хаоса. Сегодня же растет опасение, что антихрист увенчан собой идущие сейчас процессы глобализации, процессы усиления контроля за частной жизнью людей. <...> Однако Церковь всегда приветствовала глобализацию, потому что слово „глобализация” есть синоним слова „империя”. Для Церкви, ощущающей свое вселенское призвание, любые национальные границы — это барьеры, через которые она стремилась переступить. Но сейчас поднимается бунт против глобализации. Понятно почему: инструмент глобализации оказался не в наших руках. Но давайте все же отличать инструмент от тех рук, которые им владеют...»

19 — 20 февраля с. г. в Московской духовной академии собрался расширенный пленум Богословской комиссии Русской Православной Церкви по проблеме ИНН. Стенограмму конференции можно найти на сайте агентства «Русская линия» <<http://www.rusk.ru>>. В газете «НГ-Религии» (2001, № 4, 5; <<http://religion.ng.ru>>) напечатаны выступления участников пленума, включая полный текст послания самого известного старца Русской Православной Церкви архимандрита Иоанна (Крестьянкина), который призывает верующих бояться не символики ИНН, а греха. Здесь же напечатан (2001, № 4) сокращенный текст итогового документа Богословской комиссии по проблеме ИНН, в котором прямо утверждается, что *принятие или неприятие индивидуальных номеров ни в коей мере не является вопросом исповедания веры или греховным деянием*; полный текст этого важного документа можно прочитать на официальном сайте Московской патриархии <<http://www.russian-orthodox-church.ru>>.

Анатолий Найман. Пропущенная глава. — «Октябрь», 2001, № 3.

Дополнение к «Сэру» («Октябрь», 2000, № 11, 12). Сэр — Исайя Берлин.

Дэвид Новак. Споры о Холокосте и Израиле. Сокращенный перевод *Pierre Argentov*. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics/west>>

«Теологический интерес к истории состоит в том, чтобы выявлять в ней руку Божью. Отсюда и теологическая проблема: трудно понять, как один и тот же Бог связан с Холокостом и основанием Израиля. <...> Пиетистская [иудейская] теология говорит, что евреи, то есть наши братья и сестры, матери и отцы, жены и мужья, дочери и сыновья, — все погибли из-за своих грехов, или из-за греха, в который впала часть еврейского народа, ударившегося в сионизм. Религиозно-националистическая [иудейская] теология утверждает, что 6 миллионов евреев должны были умереть для того, чтобы в земле Израилевой было еврейское государство. <...> Не оба ли [ответа] в принципе мучительны для еврейского народа?» Автор статьи возглавляет кафедру еврейских исследований в Университете Торонто. См. также подробную рецензию **С. Мадиевского** («Новый мир», 1999, № 9) на книгу Гуннара Хайнзона «Почему Освенцим?».

Обращение к общественности России. — «Посев», 2001, № 2.

Преподаватели литературы более двадцати университетов и педагогических вузов России протестуют против опасных перемен в государственной образовательной политике и требуют остановить вытеснение литературы из школы, восстановить сочинение в качестве вступительного экзамена в вуз.

Вера Павлова. «Теперь я уцененный поэт». Беседовал Евгений Лесин. — «Книжное обозрение», 2001, № 8, 26 февраля.

«Раньше как называли мою книжку? „Четвертый сон” Веры Павловой. А сейчас [после премии Аполлона Григорьева] — „25 тысяч долларов” Веры Павловой».

Глеб Павловский. СССР? USSA? Америка в советском «пространстве экспансии». — «Независимая газета», 2001, 27 марта.

«Россия сама, без поддержки США (а точнее — при противодействии Буша-старшего) вышла из состава СССР. Произошло национальное самоопределение России как ее государственное восстановление на европейской основе — как демократического, правового государства. Это базовый факт — он означает, что Россия не СССР, и спокойно отклоняет обсуждение политики, основанной на комплексах „защиты от восстановления советской империи”. <...> Сегодня ясно, что Россия ни при каких обстоятельствах не будет управляться извне, тем более американскими намеками (под намеками в данной статье подразумеваются американские бомбардировки стран-„изгоев”. — *А. В.*) <...> Именно США, не Россия — душеприказчик экспансионистской стратегии Советского Союза. Россия не станет посещать глобальных партсобраний с отчетами о лояльности. Попытки разговаривать с Россией как с перелицованным СССР, навязывая нам американские психотравмы и ксенофобные проекции старых времен, — бесполезны. <...> Надо быть несколько умней американцев, что, право, не трудно».

Марина Палей. *The Immersion.* Трагикомедия в 3-х действиях. — «Урал», Екатеринбург, 2001, № 4 <<http://www.art.uralinfo.ru/literat/ural>>

Кровавые последствия изучения английского языка методом погружения.

Борис Парамонов. Мальчик в красной рубашке. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 2.

«В пьесе [Вс. Вишневского] „Оптимистическая трагедия“ под видом матросской вольницы подносится все тот же [гомозротический] журнал „Аполлон“...»

Геннадий Петров. С пеной у рта. Валерия Новодворская считает себя главным врагом фанатизма. — «Фигуры и лица», 2001, № 6, 29 марта <<http://faces.ng.ru>>

«[Я] еще в семидесятых знала, что он (Солженицын. — А. В.) враг свободы». Новодворскую спрашивают: а кто же у свободы друг? Отвечает: Боровой.

Марк Печерский. Прогулки по Берлину. — «Интеллектуальный Форум», № 4 (2001) <http://www.russ.ru/ist_sovr/if_IY.html>

«С середины прошлого века здесь (в Берлине. — А. В.) повелось без особых мерехлюндий сносить, убирать все, что стоит на пути нового. Глядя на старые карты, фотографии, вы невольно начинаете мыслить историю города как череду эпохальных разрушений».

Константин Плешаков. Бродский в Маунт-Холиоке. — «Дружба народов», 2001, № 3.

«Бродский не признавал компьютеров. В доме на Вудбридж было три [механических] пишущих машинки».

А. Плуцер-Сарно. Елда останкинская: наивные политологические заметки. Символические интерпретации и их средневековые истоки. — «Новое литературное обозрение», № 47 (2001, № 1).

Эротическая вертикаль власти.

Григорий Померанц. По ту сторону своей идеи. — «Дружба народов», 2001, № 3.

Диалог — не только поиск истины, но и форма истины. Теория этносов Льва Гумилаева и проч.

Петр Проскурин. Молитва предчувствия. Повесть. — «Наш современник», 2001, № 3.

Модный портретист, персональный музей которого открывает столичный градоначальник, пьянствует с гением-неудачником, рисуя портреты в арбатском переходе.

Сергей Психачев, Ирина Свистонова. Фатальные стратегии. — «Искусство кино», 2001, № 1.

Мистификация, но очень плодотворная — повод придуман (будто бы создатель «X-files» Крис Картер снимает сериал по «Маятнику Фуко»), рассуждения по поводу серьезные и интересные.

Николай Работнов. Когда закончится Вторая мировая война? — «Знамя», 2001, № 3.

Оправдание Хиросимы.

Виталий Радзиевский. Религиозная преступность — вымысел или реальность? — «Наш современник», 2001, № 3.

«Есть люди, которые сознательно избирают зло, — сатанисты...»

Станислав Рассадин. Такое разное серебро. — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 2001, № 9, 1 — 7 марта <<http://www.1september.ru>>

Серебряный век и революция. На эту же тему см. статью Андрея Баженова «Там флейты Фебовой серебряные звуки, там и проклятых сребреников звон...» («Москва», 2001, № 1, 2). См. также статьи Станислава Рассадина «Предтечи» («Вопросы литературы», 2001, № 1), «Голоса из котлована» («Литература», 2001, № 12), «Федор Михайлович, Лев Николаевич, соцреалисты» («Литература», 2000, № 46), а также «Где начало того конца?..» («Труд», 2001, № 54, 23 марта).

Г. Ратгауз. Как феникс из пепла. Беседа с Анной Андреевной Ахматовой. — «Знамя», 2001, № 2.

«В конце сороковых, в пятидесятые годы, во время террора, ко мне приходили многие молодые поэты, — и все писали плохо. Сейчас ходят мальчики и девочки (именя не запоминаю), но все стали хорошо писать...» — говорит Ахматова своему молодому собеседнику в январе 1961 года.

Александр Ревич. Запоздалые размышления о революционной поэзии Александра Блока. — «Предлог», 2000, № 4.

«Двенадцать» — ужас и сатира.

Михаил Ремизов. Ксенофобия. Приступ 2. Штирлиц. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics/west>>

«Либеральная пропаганда терпимости — антикультурна. Всякой обособленной, то есть живой, культуре свойственно выстраивать иерархии людских рангов, оценочные вертикали, обладающие существенным потенциалом нетерпимости, замкнутости и, я бы сказал, ксенофобии. На этих вертикалях держатся своды культурного универсума, под коими живет ненавистный открытому обществу сумрак табу».

Владимир Рецептер. «Я жду его». Скрытый сюжет «Скупого рыцаря». — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 2.

Герцог вызвал к себе старого Барона до жалобы Альбера на скупого отца. Зачем? См. также *гастрольный роман* Владимира Рецептера «Ностальгия по Японии» («Знамя», 2001, № 3, 4).

Борис Рогинский. Через трепетный туман. Заметки о романтике. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 2.

«Положение таких поэтов, как [автор „Бригантины“ Павел] Коган, было мучительно — они стремились уйти от позорной [лубянской] смерти в смерть героическую, они верили в возможность „тайного соглашения между судьями и обвиняемыми“ [на процессах 30-х годов], сами к такому соглашению не были готовы и потому ждали войны как спасения. <...> Отечественная война покончила с „жаждой небытия“...»

Оливер Сакс. Случаи из практики. Перевод с английского Р. Шапира, В. Кулагиной-Ярцевой. Предисловие психиатра Леонида Кроля. — «Иностранная литература», 2001, № 3.

«Человек, принимавший жену за шляпу», «Последний хиппи» и другие очерки известного американского врача-невропатолога, предпочитающего называть себя нейроантропологом.

Дмитрий Сапрыкин. Что такое демократия? — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics/polemics>>

«Я считаю, что идеи демократии постепенно теряют актуальность... И я думаю, не далеко то время, когда слово „демократия“ перестанет быть великим квазирелигиозным и идеологическим символом, а станет просто рядовым термином политической теории: с одной стороны — характеристикой определенной эпохи, а с другой — техническим обозначением определенного способа правления, мало где, кстати говоря, реализованного. Совсем иначе обстоит дело с гражданским обществом...»

Бenedикт Сарнов. Наш советский новояз. — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 2001, № 8, 23 — 28 февраля.

«Партия — наш рулевой», «Раскулачить», «Славная годовщина» и тому подобный оруэлловский речекряк. Начало см. — «Литература», 2000, № 27.

Н. Сиривя. Русская «Догма». — «Искусство кино», 2001, № 1.

Спор критика с самим собой (А и Б) о фильме Павла Лунгина «Свадьба». Б считает, в частности, что «Свадьба» — «почти уникальный случай внятного перевода нынешних российских реалий на язык качественного европейского кинематографа... Во Франции по отношению к нынешней постсоветской культуре Лунгин играет ту же роль, которую в XIX веке играл Тургенев по отношению к культуре русской. Он выполняет функции полпреда, дипломатического представителя, что требует толерантности, склонности к поиску точек соприкосновения, к наведению мостов между диаметрально различными реальностями и абсолютно несхожими ментальностями».

Константин Смирнов. Тайны Шолохова. — «Литературная Россия», 2001, № 13, 30 марта.

«Так кто же [этот более образованный и старший по возрасту] человек, занявший место [погибшего в прототряде в 1920 году] Миши Шолохова?»

Карен Степанян. Отношение бытия к небытию. — «Знамя», 2001, № 3.

«Взятие Измаила». «Ложится мгла на старые ступени». «Купавна». «Похороны кузнечика». «Кысь».

Никита Струве. Русский язык сегодня. — «Вестник Русского Христианского Движения», Париж — Нью-Йорк — Москва, № 180 (2000, № 1-2).

О слове «пропаганда»: оно пошло от учрежденного в 1622 году папой Григорием особого учреждения при курии *De propaganda fidei* для «деятельного распространения веры» (преобразованного в начале XX века папой Пием X).

См. также в № 181 (2000, № 3) «Вестника Русского Христианского Движения» статью Н. Струве «О консерватизме и реформаторстве в Церкви» (это его выступление на общеправославном съезде во Франции, Парэ-Ле-Мониаль, октябрь 1999) и его же полемическую статью в защиту священника Георгия Кочеткова «Православная охота за ведьмами», настолько полемическую, что эта статья ответственного редактора печатается в журнале в дискуссионном порядке.

В газете «НГ-Религии» (2001, № 6, 28 марта) напечатаны итоговое, датированное 15 ноября 2000 года, заключение Комиссии Русской Православной Церкви по богословским изысканиям священника Георгия Кочеткова, а также приложение к нему — особое мнение священника Владимира Шмалия. Комиссия пришла к выводу, что *опубликованные священником Георгием Кочетковым работы содержат целый ряд заблуждений догматического, литургического и канонического характера* (так, «свещ. Георгий Кочетков отстает не только от Святого Православия, но и от учения большинства других христианских конфессий, в которых Христос признается Сыном Божиим, воплотившимся от Пречистой Девы Марии и ставшим Человеком, тогда как у свещ. Георгия Кочеткова человек Иисус из Назарета становится Сыном Божиим по усыновлению»). См. также: Сергей Смирнов, «Чаемое, но недействительное. Ответ на обвинительный акт Комиссии по богословским изысканиям священника Георгия Кочеткова» («НГ-Религии», 2001, № 9, 16 мая).

Татьяна Толстая. Крутые горки. — «Время MN», 2001, № 48, 20 марта <<http://www.vremyamn.ru>>

«Что-то там в его (больного Ленина. — А. В.) искалеченном мозгу еще шевелится, что-то людское еще осталось, ему невыносимо, и он бросается оземь своим полутелом и ползет, ползет, ползет, как червь, как слизень, как обрубок, куда-то туда, куда-то в цветы, как будто хочет уйти в землю — ибо на небо ему путь заказан, — куда-то в землю, но не уйдет, не доползет, как не ушли, не доползли, не доползут его жертвы, приговоренные им, обреченные, убитые и еще не убитые, мирные, хорошие, в сто раз лучшие, чем он. <...> Господи, прости меня, как я его ненавижу!..» По мнению Толстой, «Телец», а речь именно о нем, — абсолютный шедевр, лучший фильм Сокурова (гораздо более скептический отклик **Дмитрия Быкова** см. в настоящем номере «Нового мира»).

Андрей Убогий. О метафизике американского образа жизни. — «Наш современник», 2001, № 3.

«„Американское“ как великий метафизический „минус“ в обычном-то смысле непобедимо — хотя и угроза, от него исходящая, есть, может быть, величайшая из угроз, что стоит перед нами. <...> Мы поможем спастись и Америке — если она сохранит человеческий интерес к бытию, волю к жизни. Мы, повторяю, богаче, сильнее ее — ибо мы ее все-таки любим».

Александр Уланов. Прести(ди)житатор. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>

«Герой [поэтической книги Дмитрия] Воденникова [„Как надо жить — чтоб быть любимым“ <<http://www.vavilon.ru/textonly/issue7/vodenn.htm>>] выговаривает то, что стесняется сказать его слушатель. Хочу, чтобы меня любили (и хочу быть „еще любимей вами“). Хочу быть счастливым. Слушатель понимает, что этого все хотят; и что мир никому ничего не должен; но отчего ж хотя бы не услышать, коли стыдно сказать?..»

Факсы из двух углов. — «Известия», 2001, № 51, 23 марта.

Жорж Нива — **Александр Архангельскому.** «Я только что прочел текст [речи Елены Боннэр во время вручения ей премии Ханна Арендт в Бремене] в «*New York Review of Books*», и выраженные в нем тезисы повергли меня в смущение: перед нами картина России, верная в деталях и ложная в целом. <...> Размышляя над Бременской речью, я спрашиваю себя, не впадает ли автор в интеллектуальный грех, свойственный западным людям, а также и русским, когда они говорят с западными людьми, а именно: объяснять Россию так же, как объясняли СССР, — одними только расчетами власти и замыслами верховных руководителей. <...> Ввиду отсутствия анализа современного русского общества речь Елены Боннэр, как мне кажется, тоже несет свою долю лжи, пусть даже это будет ложь умолчания...» **Александр Архангельский** — **Жоржу Нива:** «Елена Георгиевна Боннэр для того и боролась с советским режимом, чтобы любая точка зрения — ее в том числе — могла быть свободно обсуждена, свободно принята или свободно отвергнута. Я лично ее демократическое мнение отвергаю без всякого насилия»

внутреннего или внешнего, — и само по себе это парадоксальная победа демократии. <...> Если говорить о главной беде, которая по-настоящему грозит нашему политическому будущему, то это не тоталитарный режим, не возврат в коммунистическое прошлое (поезд ушел). <...> Но теперь во весь рост встала другая проблема, с которой ни диссиденты, ни бизнесмены, ни даже бизнесвумены не справятся. А именно: ответить на вопрос, чего ради Россия вверглась в крупнейший цивилизационный сдвиг, какой она видит сама себя? Иными словами, на каком ценностном фундаменте будет возводиться ее государственное тело? <...> По-моему, такой идеей может стать в России лишь просвещенный консерватизм, либеральный патриотизм; но стоит заикнуться об этом вслух, как либералы прежней выучки делают стойку. <...> И разве нет в речи Елены Георгиевны сознательного или бессознательного стремления срифмоваться с европейским истеблишментом? Нет, увы, она более не идет наперерез эпохе; она давно уже движется в заданном пропагандой — она же идеологизированная журналистика — направлении. Меня многое раздражает в действиях российской власти — и как частного человека, и как гражданина, и как литератора. Но созданный на Западе (отчасти и в России) телевизионный — он же публицистический, он же пропагандистский — образ страны, в которой я живу, раздражает меня еще больше».

«В сущности, если отбросить пропагандные красоты, — пишет **Максим Соколов** („Известия”, 2001, № 55, 29 марта), — главное обвинение [Запада] против России заключается в том, что сегодня она — одна из самых консервативных стран мира, твердо отстаивающая традиционный миропорядок, базирующийся на идее национального суверенитета, тогда как на Западе сегодня открытым текстом провозглашаются идеи международного ревизионизма. <...> Сильные не нуждаются в праве, полагая, что всегда смогут отстаивать свои интересы с помощью кулака, тогда как слабые (а Россия сегодня слаба) значительно более привержены правовым ценностям, видя в них средство защиты от тотального произвола. Злобный российский изоляционизм заключается в безусловной приверженности нормам международного права, которые одни удерживают мир от новой большой свалки <...>. Если вина России в упорном противодействии попыткам окончательно раскатать международный миропорядок, остается лишь пожелать, чтобы таких кругом виноватых государств было как можно больше».

Елена Холмогорова, Михаил Холмогоров. Белый ворон. Ненаписанные мемуары. — «Дружба народов», 2001, № 3, 4.

Лорис-Меликов.

Сергей Хоружий. Практика себя. Беседу ведет Татьяна Иенсен. — «Искусство кино», 2000, № 12.

Умная молитва и антропологическая граница.

Георгий Циплаков. Платон мне друг, или Почему утонул «Титаник». — «Урал», Екатеринбург, 2001, № 4.

«Титаник» Джеймса Кэмерона как полемика с «Государством» Платона.

Ольга Чайковская. Великий царь или Антихрист? — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 3.

О Петре, конечно.

Леонид Натанович Чертков (15.12.1933, Москва — 28.06.2000, Кёльн). — «Новое литературное обозрение», № 47 (2001, № 1).

In memoriam.

Николай Шмелев. Curriculum vitae. — «Знамя», 2001, № 2.

«Я спрашиваю его [в кулуарах Кремлевского Дворца съездов]:

— Андрей Дмитриевич, а вообще — кто такой Гдлян? И что такое Гдлян? Вы ведь, кажется, знаете его...

— Знаю... И должен вам сказать... Должен вам сказать, что это очень опасный человек. Это человек, который готов бороться с 37-м годом методами 37-го года...

— Андрей Дмитриевич, ну так сказали бы людям об этом! А то никто уже совсем не понимает ничего. Что хорошо, что плохо — поди теперь разберись. Вон какой вокруг него ажиотаж!

— Видите ли... У Гдлья действительно есть серьезная поддержка в народе... И у меня тоже есть в народе определенная репутация... И я не думаю, что я должен ею рисковать...»

Александр Щуплов. Седьмой автограф Шекспира. — «Субботник НГ», 2001, № 12, 31 марта <<http://saturday.ng.ru>>

Известны шесть подписей Шекспира. Седьмая, еще нуждающаяся в атрибуции, обнаружена в России.

Михаил Эпштейн. Атеизм — это духовное призвание. О Раисе Омаровне Гибайдулиной. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 4.

«Гибайдулина — Жанна д'Арк абсолютного неверия, перед которой любая мысль — угодливый компромисс, суеверие, предрассудок...»

Эти негромкие права. Владимир Сипягин беседует с адвокатом Ларисой Павловой. — «Москва», 2001, № 4.

Родители девочки-семиклассницы *выиграли* гражданский процесс против одной из петербургских школ в связи с уроками сексуального просвещения.

Александр Эткинд. Бедная Зина. Дочь Троцкого, влюбленная в отца, покончила собой в ходе психоанализа. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 2.

На основе писем из фонда Льва Троцкого, которые хранятся в *Houghton Archive* Гарвардского университета. Впрочем, больше, чем сказано в подзаголовке статьи, вы все равно не узнаете.



АДРЕСА: электронная версия журнала «Век XX и мир», представляющего из себя, по выражению Глеба Павловского, «одновременно кладбище несложившихся альтернатив 1987 — 1995 гг. и свидетельство об интеллектуальной недостаточности той эпохи»: <http://www.russ.ru/antolog/vek/index.html>



ДАТЫ: 16 июля исполняется 100 лет со дня рождения Анны Александровны Барковой (1901 — 1976); 26 июля (8 августа) исполняется 100 лет со дня рождения Нины Николаевны Берберовой (1901 — 1993).

Составитель **Андрей Василевский.**



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Июль

10 лет назад — в № 7, 8 за 1991 год напечатана книга Ф. А. Хайека «Дорога к рабству».

15 лет назад — в № 7 за 1986 год напечатана повесть Георгия Семенова «Ум лисицы».

20 лет назад — в № 7 за 1981 год напечатан цикл рассказов Юрия Трифонова «Опрокинутый дом».

35 лет назад — в № 7 за 1966 год напечатана повесть Бориса Можая «Из жизни Федора Кузькина».

40 лет назад — в № 7 за 1961 год напечатана повесть Георгия Владимова «Большая руда».

60 лет назад — в № 7-8 за 1941 год напечатано Выступление по радио Председателя Государственного Комитета Оборона И. В. Сталина 3 июля 1941 года.

65 лет назад — в № 7 за 1936 год напечатана поэма Павла Васильева «Принц Фома».

ИЗ ПОЭЗИИ «НОВОГО МИРА»

АННА БАРКОВА

* *
*

Под какой приютиться мне крышей?
Я блуждаю в миру налегке,
Дочь приволжских крестьян, изменивших
Бунтовщице, родимой реке.

Прокляла до седьмого колена
Оскорбленная Волга мой род,
Оттого-то лихая измена
По пятам за мною бредет.

Оттого наперед я не верю
Ни возлюбленным, ни друзьям.
Ни числом, ни мерой потери
Сосчитать и смерить нельзя.

Я пою и танцую в капризе
Непогодном, приволжском, злом.
Синеглазый, мой новый кризис,
Ты обрек мою душу на слом.

Я темнею широкою бурей,
Пароходик ума потонул.
Мне по сердцу, крестьянской дуре,
Непонятный тебе разгул.

Ты сродни кондотьерам-пиратам,
Ты — мудреная простота.
Флорентийский свет трудновато
С Костромою моей сочетать.

«Новый мир», 1926, № 11.

SUMMARY



This Issue publishes a new part of Viktor Astafyev's short stories «Zatesi» (Notches). You can also read his sketch «The Signal Woman» and two narratives: «Herbert» by Aleksey Zikmund and «Hello, pretty woman!» by Yulia Peskova. The story «The New Secretary» by Lev Usyskin is also published here.

The poetry section of this Issue includes new poems by Yury Kublanovsky, Maksim Volchkevich and Anatoly Kobenkov.

In this Issue Boris Yekimov publishes a new sketch «The New Beginning — Let's Start All Over Again», dedicated to the life in the nowadays Russian village.

Under the heading «Philosophy. History. Politics» reader of this Issue can find an article «Islam, Russia and the West» written by the culturologist Jury Kagaramanov.

Vladimir Osheroev is responsible for the permanent section «Letters from Far Away»

Under the heading «The Literary Critique» an article «Judith with the Holofernes' Head» is represented, dedicated to the pseudo-classics in the Russian literature of nineties. Readers can also find texts by Vladimir Aleksandrov and Vladimir Gubaylovsky, devoted to the phenomenon of Harry Potter's (hero of English writer Joan Rowling) popularity.

«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 101999, ГСП-9, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,
отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,
зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,
для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru или seva@mail.cnt.ru или butov@aha.ru; по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://novosti.online.ru/magazine/novy_mi

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г. Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.03.2001 г. Подписано к печати 28.05.2001 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 12 300 экз. Зак. 2243. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия учреждена Благотворительным Резервным фондом и журналом «Новый мир» в 2000 году и присуждается автору, живущему и работающему в России, за рассказ на русском языке, впервые напечатанный в текущем году на территории России (циклы и сборники рассказов, сетевые публикации и рукописи не рассматриваются).

Правом выдвижения произведений на премию обладают критики, издатели и творческие организации.

Выдвигаемые произведения направляются в редакцию журнала «Новый мир» с пометкой «На премию» до 1 декабря 2001 года.

**Председатель жюри:
ответственный секретарь журнала «Новый мир», прозаик
МИХАИЛ БУТОВ.**

**Координаторы премии:
главный редактор журнала «Новый мир»
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,
генеральный директор Благотворительного Резервного фонда
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.**

**Объявление лауреата и торжественное вручение премии
произойдет в январе – феврале 2002 года.**

**Контактные телефоны:
(095) 209-57-02, 209-91-81.**

E-mail: butov@aha.ru, seva@mail.cnt.ru